

ИРВИН ЯПЛОМ

ВИДЕОЕ
НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ!

ШОПЕНГАУЭР
КАК ЛЕКАРСТВО

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

Annotation

Опытный психотерапевт Джулиус узнает, что смертельно болен. Его дни сочтены, и в последний год жизни он решает исправить давнюю ошибку и вылечить пациента, с которым двадцать лет назад потерпел крах. Филип — философ по профессии и мизантроп по призванию — планирует заниматься «философским консультированием» и лечить людей философией Шопенгауэра — так, как вылечил когда-то себя. Эти двое сталкиваются в психотерапевтической группе и за год меняются до неузнаваемости. Один учится умирать. Другой учится жить. «Генеральная репетиция жизни», происходящая в группе, от жизни неотличима, столь же увлекательна и так же полна неожиданностей.

Ирвин Д. Ялом — американский психотерапевт, автор нескольких международных бестселлеров, теоретик и практик психотерапии и популярный писатель. Перед вами его последний роман. «Шопенгауэр как лекарство» — книга о том, как философия губит и спасает человеческую душу. Впервые на русском языке.

- [Ирвин Ялом](#)
 -
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4. 1787 год. Гений: бурный пролог и фальстарт](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6. Маменька и папенька Шопенгауэры — Zu Hause \[8\]](#)
 - [Глава 7](#)
 - [Глава 8. Безмятежные дни раннего детства](#)
 - [Глава 9](#)
 - [Глава 10. Самая счастливая пора в жизни Артура](#)
 - [Глава 11. Первое занятие Филипа](#)
 - [Глава 12. 1799 год. Артур узнает о выборе и прочих земных ужасах](#)
 - [Глава 13](#)
 - [Глава 14. 1807 год — Артур Шопенгауэр едва не становится коммерсантом](#)
 - [Глава 15. Пэм в Индии](#)

- [illegible]

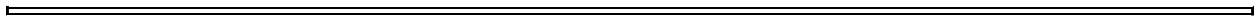
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-
-
-



Ирвин Ялом

Шопенгауэр как лекарство

Моим старинным и добрым приятелям, которые были со мной рядом, делили со мной все беды и горести и поддерживали меня своей мудростью и бесконечной любовью к жизни разума: Роберту Бергеру, Мюррею Байлмзу, Мартелу Брайанту, Дагфинну Фёллесдалю, Джозефу Фрэнку, Вэну Харви, Джулиусу Каплану, Херберту Котцу, Мортону Либерману, Уолтеру Сокелу, Солу Спайро и Ларри Зароффу.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Эта книга долго зрела в моей голове, и я благодарен всем, кто помог ее появлению на свет. Редакторам, помогавшим мне создать этот необычный сплав вымысла, психобиографии и педагогики психотерапии: моей безотказной советчице Марджори Брэман из издательства «Харпер Коллинз», Кенту Кэрроллу, а также моим добровольным домашним редакторам — сыну Бену и жене Мэрилин. Моим многочисленным друзьям и коллегам, прочитавшим рукопись и сделавшим свои ценные замечания: Вэну и Маргарет Харви, Уолтеру Сокелу, Рутеллен Иоссельсон, Каролин Зарофф, Мюррею Байлмзу, Джулиусу Каплану, Скотту Вуду, Хербу Котцу, Роджеру Уолшу, Солу Спайро, Джин Роуз, Хелен Блау, Дэйвиду Спигелу. Моей группе поддержки — коллегам-терапевтам, которые на протяжении всей работы оказывали мне неоценимую помощь. Моему блестящему литературному агенту, обладательнице многих талантов Сэнди Дийкстра, которая, в числе прочего, предложила и название этой книги (как, впрочем, и моей предыдущей книги, «Дар психотерапии»). Моему научному сотруднику Джери Дорану.

Большая часть сохранившейся переписки Шопенгауэра либо до сих пор вообще не переведена на английский, либо переведена довольно нескладно. Я признателен моим немецким помощникам Маркусу Бергину и Феликсу Рейтеру за содействие в переводе и колоссальную библиотечную работу. Уолтер Сокек оказал мне важную научную поддержку и помог перевести на английский многие эпиграфы к главам так, чтобы с наибольшей точностью передать яркий и неповторимый стиль Шопенгауэра.

Я благодарен моей жене Мэрилин за ее неизменную любовь и поддержку.

Множество прекрасных книг вдохновили меня на эту работу. Прежде всего, я признателен изумительной биографии Рудигера Сафрански «Шопенгауэр и бурные годы философии» («Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy», Harvard University Press, 1989) и самому автору за то, что великодушно согласился проконсультировать меня во время нашей продолжительной беседы в берлинском кафе. Идея библиотерапии — самоисцеления с помощью систематического чтения философии — принадлежит Брайану Маджи и его великолепной книге «Признания философа» («Confessions of a Philosopher», New York: Modern Library, 1999). Остальные произведения, на которые я опирался при написании этой книги: Bryan Magee. «The Philosophy of Schopenhauer» (Oxford: Clarendon Press, 1983; revised 1997); John E. Atwell. «Schopenhauer: The Human Character» (Philadelphia: Temple University Press, 1990); Christopher Janeway. «Schopenhauer» (Oxford, U.K.: Oxford Univ. Press, 1994); Ben-Ami Scharfstein. «The Philosophers: Their Lives and the Nature of their Thought» (New York: Oxford University Press, 1989); Patrick Gardiner. «Schopenhauer» (Saint Augustine's Press, 1997); Edgar Saltus. «The Philosophy of Disenchantment» (New York: Peter Eckler Publishing Co., 1885); Christopher Janeway. «The Cambridge Companion to Schopenhauer» (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999); Michail Tanner. «Schopenhauer» (New York: Routledge, 1999); Frederick Copleston. «Arthur Schopenhauer: Philosopher of Pessimism» (Andover, UK: Chapel River Press, 1946); Alain de Botton. «The Consolations of Philosophy» (New York: Vintage, 2001); Peter Raabe. «Philosophical Counseling» (Westport, Conn.: Praeger); Shlomit C. Schuster. «Philosophy Practice: An Alternative to Counseling and Psychotherapy» (Westport, Conn.: Praeger, 1999); Lou Marinoff. «Plato Not Prozac» (New York: HarperCollins, 1999); Peirre Hadot and Arnold I. Davidson, eds. «Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault» (Michael Chase, trans., New Haven: Blackwell, 1995); Martha Nussbaum. «The Therapy of Desire» (Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1994); Alex Howard. «Philosophy for Counseling and Psychotherapy: Pythagoras to Postmodernism» (London: Macmillan, 2000).

Глава 1

Каждое дыхание отражает беспрерывно нападающую смерть, с которой мы таким образом ежесекундно боремся... В конце концов смерть должна победить, ибо мы — ее достояние уже от самого рождения своего и она только временно играет со своей добычей, пока не поглотит ее. А до тех пор мы с большим рвением и усердной заботой продолжаем свою жизнь, насколько это возможно, подобно тому как возможно дольше и возможно больше раздувают мыльный пузырь, хотя и знают наверное, что он лопнет
[\[1\]](#).

Джулиус не хуже других знал все, что принято говорить о смерти. Он был согласен со стоиками, которые утверждали: «Рождаясь, мы умираем», и с Эпикуром, рассуждавшим: «Пока я здесь, смерти нет, а когда она придет, меня не будет. Зачем же ее бояться?» Как врач и психотерапевт он и сам не раз твердил нечто подобное, сидя у постели умирающих.

Но, хотя он и считал своим долгом внушать клиентам эти невеселые истины, ему и в голову не приходило, что однажды они смогут пригодиться ему самому. По крайней мере, до того жуткого момента месяц назад, который навсегда перевернул его жизнь.

Это случилось во время ежегодного планового осмотра у врача. Его врач, Херб Катц, старинный приятель и бывший однокурсник, закончил привычную процедуру и, позволив Джулиусу одеться, подждал его в своем кабинете для заключительной беседы.

Херб сидел за столом, вертя в руках карту Джулиуса.

— Ну что ж, старик, для шестидесяти пяти совсем неплохо. Правда, простата слегка увеличена, но и у меня, доложу я тебе, не лучше. Кровь, холестерин, липиды — все выглядит довольно прилично: лекарства и диета делают свое дело. Вот твой рецепт. Липитор и пробежки привели холестерин в норму, так что можешь немного расслабиться: время от времени съедай по яйцу. Лично я ем два каждое воскресенье. Да, и вот твой рецепт на синтиرويد. Я решил слегка увеличить дозировку: щитовидка начала давать сбои — здоровые клетки отмирают, пошло замещение

фиброзной тканью. Ничего страшного, как ты понимаешь, обычная история — я сам лечу щитовидку. Что поделаешь, Джулиус, старость не радость. Теперь что касается всего остального. Коленный хрящ порядком изнашивается, волосяные фолликулы атрофируются, верхние поясничные диски уже не те, да и эластичность кожи заметно снизилась: клетки эпителия сдают. Посмотри на эти старческие кератомы на щеках — видишь коричневые бляшки? — Он поднес зеркальце, чтобы Джулиусу было лучше видно. — Их заметно прибавилось с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз. Сколько времени ты проводишь на солнце, старик? Надеюсь, носишь шляпу с широкими полями, как я тебе советовал? Тебе нужно сходить к дерматологу, Джулиус. Сходи к Бобу Кингу, он сидит в соседнем корпусе. Вот его телефон. Знаешь его? Джулиус кивнул.

— Он может убрать самые неприятные — выжигает жидким азотом. Я сам удалил несколько штук в прошлом месяце. Пустяки — пять-десять минут, и готово. Многие врачи сейчас делают это себе сами. Особенно я хотел бы, чтобы он осмотрел одну у тебя на спине — вот, взгляни, внизу, сбоку на правой лопатке. Она отличается от остальных — пигментация неровная и края нечеткие. Скорее всего ничего страшного, но пусть на всякий случай посмотрит. Договорились, старик?

«Ничего страшного, но пусть посмотрит» — Джулиус уловил настороженность и деланую небрежность в голосе Херба. Нет, ошибки быть не могло: эта фраза — «пигментация неровная и края нечеткие», — брошенная между своими, была тревожным знаком. Код, шифровка, которая могла означать только одно — серьезное подозрение на меланому. Уже потом, оглядываясь назад, Джулиус понял, что именно с этой фразы, с этого самого момента кончилась его прежняя беззаботная жизнь, и смерть, до того невидимая, предстала перед ним во всем своем отвратительном облике. Смерть пришла насовсем, не собиралась покидать его ни на мгновение, и весь дальнейший кошмар стал лишь эпилогом ее появления.

Боб Кинг когда-то лечился у Джулиуса — как, впрочем, и большинство врачей из Сан-Франциско. Вот уже три десятка лет Джулиус был царь и бог местного психотерапевтического сообщества. Он преподавал в Калифорнийском университете, у него была куча учеников, а пять лет назад он даже успел побывать президентом Американской ассоциации психиатров.

Что касается его репутации, без преувеличения можно было сказать, что это врач божьей милостью, каких поискать, искусный мастер, не щадящий ни сил ни времени ради спасения больного. Вот почему, когда десять лет назад Бобу Кингу срочно потребовалось избавиться от

викодановой зависимости — частой проблемы среди врачей по причине его доступности, — Кинг обратился именно к Джулиусу. В тот момент Кинг действительно остро нуждался в помощи: его тяга к викодану стремительно нарастала, семейная жизнь трещала по швам, страдала работа, и вдобавок каждый вечер он был вынужден накачиваться снотворными, чтобы заснуть.

Боб попытался было лечиться частным образом, но двери одна за другой захлопывались перед его носом. Все, к кому он обращался, предлагали ему для начала вступить в профессиональную группу коррекции — предложение, которое Боб решительно отвергал, опасаясь скомпрометировать себя в глазах коллег. Однако его собеседники и слышать ни о чем не хотели: возмись они самостоятельно лечить своего товарища, не прошедшего официального курса лечения, им грозил бы серьезный нагоняй от начальства, если не судебные разбирательства в случае грубой врачебной ошибки подопечного.

Когда Боб уже готов был оставить практику и взять отпуск, чтобы переехать на лечение в другой город, ему пришло в голову обратиться к Джулиусу. Тот рискнул и взялся вытащить его в одиночку, и хотя лечение шло с большим трудом, как это всегда бывает в подобных случаях, Джулиус три года тянул Боба, не прибегая к помощи групповых программ. В конце концов это так и осталось его профессиональной тайной, какие найдутся у любого психотерапевта, — короче говоря, лечение закончилось успехом, который ни под каким видом не подлежал разглашению.

Выйдя от Херба, Джулиус сел в машину. Сердце колотилось так сильно, что казалось, машина раскачивается из стороны в сторону. Он глубоко вздохнул, чтобы подавить нарастающий страх, потом еще и еще, дрожащими руками взялся за телефон и условился с Бобом Кингом об экстренной встрече.

— Она мне не нравится, — на следующее утро сказал Боб, осматривая спину Джулиуса сквозь большую лупу. — Давай, я возьму зеркало, сам увидишь.

Боб развернул его спиной к зеркалу на стене, а сам взял большое карманное зеркальце с ручкой. Джулиус бросил взгляд на отражение Кинга в зеркале: белобрысый, кровь с молоком, толстые линзы очков на длинном мясистом носу — он вспомнил, как Боб рассказывал ему, что в детстве за этот нос его дразнили «сливой». За последние десять лет он почти не изменился — все такой же нелепо суетливый, как прежде. За то время, что Боб был его пациентом, он ни разу не появился на прием вовремя. Всякий раз, когда он, пыхтя и отдуваясь, вырастал на пороге, Джулиус вспоминал

Белого Кролика из «Алисы»: «Ах, мои усики! Ах, мои ушки! Как я опаздываю!» С тех пор Кинг немного прибавил в весе, но так и остался коротышкой. В общем, типичный дерматолог — кто может похвастать, что встречал высокого дерматолога? Джулиус перевел взгляд на его глаза — ой-ой, они встревоженные, зрачки расширены.

— Вот, полюбуйся. — Боб ткнул кончиком карандаша с ластиком на конце. Джулиус взглянул в зеркало. — Вот эта плоская родинка с правой стороны под лопаткой, видишь?

Джулиус кивнул.

Приложив к ней небольшую линейку, Боб продолжил:

— Чуть меньше сантиметра. Помнишь старое доброе правило ABCD из курса дерматологии...

Но Джулиус его прервал:

— Послушай, Боб, я ни черта не помню из дерматологии. Ты уж рассказывай как для идиотов.

— Ну ладно. Итак, правило ABCD гласит: А — это асимметрия. Вот, взгляни. — Он обвел карандашом область пятна. — Она не совсем круглая, как остальные у тебя на спине — вот эта или эта. — Он показал на два соседних пятнышка. Джулиус глубоко вздохнул, чтобы снять напряжение. — В — это бока, границы. Вот тут, хотя здесь не так хорошо видно. — Боб снова указал на пятно под лопаткой. — Видишь, в верхней части край четкий, а вот здесь, в середине, он расплывчатый и почти сливается с кожей. С — это цвет. Вот здесь, сбоку, она светло-коричневая, но под увеличительным стеклом видны красные, черные и даже серые участки. D — диаметр. Как я уже сказал, где-то семь восьмых сантиметра. Это нормально, но мы не знаем, сколько времени назад она появилась, то есть как быстро она растет. Херб Катц говорит, что в прошлом году ее еще не было. И наконец, под стеклом в центре четко видно изъязвление. — Он отложил зеркальце. — Можешь одеваться, Джулиус.

Дождавшись, когда пациент застегнет рубашку, Кинг присел на табуретку посреди смотровой и начал:

— Ну, что ж, Джулиус, ты сам все понимаешь. Поводы для беспокойства налицо.

— Послушай, Боб, — ответил Джулиус, — я понимаю, наши прежние отношения мешают тебе изъясняться по-человечески, но прошу тебя, не заставляй меня делать твою работу. Не думай, будто я в этом что-нибудь соображаю. Пойми, я сейчас в ужасе на грани паники. Я хочу, чтобы ты отнесся к этому делу серьезно, был со мной предельно честен и занялся этим, как когда-то я с тобой. И, черт тебя побери, Боб, смотри мне в глаза.

Когда ты отводишь взгляд, мне страшно до смерти.

— Хорошо, прости, старик. — Боб посмотрел Джулиусу в глаза. — Ты мне действительно помог тогда, и теперь я сделаю то же самое. — Он откашлялся. — Ну, что ж, Джулиус, учитывая симптоматику, я склонен думать, что это действительно меланома. — Заметив, как вздрогнул Джулиус, Боб поспешил добавить: — Хотя сам по себе диагноз еще ничего не значит. Большинство — заметь себе, большинство — меланом поддаются лечению, хотя, надо признать, попадают и весьма коварные штучки. Для начала нам нужно обратиться к патологу, мы должны знать, действительно ли это меланома, насколько глубоко она успела внедриться и как быстро растет, поэтому для начала мы сделаем биопсию и отдадим патологу. Потом я приглашу хирурга, чтобы он осмотрел пятно, и сам буду рядом. Затем осмотр замороженного образца у патолога, и если *ответ отрицательный, тогда все отлично — мы закрываем дело*. Если положительный и это действительно меланома, тогда мы удаляем наиболее подозрительный узел и, если нужно, делаем повторную резекцию. Никакой госпитализации — всю процедуру проводим в хирургическом отделении. Я почти уверен, что пересадки кожи не потребуются. Самое страшное — пропустишь денек на работе, ну и походишь несколько дней на перевязку. Все, больше я тебе ничего сказать не могу, пока не получим результатов биопсии. Раз ты меня попросил, я за это возьмусь. Можешь на меня положиться, в моей практике были сотни подобных случаев. Хорошо? Моя медсестра позвонит тебе сегодня и все объяснит — время, место и прочее. Договорились?

Джулиус кивнул. Оба поднялись.

— Мне очень жаль, старина, — сказал Боб. — Я бы рад тебя от всего этого избавить, но не могу. — Он протянул Джулиусу информационный буклет. — Знаю, тебе это не понравится, но я всегда предлагаю его в таких случаях. Конечно, все реагируют по-разному: на кого-то действует успокаивающе, другие выбрасывают в мусорку за дверь. Надеюсь, в следующий раз у меня будут для тебя новости получше.

Но новостей получше так и не появилось — дальше было только хуже. Через три дня после биопсии они встретились снова.

— Хочешь прочесть сам? — спросил Боб, протягивая ему заключение патолога. Джулиус мотнул головой, поэтому Боб в очередной раз пробежался глазами по бумажке и начал: — Тогда слушай. Новости не очень утешительные. В общем, это действительно меланома, и у нее имеется... э-э-э... несколько специфических признаков, на которые стоит обратить внимание: она довольно крупная, больше четырех миллиметров в

глубину, изъязвленная, с пятью четко выраженными узлами.

— Погоди-погоди, Боб, я ни черта не понимаю. «Специфических», «четыре миллиметра», «изъязвленная», «пять узлов»? Что ты ходишь вокруг да около? Ты можешь объяснить по-человечески, что все это значит?

— У нас плохие новости, Джулиус, вот что это значит. Твоя меланома достигла порядочного размера и находится на стадии образования узлов. Опасность в том, что она может разнестись по всему организму, но об этом мы сможем судить только по компьютерной томографии, которую я назначил на завтра в восемь.

Через два дня они продолжили беседу. Боб доложил, что компьютерная томография дала отрицательный результат — никаких признаков распространения по организму. Первое обнадеживающее известие.

— И тем не менее, Джулиус, это опасная меланома.

— Насколько опасная? — Голос Джулиуса дрогнул. — Что ты имеешь в виду? Какова вероятность летального исхода?

— Видишь ли, тут можно говорить только об общей статистике. У всех протекает по-разному. Изъязвленная меланома глубиной четыре миллиметра с пятью узлами — в среднем, это пять лет жизни менее чем в двадцати пяти процентах случаев.

Несколько минут Джулиус сидел, опустив голову, сердце колотилось, в глазах стояли слезы. Наконец он произнес:

— Что ж, спасибо за откровенность. Продолжай. Я должен знать, что скажу своим пациентам. Сколько я протяну? Что меня ждет дальше?

— Сейчас ничего нельзя сказать определенно, Джулиус, — до тех пор, пока твоя меланома не объявится где-нибудь в другом месте. Если это произойдет, особенно если она начнет метастазировать, тогда все может закончиться очень быстро — за несколько недель или месяцев. А что касается твоих пациентов, пока сложно сказать, но, я думаю, минимум год ты можешь ни о чем не беспокоиться.

Джулиус, не поднимая головы, медленно кивнул.

— Где твои родственники, Джулиус? Почему ты никого с собой не привел?

— Жена умерла десять лет назад, ты же знаешь. Сын на Восточном побережье, а дочка в Санта-Барбаре. Я им не сообщал — не хотел тревожить раньше времени. Терпеть не могу жаловаться на болячки, хотя уверен, дочка примчится сразу, как только узнает.

— Мне очень жаль, что все так вышло, Джулиус. Хочу немного тебя утешить. Видишь ли, сейчас активно занимаются этой проблемой, у нас и за границей. В последние десять лет заболеваемость меланомой резко

подскочила, почти удвоилась, так что сейчас это актуально как никогда. Кто знает — может, мы уже стоим на пороге открытия.

Всю следующую неделю Джулиус жил как во сне. Его дочь Эвелин, преподаватель античной филологии, спешно отменила занятия и на несколько дней вернулась домой. Сначала он обстоятельно побеседовал с ней, потом с сыном, с сестрой, братом и близкими друзьями. Каждую ночь в три он просыпался от ужаса, плача и задыхаясь. Свои занятия с группой и частными клиентами он отменил на две недели и теперь подолгу размышлял, что и как им сказать.

Зеркало отказывалось подтверждать, что он видит перед собой человека на краю могилы. От ежедневных пробежек его тело было молодым и упругим — ни капли жира. Вокруг глаз и рта всего несколько незаметных морщинок. Совсем немного — у его отца их не было вообще до самой смерти. Зеленые глаза. Джулиус всегда ими гордился — спокойные, честные глаза. Глаза, располагающие к доверию, способные выдержать любой взгляд. Совсем молодые — точно такие же, как когда-то были у шестнадцатилетнего Джулиуса. Смертельно больной старик и шестнадцатилетний подросток пристально вглядывались друг в друга, и между ними лежала пропасть в десятилетия.

Он смотрел на свои губы. Полные, добродушные губы, даже сейчас, в пору отчаяния, готовые расплыться в жизнерадостной улыбке. Шапка черных непослушных волос, только на висках посеребренных сединой. Когдато давно, в Бронксе, когда он был мальчишкой, седой старик-парикмахер, антисемит с багровым лицом, державший лавочку между кондитерской Майера и мясником Моррисом, на чем свет бранился, продираясь металлической расческой сквозь эти густые космы и орудуя ножницами для прореживания волос. А теперь уже нет ни Майера, ни Морриса, ни старика-парикмахера, да и шестнадцатилетний подросток Джулиус сам в черном списке смерти.

В один из таких дней он попытался было взбодриться, почитав о меланоме в университетской библиотеке, но, как выяснилось, совершенно напрасно. Хуже, чем напрасно, — картина стала еще мрачнее. Чем больше он узнавал про свою болезнь, тем настойчивее меланома являлась ему в образе ненасытного чудовища, что запустило в тело свои мерзкие щупальца. Как странно осознавать, что он больше не является совершенной биологической формой. Теперь он прибежище паразита, питательная среда, средство существования неразборчивой твари, чьи прожорливые клетки размножаются с головокружительной скоростью, коварного врага,

нанесшего вероломный удар ему в спину, безжалостно захватившего область смежной протоплазмы и теперь, без сомнения, готовившего новые отряды десанта, чтобы высадить их в его кровеносную систему и колонизировать отдаленные органы — может быть, уже нацеливаясь на нежные, сочные поляны его печени или мягкие заливные луга легких.

Он забросил чтение. Прошло больше недели, пора выходить из ступора. Настало время взглянуть правде в глаза. Сядь, Джулиус, сказал он себе, сядь и подумай о смерти. Он закрыл глаза.

Итак, подумал он, смерть все-таки решила появиться на сцене. Но что за идиотский антураж. Занавес, нелепо отдернутый коротышкой-дерматологом в белом больничном халате с синими буквами на нагрудном кармане, с лупой в руках и сливой вместо носа.

А заключительная сцена? Надо полагать, получится не менее банально. Костюм? Мятая ночная сорочка в полоску с эмблемой «Нью-Йоркских Янки» и цифрой 5, номером Димаджио, на спине. Декорации? Старая необъятная кровать, верой и правдой служившая ему вот уже тридцать лет, смятые простыни на кресле, на тумбочке — стопка непрочитанных романов, еще не догадывающихся о том, что их время никогда не наступит. Сопливый, неутешительный финал. Нет, думал Джулиус, его яркая, наполненная жизнь заслуживает более... более... чего?

Неожиданно ему вспомнилась картинка, которую он наблюдал несколько месяцев назад, когда отдыхал на Гавайях. Однажды, гуляя по окрестностям, он набрел на буддистский центр и увидел за оградой молодую женщину, которая ходила по спиральному лабиринту, выложенному лавовыми камушками. Дойдя до центра, она остановилась и надолго замерла в медитации. Джулиуса всегда тошнило от религиозных церемоний; отношение его располагалось где-то между насмешкой и брезгливостью.

Но теперь, думая об этой молодой женщине, он больше не испытывал к ней неприязни. Напротив, теперь его переполняло сострадание — и к ней, и к остальным собратьям, ставшим, как и он, жертвами легкомысленной эволюции, из собственной прихоти наделяющей несчастных сознанием и не заботящейся о том, чтобы снабдить их психологическим механизмом защиты от страданий бренного бытия. А потому мы год за годом, веками, тысячелетиями с редким упорством продолжаем воздвигать одно доморощенное доказательство собственного бессмертия за другим. Когда же мы, каждый из нас, перестанем искать ту неведомую высшую силу, слившись с которой можно было бы, наконец, обеспечить себе вечность? Когда перестанем вымаливать у небес подробные наставления на путь

истинный, цепляться за краешек чей-то большой одежды, плодить все новые церемонии и обряды?

И все же, пытаясь представить свое имя в списках умерших, он подумал, что скромная церемония была бы, пожалуй, нелишней. Правда, он тут же поспешил откреститься от этой мысли — уж слишком не вязалась она с презрением, которое он всю жизнь питал к ритуальным играм любого рода. Его всегда раздражал тот набор средств, которыми религии облапошивают своих последователей: все эти пышные одеяния, фимиамы, священные книги, усыпляющие григорианские песнопения, молитвенные колеса, молитвенные коврики, платки и тубетейки, епископские митры и посохи, эти хлеб и вино, соборования, головы, что кивают, как болванчики, тела, что раскачиваются в такт заунывным мотивам, — все это он считал частью одной большой и затянувшейся игры, затеянной только для того, чтобы позволить одним помыкать, а другим пресмыкаться.

Однако теперь, когда смерть подошла совсем близко, Джулиус начал замечать, что его прежняя нетерпимость стала терять остроту. Может, отвращение вызывал лишь *навязанный* ритуал, а какая-нибудь скромная неформальная церемония — вовсе не так уж плохо? Теперь его до слез трогали заметки в газетах о том, как пожарные в Нью-Йорке, разбирая завалы на месте башен-близнецов, прекращали работу и снимали каски всякий раз, когда очередные останки жертв выносили наружу. Нет ничего плохого в том, чтобы почтить память умерших... нет! — воздать должное жизни тех, кого уже нет. Но только ли в этом дело? Только ли в почтении, только ли в обряде? Или то была солидарность, признание своей связи с каждой жертвой — нашей общей связи, всех и со всеми?

Джулиус и сам недавно испытал нечто подобное. Это случилось вскоре после того памятного разговора у дерматолога, на собрании коллег-психотерапевтов. Его товарищи были потрясены известием. Они заставили Джулиуса выложить все от начала до конца и, внимательно выслушав, заговорили о своей печали и потрясении. В какой-то момент ни у кого не осталось больше слов. Пару раз кто-то пытался что-то сказать, но не мог — всем вдруг сделалось ясно, что слова не нужны. Последние двадцать минут все просто сидели молча. Обычно от долгих пауз становится неловко, но на этот раз все было по-другому. В том молчании было что-то почти приятное. Джулиус не без удивления признался самому себе, что тишина казалась почти «священной». Потом он понял: члены группы не просто выражали горе — они снимали шляпы, они стояли навывтяжку в знак уважения к его жизни.

А может, собственной жизни, подумал Джулиус. Что еще у нас есть?

Что еще, кроме этого удивительного, блаженного мига сознания и бытия? Если что и должно вызывать в нас священный трепет — только этот бесценный дар абсолютной и чистой реальности. Лить слезы оттого, что жизнь не вечна, что в ней нет смысла или раз и навсегда заведенного порядка, — ослиная неблагодарность. Выдумывать себе всемогущего Бога, чтобы всю жизнь ползать перед ним на коленях, — бессмысленно. И вдобавок расточительно: изливать любовь на призрачные химеры, когда ее недостает живым, — не чересчур ли щедро? Не лучше ли последовать примеру Спинозы и Эйнштейна — склонить голову перед непостижимым таинством природы, почтительно ей поклониться и преспокойно жить в свое удовольствие?

Нельзя сказать, чтобы Джулиуса впервые посещали эти мысли, — он, конечно, и раньше знал, что сознание конечно и обречено рано или поздно исчезнуть. Но есть существенная разница между *знать* и *знать*. Появление смерти приблизило его к настоящему знанию. Не то чтобы он вдруг, в единый миг, стал мудрее; просто теперь, когда многое из того, что раньше мешало ему видеть главное — карьера, любовь, деньги, признание, слава, — исчезло, его взгляд приобрел ясность. Может быть, об этой отстраненности и говорил Будда? Как бы там ни было, лично он предпочитал подход греков: все хорошо в меру. Жить с постной миной, застегнутым на все пуговицы, — верный способ пропустить самое главное на празднике жизни. Стоит ли спешить к выходу, не дождавшись последнего занавеса?

Через несколько дней, когда Джулиус немного успокоился и приступы паники стали возникать все реже, он смог, наконец, задуматься о будущем. Боб Кинг сказал «один год» — «сложно сказать, но, я думаю, как минимум год ты можешь ни о чем не беспокоиться». Как прожить этот год? Первым делом, решил Джулиус, не стоит превращать этот хороший год в плохой только из-за того, что это лишь год и не более.

Однажды ночью, не в силах заснуть и желая хоть чем-нибудь отвлечься, он рассеянно перебирал книги в своей библиотеке. Он уже успел просмотреть все, что было написано в его области, но так и не нашел ничего, что хоть как-то подходило к его теперешнему состоянию. Нигде не говорилось, как следует жить, в чем искать опору, когда тебе остались считанные дни. Неожиданно ему на глаза попала старая потрепанная книжка Ницше «Так говорил Заратустра». Джулиус был знаком с ней слишком хорошо: как-то, много лет назад, работая над статьей, посвященной серьезному, но, увы, непризнанному влиянию Ницше на

Фрейда, он проштудировал ее вдоль и поперек. Сильная книга, больше других учившая любить и ценить жизнь. Да, здесь мог быть спасительный ключик. Слишком взвинченный, чтобы читать все подряд, он принялся перелистывать страницы, выхватывая наугад места, которые сам когда-то подчеркнул.

«Изменить «так было» на «так я хотел» — вот что я готов назвать истинным спасением».

Применительно к его теперешнему положению эта идея Ницше могла означать только одно: он обязан был сам выбрать свою жизнь, *прожить* ее, вместо того чтобы позволить ей сделать это за него. Иными словами, он обязан был возлюбить свою судьбу. Он вспомнил любимый вопрос Заратустры: захотел бы ты жизнь, которую сейчас живешь и жил доныне, прожить еще раз, а потом еще и еще, и так до бесконечности? Любопытный мысленный эксперимент — и все же, чем дольше Джулиус об этом раздумывал, тем яснее понимал, что хотел сказать Ницше: да, нужно проживать свою жизнь так, чтобы хотелось повторять ее снова и снова.

Он полистал еще. Две фразы, жирно обведенные ярко-розовыми чернилами, привлекли его внимание: «Живи свою жизнь», «Умирай в нужное время».

Вот именно! Сначала получи от жизни все, а уж потом — и только потом — умирай. Не оставляй за собой ни капли непрожитой жизни. Джулиус часто сравнивал Ницше с тестом Роршаха: оба так пестрили противоречиями, что оставалось только выбрать — бери что душе угодно. Теперь его душе угодно было нечто совершенно особое: близость смерти изменила процесс чтения, наполнила его новым смыслом: листая книгу, он буквально на каждой странице обнаруживал теперь свидетельства пантеистического единства, которых не замечал раньше. Как Заратустра ни превозносил, как ни возвеличивал свое одиночество, как ни нуждался в уединении, чтобы дать выход своим великим мыслям, он все же искренне любил людей, стремился помочь им стать лучше, выше, встать с коленей, вырваться из узких рамок, спешил поделиться с ними собственной зрелостью. Вот именно — *поделиться собственной зрелостью*.

Поставив «Заратустру» на место, Джулиус еще посидел в темноте, обдумывая слова Ницше и провожая глазами огоньки машин, бегущих по мосту Золотые Ворота. Через несколько минут его «осенило»: он понял, что будет делать, как проживет свой последний год. *Он будет жить его точно так же, как прожил свой прошлый год — и позапрошлый год, и позапозапрошлый*. Он любил свою работу, любил общаться с людьми, пробуждать в их жизни что-то новое. Конечно, это могло быть бегством от

потери жены; может, ему требовались аплодисменты, признание, благодарность тех, кому он помог. Хорошо, пусть так, пусть не совсем бескорыстно, но он был благодарен своей работе. Благослови ее Бог!

Джулиус подошел к своей картотеке, занимавшей целую стену, и выдвинул ящик, где хранились старые медицинские карты и магнитофонные записи бесед. Он пробежался по корешкам — каждый был свидетелем мучительной драмы, что когда-то разыгрывалась здесь, в этих самых стенах. Он принялся их перебирать. Лица одних мгновенно возникали перед ним, другие забылись, и требовалось заглянуть в записи, чтобы освежить память, третьи совершенно стерлись — их лица, истории болезни, — все навсегда утрачено.

Как и большинство коллег, Джулиус регулярно терпел удары, сыпавшиеся со всех сторон на терапию как таковую. Изощрялись все кому не лень: фармацевтические компании и клиники с их скоропалительными заключениями, заранее состряпанными в пользу какой-нибудь новоявленной панацеи или суперметода лечения; журналисты, никогда не упускавшие случая выставить психотерапию в самом нелепом свете; бихевиористы, публичные лекторы и целая армия новомодных целителей и шаманов всех мастей, сражавшихся за сердца и умы страждущего человечества. Не обходилось, конечно, и без внутренних сомнений: революционные открытия в молекулярной нейробиологии, с поразительной частотой потрясавшие ученый мир, порой заставляли даже самых искушенных профессионалов сомневаться в своей правоте.

Джулиус тоже не был застрахован от подобных приступов, частенько тонул в сомнениях относительно эффективности собственных методов лечения и всякий раз успокаивал себя и убеждал в обратном. *Конечно же, он хороший доктор. Конечно, он знает, как помочь своим пациентам, и помог большинству из них — может быть, даже всем без исключения.*

Однако червь сомнений не унимался: *А ты уверен, что действительно помог своим пациентам? Может быть, ты просто понадергал таких, которые пошли бы на поправку и без тебя?*

Нет, это не так! Разве я не брался за самые тяжелые случаи?

А ты часом не перетрудился? Вспомни, когда в последний раз ты выкладывался по полной? Что-то я не припомню, чтобы ты взялся хоть за одного по-настоящему тяжелого больного. За пограничную умственную отсталость, например? Или за биполярного? Запущенного шизофреника?

Перебирая карты, Джулиус подивился, как много, оказывается, сохранилось у него о каждом клиенте: наблюдения о постлечебном контроле и сеансах коррекции, воспоминания о случайных встречах с

бывшими пациентами, их собственные письма, переданные со знакомыми, которых они позже рекомендовали Джулиусу. И все-таки был ли долговременный эффект от его терапии? Или его клиенты получали только временное облегчение? Может, большинство из тех, кого он считал успешным, на самом деле сталкивались потом с рецидивами и скрывали это от него из жалости?

Он подошел к ящику, где хранились его неудачи — публика, как он всегда считал, не созревшая для его суперсовременных методов лечения. Постой, Джулиус, сказал он себе, погоди. Откуда ты знаешь, что эти случаи действительно закончились неудачей? Полным и окончательным провалом? Ты же их с тех пор не видел. Ведь встречаются тугодумы, до которых доходит как до утки на третьей сутки.

Его взгляд скользнул по пухлому делу Филипа Слейта. Ты хотел неудачу? — усмехнулся он. Вот тебе неудача. Высший класс. Филип Слейт. Больше двадцати лет прошло с тех пор, а Филип Слейт и сейчас стоял перед ним как живой. Светло-каштановые волосы аккуратно зачесаны назад, точеный нос, широкие скулы — признак породы, и живые зеленые глаза, которые всегда напоминали Джулиусу Карибское море. Он вспомнил, что на сеансах с Филипом его раздражало буквально все. Все, кроме одного — было истинное удовольствие видеть перед собой это лицо.

Филип Слейт был так откровенно равнодушен к собственной персоне, что ему никогда не приходило в голову заглянуть внутрь себя. Он предпочитал беззаботно скользить по волнам жизни, целиком отдаваясь одному-единственному занятию — сексу, благо из-за его смазливой внешности в добровольцах недостатка не было. Джулиус покачал головой, пробегая глазами карту Филипа: три года на установление контакта, заботы, тревоги, переживания, все эти бесконечные многочасовые «проработки» — и ни с места. Поразительно. Может, он все-таки напрасно мнил себя столь замечательным психотерапевтом?

Постой-постой, Джулиус, сказал он себе, не стоит спешить с выводами. Зачем бы иначе Филип стал ходить к тебе эти три года? Разве стал бы он выбрасывать на ветер целую кучу денег, если бы не получал ничего взамен? А уж Филип Слейт терпеть не мог тратить свои денежки, это факт. Может, твои сеансы все-таки ему помогли? Может, Филип был той самой уткой? Одним из тех медлительных тугодумов, которые старательно распикивают твои рекомендации по карманам, несут их домой и потом уж втихомолку обглаживают, как лакомую косточку? Джулиусу встречались и такие заносчивые типы, которые нарочно скрывали положительные результаты, чтобы, не дай бог, не доставить врачу

удовольствие от неплохо сделанной работы — и тем самым признать его власть над собой.

Филип Слейт влез в его память, и теперь Джулиус никак не мог от него отделаться. Тот основательно окопался и не желал вылезать. Совсем как меланома. Постепенно неудача с Филипом стала казаться Джулиусу олицетворением всех его профессиональных неудач. В деле Филипа Слейта определено было что-то особенное. Но что именно? Джулиус открыл карту и прочел самые первые наблюдения, сделанные двадцать пять лет назад.

Филип Слейт - 11 дек. 1980 г.

26 л., неженат, белый, химик, работает в компании «Дю Пон» - разрабатывает пестициды. Удивительно хорош собой, одет небрежно, но держится с достоинством, тон холодный, сидит напряженно, почти неподвижно, никаких чувств, серьезен, полное отсутствие юмора, не улыбается, говорит только по делу, абсолютно некоммуникабелен. Направлен участковым врачом, д-ром Вудом.

ОСНОВНАЯ ЖАЛОБА: *«Не могу управлять своими сексуальными желаниями».*

Почему обратился именно сейчас? «Последняя капля» - эпизод недельной давности, рассказывает, как по бумажке.

«Я прилетел в Чикаго по делам. Сойдя с самолета, направился к ближайшей телефонной будке и стал обзванивать знакомых женщин, с которыми можно было бы переспать этой ночью. Увы. Все были заняты. Этого и следовало ожидать — пятница, вечер. Я же знал, что лечу в Чикаго. Почему не позвонил им заранее? Когда мой список подошел к концу, я повесил трубку и сказал себе: «Слава богу, сегодня я смогу спокойно почитать и хорошенько выспаться — о чем я на самом деле и мечтал все это время».

Пациент говорит, что эта странная фраза - «о чем я на самом деле и мечтал все это время» — целую неделю не давала ему покоя и послужила толчком обратиться к врачу. «Вот что меня беспокоит, — говорит он. — Если я хочу только одного — почитать и как следует выспаться, объясните мне, доктор Хертцфельд, почему я не могу, почему я этого не делаю?»

Постепенно Джулиус вспоминал все новые подробности знакомства с Филипом Слейтом. Филип всерьез интересовал его с научной точки зрения. Дело в том, что как раз в это время Джулиус работал над вопросом силы

воли в психотерапии, и слова Филипа — *почему я не могу делать то, что хочу?* - могли послужить великолепным началом для его статьи. Но больше всего ему запомнилась фантастическая твердолобость Филипа: после трех лет занятий он нисколько не переменялся, оставался точно таким же, как был вначале, — и все так же страдал от сексуальной озабоченности.

Что стало с Филипом Слейтом? Ни слуху ни духу от него, с тех пор как он резко соскочил тогда, двадцать два года назад. И снова у Джулиуса промелькнула надежда, что, возможно, несмотря ни на что, он все-таки помог Филипу. Внезапно им овладело нетерпение: он должен знать, сию же минуту — вопрос жизни и смерти. Он схватил телефон и набрал 411.

Глава 2

Восторг слияния! Вот в чем истинная суть, средоточие, цель и назначение бытия [\[2\]](#).

- Алло, это Филип Слейт?
- Да, Филип Слейт слушает.
- Это доктор Хертцфельд, Джулиус Хертцфельд.
- Джулиус Хертцфельд?
- Голос из прошлого.
- Далекого прошлого. Из плейстоцена. Джулиус Хертцфельд! Поверить не могу. Это сколько же?... Лет двадцать прошло? И чем обязан?
- Видишь ли, Филип, я звоню по поводу оплаты. По-моему, ты мне остался должен за последнюю встречу.
- Что? За последнюю встречу? Но я же помню...
- Шутка, Филип, расслабься. Забыл старика? Балуюсь по старой памяти. Седина в бороду... Ладно, если серьезно, я звоню тебе вот по какому делу. Видишь ли, у меня появились кое-какие проблемы со здоровьем, начинаю подумывать о пенсии. Так вот, я размышлял тут на досуге и подумал, неплохо было бы встретиться с бывшими пациентами — устроить нечто вроде посттерапевтической беседы — так, ради собственного интереса. Потом объясню подробнее, если захочешь. В общем, я вот что хотел тебя спросить: не могли бы мы с тобой повидаться? Побеседовать часок, вспомнить нашу работу, поболтать, как и что? Это было бы интересно и полезно для меня — а может, и для тебя тоже.
- Гм... часок. Что ж, я не против. Надеюсь, это бесплатно?
- Если не захочешь выставить мне счет — это же я прошу твоего времени. Может, на этой неделе, скажем, в пятницу после обеда?
- В пятницу? Идет. В час дня. Я не стану брать с вас за услуги, доктор Хертцфельд, но на этот раз мы встретимся на моей территории. Я сижу на Юнион-стрит — 4-31 Юнион-стрит, возле Франклин. Найдете номер офиса на указателе — «доктор Слейт». Я теперь тоже терапевт.

Джулиус поежился, вешая трубку. Он развернул кресло и вытянул шею, чтобы увидеть хоть краешек моста — после такого разговора ему срочно требовалось посмотреть на что-нибудь красивое. Да, и еще держать

что-нибудь теплое в руках. Он набил пенковую трубку «Балканским Собранием», чиркнул спичкой и затянулся.

Боже мой, боже, старушка латакия, этот терпкий медвяный аромат — что может быть лучше на свете?

Невероятно — он столько лет не курил. Им овладела мечтательность. Он вспомнил тот день, когда бросил курить. Должно быть, сразу после памятного визита к зубному, старику-соседу Денбоеру, который умер двадцать лет назад. Двадцать лет — неужели столько времени прошло? Джулиус как сейчас видел перед собой длиннущее голландское лицо и очки в золотой оправе. Старик Денбоер под землей вот уже двадцать лет, а Джулиус все еще коптит небо. Пока.

«Это уплотнение на нёбе мне совсем не нравится. — Денбоер слегка покачал головой. — Нужно сделать биопсию». И хотя биопсия дала отрицательный результат, Джулиус не на шутку встревожился — как раз на той неделе он похоронил Эла, своего старинного приятеля по корту, заядлого курильщика, сгоревшего от рака легких. Не последнюю роль сыграло и то, что в это же время он читал воспоминания Макса Шура, личного врача Фрейда, где автор, не скупясь на подробности, расписывал, как раковая опухоль — результат неистребимой любви Фрейда к сигарам — последовательно уничтожила сначала его нёбо, затем челюсть, а потом и саму жизнь. Шур пообещал Фрейду, что, когда придет время, он поможет ему умереть, и когда в конце концов Фрейд объявил, что боль сделалась такой невыносимой, что тянуть больше нет смысла, Шур доказал, что он человек слова, и вколол пациенту смертельную дозу морфия. Вот *это* был доктор. Много ли найдется таких Шуров в наши дни?

Двадцать с лишним лет без единой затяжки. А также без яиц, сыра и животных жиров. В общем, пост и воздержание — и никаких проблем. До того самого чертова осмотра. Теперь ему разрешено все — курево, мороженое, лишнее ребрышко, яйца, сыр... все. Какой смысл теперь думать об этом? Какой смысл во всем? Через год-другой Джулиуса Хертцфельда бросят в землю на съедение червям, и его молекулы разбредутся в поисках новых соединений. А через какую-нибудь пару-тройку миллионов лет и от Солнечной системы ничего не останется.

Чувствуя, как вновь спускается завеса отчаяния, он усилием воли заставил себя вернуться к настоящему. Итак, Филип Слейт стал терапевтом. Невероятно. Замороженный, способный думать только о себе — и, судя по звонку, он мало изменился. Джулиус затянулся и недоверчиво покачал головой, потом снова взял дело Филипа и продолжил читать то, что надиктовал после первой беседы.

ОСНОВНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - навязчивые сексуальные желания с 13 лет, усиленная мастурбация с подросткового возраста до настоящего времени - иногда по четыре-пять раз в день, постоянно думает о сексе, мастурбирует, чтобы снять напряжение. Мысли о сексе отнимают большую часть времени. Сам признается: «за то время, что я потратил на женщин, я спокойно мог бы защитить кандидатскую по философии, выучить китайский язык и астрофизику».

ОТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ: одиночка. Живет один с собакой в маленькой квартире. Друзей нет. Один как перст. То же с друзьями по школе и университету — абсолютно по нулям. Длительных связей с женщинами никогда не имеет — сознательно уходит от серьезных отношений, предпочитает переспать единожды, несколько раз имел более продолжительные связи, около месяца, но в таких случаях первой обычно уходит женщина — либо требует более серьезных отношений, либо недовольна, что ее используют, либо ей не нравятся его связи с другими. Постоянно ищет новизны — навязчивое желание одерживать победы, но полного удовлетворения не достигает никогда. Иногда в каком-нибудь городе знакомится с женщиной, вступает с ней в контакт, бросает ее и уже через час съезжает из гостиницы, чтобы пуститься в новые поиски. Ведет записи своих побед и за последний год переспал с девятью женщинами. Говорит об этом совершенно равнодушно — не стыдится, но и не хвастает. По вечерам, если остается один, начинает испытывать беспокойство. Обычно секс действует, как валиум. Если же переспит с женщиной, успокаивается и весь вечер может спокойно читать. Никаких гомосексуальных проявлений или фантазий.

Что считает удачным днем? Освободиться пораньше, подцепить девицу где-нибудь в баре, переспать с ней (лучше до ужина), по-быстрому отвязаться, желательно так, чтобы не приглашать на ужин (чаще не удается). Основное желание — поскорее вырваться на свободу, чтобы почитать или пораньше улечься спать. Никакого телевизора, кино, друзей или спорта. Единственное, что увлекает, — книги и классическая музыка. Запоем читает классику, историю и философию — никакой беллетристики, ничего современного. С жаром рассуждает о Зеноне и Аристархе — его теперешнее увлечение.

БИОГРАФИЯ: родился и вырос в Коннектикуте, единственный ребенок, семья состоятельная. Отец владелец инвестиционного банка, покончил жизнь самоубийством, когда Филипу было 13. Об обстоятельствах и причинах ничего не знает — возможно, довели

придирки матери. Явная детская амнезия — почти ничего не помнит о раннем детстве и совсем ничего — о похоронах отца. Мать снова вышла замуж, когда ему было 24. В школе держался особняком, с головой в учебе, друзей не было, с 17 лет, после поступления в Йель, порвал всякие отношения с родными. Звонит матери один-два раза в год, отчима в глаза не видел.

РАБОТА: преуспевающий химик — разрабатывает гормональные пестициды для «Дю Пон». Строго нормированный рабочий день, с восьми до пяти, от работы не в восторге, в последнее время заскучал. Следит за новинками в своей области, но только во время работы. Хорошая зарплата плюс премии. Жуткий скряга — обожает подсчитывать свои доходы и играет на бирже, поэтому обеденные перерывы проводит в одиночку, просматривая биржевые колонки в газетах.

ВНЕШНЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: шизоидный тип, сексуально озабочен, очень зажат — в глаза не смотрит, ни разу не взглянул на меня, избегает личного контакта — ощущение, что вообще не знает, как строить отношения; от моего неожиданного вопроса, какое впечатление я на него произвожу, удивился до крайности — как будто я говорю на каталонском или суахили. Очень напряжен, так что даже я чувствовал себя неловко. Чувство юмора на нуле. Блестяще образован, мысли излагает ясно, но буквально каждую мелочь приходится тянуть клещами - я даже взмок. Крайне обеспокоен стоимостью лечения (хотя свободно может это себе позволить). Попросил снизить оплату, но я отказался. Был очень недоволен тем, что мы начали на пару минут позже, и не постеснялся спросить, продлю ли я сеанс, — трясется за свой кошелек. Дважды осведомился, за сколько дней он должен предупредить меня, что прекращает лечение, — чтобы, не дай бог, не переплатить.

Захлопнув папку, Джулиус задумался: «Значит, теперь, двадцать пять лет спустя, Филип Слейт стал терапевтом. Что может быть нелепей? Судя по всему, он ничуть не изменился: по-прежнему не понимает шуток и все такой же скряга (дернул же меня черт пошутить про оплату). Психотерапевт без чувства юмора? И такая ледышка? А эта просьба — «встретиться на его территории». Джулиус снова поежился.

Глава 3

Жизнь — прескверная штука. Я решил посвятить всего себя обдумыванию этого вопроса [\[3\]](#).

На Юнион-стрит радостно светило солнце. Столики под навесами ресторанчиков и пиццерий заполнила обедающая публика, слышался оживленный гул голосов и треньканье посуды. Яркие голубые и розовые шарики реяли над счетчиками парковок, зазывая на открытую воскресную распродажу. Джулиус шагал на встречу с Филипом, не обращая внимания ни на публику за столиками, ни на уличные прилавки, заваленные грудями залежавшегося модельного хлама. Он даже не задержался у своих любимых витрин — перед антикварной лавкой японской мебели и у тибетского магазинчика, и, вопреки обыкновению, даже не взглянул на лавчонку с азиатскими безделушками, мимо которой редко проходил без того, чтобы не бросить восхищенный взгляд на затейливую черепицу с изображением сказочной восточной дивы в доспехах.

Нет, он не думал о смерти: Филип Слейт задал ему столько загадок, что даже мрачные мысли временно отошли на задний план. Как это вышло, что Филип вдруг с такой отчетливостью всплыл в памяти? Где он был все эти годы — его лицо, имя, история? Волей-неволей приходилось признать, что нейрохимия обошлась без Джулиуса, сохранив всю историю его отношений с Филипом на подкорке. Скорее всего Филип преспокойно сидел все это время в каком-нибудь клубке нейронов и ждал своего часа, чтобы, при первых звуках сигнала, мгновенно очнуться ото сна и отбросить свое изображение на призрачный экран его зрительной коры. Джулиус неуютно поежился при мысли о таинственном киномеханике, который сидит в его мозгу и запускает свою дьявольскую машинку, когда ему вздумается.

Но куда непонятнее, с какой стати он решил вдруг встретиться с Филипом? Почему он вытащил на свет не кого-нибудь, а именно Филипа? Может, потому, что история с Филипом закончилась таким оглушительным провалом? Вряд ли. В конце концов, Филип был не единственным пациентом, которому так и не удалось помочь, и тем не менее другие благополучно стерлись из памяти без следа. А может, он вспомнил Филипа, потому что остальные неудачники быстро забрасывали лечение, тогда как

Филип продолжал упрямо ходить? Бог мой, и как ходить. За три выматывающих года не пропустил ни одного сеанса, ни разу не опоздал, ни на минуту: жалел свое время. И вдруг как гром среди ясного неба в конце встречи коротко и безапелляционно: это их последняя встреча.

Впрочем, даже после того как Филип бросил терапию, Джулиус продолжал считать его небезнадежным — правда, в то время он часто заблуждался, думая, что нет болезней, которые нельзя вылечить. И все-таки в чем он ошибся? Филип был настроен работать, он был настойчив, умен, образован... и при этом отталкивал. Джулиус никогда не брался за пациента, который был ему неприятен, но в его отношении к Филипу не было ничего личного: он бы *никому* не понравился. У него же отроду не было друзей.

Да, он терпеть не мог Филипа, но это не мешало ему *любить* его как редкостный научный материал. Вопрос Филипа «почему я не могу делать то, что хочу?» был занимательным образчиком паралича воли, и потому их совместные занятия, будучи совершенно бесполезными для Филипа, тем не менее приносили немало пользы Джулиусу: сколько идей, родившихся у него во время бесед с Филипом, нашли потом применение сначала в его нашумевшей статье «Психотерапевт и сила воли», а позже в книге, которую он назвал «Желание, воля и действие». Внезапно у него промелькнула мысль, что в течение трех лет он эксплуатировал Филипа. Может быть, теперь, с его новым ощущением единства, он сможет наконец искупить свою вину и довести до конца то, что не сумел сделать раньше?

Юнион-стрит, 41, оказался скромным двухэтажным особняком на углу. Внутри Джулиус отыскал на указателе Филипа: «Филип Слейт, д.н., философское консультирование». Философское консультирование? Джулиус фыркнул. Это что еще за фрукт? Так, пожалуй, скоро дойдет до парикмахеротерапии и консалтинга кислых щей. Он поднялся по лестнице и нажал кнопку у двери.

Послышался звонок, и дверь с легким щелчком открылась. Джулиус очутился в крохотной приемной, совершенно голой, если не считать черного дерматинового диванчика малопривлекательной наружности в углу. В двух шагах от него в дверях кабинета стоял Филип. Даже не двинувшись навстречу, он знаком пригласил Джулиуса войти. Руки для приветствия не протянул.

Джулиус мысленно сравнил этого Филипа с тем, что был в его памяти. Почти никаких отличий. За двадцать пять лет ничего, разве что сеточка морщин вокруг глаз да слегка дряблая шея. Рыжеватые волосы все так же зачесаны назад, все те же колючие зеленые глаза — по-прежнему смотрят в

сторону. Джулиус почти не помнил случая, чтобы их взгляды встречались. Филип напоминал ему самонадеянных юнцов, что вечно просиживали на лекциях с умным видом, даже не прикасаясь к конспекту, в то время как он сам и его товарищи торопливо записывали все, что могло понадобиться на экзамене.

Оглядев рабочий кабинет Филипа, Джулиус хотел было съязвить, но вовремя передумал. Вместо этого уселся на стул, предложенный Филипом, и решил предоставить первое слово хозяину. Кабинет был обставлен по-спартански: старый потертый стол с ворохом бумаг, пара неуклюжих разномастных стульев и одинокий сертификат на стене.

Да, много времени прошло, очень много. — Филип заговорил официальным, уверенным тоном, будто для него совершенно естественно, что их роли поменялись и теперь он принимает своего бывшего психотерапевта.

— Двадцать два года — я посмотрел в своих записях.

— Так почему именно сейчас, доктор Хертцфельд?

— А что, обмен любезностями уже подошел к концу? — О нет, только не это! Джулиус обругал себя. Прекрати немедленно! Ты что, забыл? Этот человек не понимает юмора.

Но Филипа, казалось, нисколько не смутило это замечание.

— Элементарные правила ведения беседы, доктор Хертцфельд, вы же сами знаете. Первый шаг — установить рамки. Мы уже условились о месте и времени — кстати, я готов вам выделить час вместо ваших обычных пятидесяти минут, — потом оплата или отсутствие таковой. Следующая стадия — определиться с целями и задачами. Я стараюсь ради вашей же пользы, доктор Хертцфельд, чтобы сделать эту встречу максимально полезной для вас.

— Хорошо, Филип, принято. Кстати, «почему именно сейчас» — хороший вопрос, я сам им пользуюсь. Помогает сконцентрироваться на главном. Ну что ж, тогда к делу. Как я уже сказал, у меня возникли проблемы со здоровьем — в общем, дела неважные, так вот... мне захотелось оглянуться назад, посмотреть, что удалось и что не удалось в моей работе. Сам понимаешь, возраст — хочется подвести итоги. Стукнет тебе шестьдесят пять — вспомнишь меня.

— Не понимаю, о чем вы, но готов поверить на слово. Признаюсь, мне не совсем понятно ваше желание встретиться со мной или с другими клиентами. Лично со мной такого не случается. Мои клиенты платят мне деньги, я предоставляю им свое экспертное мнение. На этом мы расходимся они знают, что получили квалифицированный совет, а я — что

сделал все возможное. Не могу представить, чтобы мне захотелось когда-нибудь встретиться с ними еще раз. И тем не менее я весь внимание. С чего начнем?

Джулиус не имел обыкновения утаивать что-то от клиентов, это всегда было его сильным качеством — люди ценили его за прямоту и открытость. Но на этот раз он заставил себя умолчать об истинной цели визита. Бестактность Филипа неприятно задевала его, но ведь он пришел не для того, чтобы давать советы. Наоборот, он хотел получить от Филипа прямой и честный ответ о том, что он думает о его работе, так что чем меньше Джулиус скажет про свое теперешнее состояние, тем лучше. Если бы он заикнулся о своем отчаянии, о том, как лихорадочно ищет выход, как хочет надеяться, что сыграл хоть какую-то роль в жизни Филипа, тот, чего доброго, мог бы из жалости наговорить ему кучу комплиментов. Или поступить как раз наоборот — из упрямства.

— Что ж, прежде всего спасибо, что согласился встретиться со мной. Я хотел бы услышать следующее: первое — что ты думаешь о нашей работе, помогла она тебе или нет, и второе, уже посерьезней, я хотел бы узнать, как сложилась твоя жизнь с тех пор, как мы расстались. Обожаю слушать, чем заканчиваются истории.

Если Филипа и удивила такая просьба, он ничем этого не выразил. Несколько секунд посидел молча, закрыв глаза, сложив пальцы. Потом размеренно заговорил:

— История пока еще далека от завершения, доктор Хертцфельд. По правде говоря, моя жизнь так сильно изменилась несколько лет назад, что мне кажется, будто я родился заново. Но пойдем по порядку — начну с нашего лечения. Вынужден признаться, оно оказалось совершенно бесполезным — пустая трата времени и денег. Считаю, что со своей стороны я сделал все, что мог: если память мне не изменяет, я всегда был готов к сотрудничеству, работал над собой, ходил регулярно, оплачивал счета, запоминал сны, выполнял все ваши указания — надеюсь, вы не станете возражать?

— Возражать против того, что ты был готов к сотрудничеству? Конечно, нет. Скажу больше, ты был чрезвычайно прилежным учеником.

Филип кивнул и, снова уставившись в потолок, продолжил:

— Насколько я помню, мы встречались ровно три года, в основном по два раза в неделю. Это очень много часов — как минимум двести. Почти двадцать тысяч долларов.

Джулиус едва сдержался: всякий раз, когда пациенты отпускали подобные замечания, он не упускал случая возразить, что это «капля в

море», и вдобавок подчеркнуть, что проблемы, копившиеся много лет, невозможно устранить в одночасье; кроме того, он обязательно приводил какой-нибудь убедительный довод из собственного опыта: к примеру, сам он во время студенческой практики три года ходил на занятия по пять раз в неделю — более семисот часов. Но Филип уже не был его пациентом, и Джулиусу не нужно было ни в чем его убеждать. Он пришел сюда, чтобы слушать. Поэтому он прикусил губу и промолчал. Филип продолжил:

— Когда я начал лечиться у вас, я был загнан в угол — нет, валялся на обочине, лицом в грязь, так будет точнее. Тогда я работал химиком, разрабатывал средства для уничтожения насекомых. Меня тошнило от моей работы, от моей жизни, вообще от всего. Единственное, что мне нравилось, — это читать философию и размышлять над загадками истории. Но я пришел к вам из-за своих сексуальных проблем, как вы, надеюсь, помните.

Джулиус кивнул.

— Тогда я терял контроль над собой. Только секса я и хотел. Он не давал мне покоя. Я не мог остановиться. Страшно вспомнить, какую жизнь я вел. Соблазнить как можно больше женщин — вот все, чего мне требовалось. После коитуса короткая передышка — и снова все сначала.

При слове «коитус» Джулиус подавил улыбку — он вспомнил, как, несмотря на свою неутолимую похоть, Филип всегда старательно избегал непристойностей.

— Только в этот короткий момент, сразу после коитуса, — продолжал Филип, — я мог жить полной жизнью, в согласии с самим собой, тогда я мог общаться с великими мыслителями прошлого.

— Да, я помню твоих Аристархов и Зенонов.

— Они, а потом и многие другие. Но эти моменты, эти передышки были слишком короткими. Теперь я свободен. Теперь я могу жить, не думая об этом. Но позвольте мне вернуться к вашему лечению, ведь именно в этом состоял ваш первый вопрос?

Джулиус кивнул.

— Я, помню, очень привязался к нашим занятиям, они стали для меня еще одной навязчивой идеей, которая, увы, не заменила первую — просто наложилась на нее. Я помню, как ждал каждого сеанса — и все-таки, несмотря ни на что, каждый раз уходил разочарованным. Сейчас я точно не помню, что мы делали, — кажется, все время пытались как-то связать мою проблему с моей прежней жизнью. Выводили, выводили — мы все время пытались что-то вывести. И все же каждый ваш новый вывод казался мне сомнительнее прежнего. В ваших рекомендациях не было ни аргументации, ни логики, но хуже всего было то, что ни одна из них ни капли не повлияла

на мою проблему... А проблема была серьезная. Я знал это. И еще я знал, что обязан во что бы то ни стало с ней завязать. Прошло немало времени, пока я понял, что вы не знаете, как мне помочь, и тогда я окончательно потерял веру в вас. Помню, вы тратили кучу времени на то, чтобы исследовать мои взаимоотношения с другими людьми — и, в особенности, лично с вами. Я не видел в этом никакого смысла — не видел тогда, не вижу и сейчас. Время шло, и мне становилось все тяжелее встречаться с вами, продолжать исследовать наши отношения так, будто они действительно существовали, делать вид, будто они больше того, чем на самом деле были — обычными *платными услугами*. - Филип замолчал и, разведя ладони, взглянул на Джулиуса, словно говоря: «Сам напросился».

Джулиус был раздавлен. Чей-то незнакомый голос сказал за него:

— Что ж, это честный ответ, Филип. Ну, а теперь продолжение истории — что было с тобой потом?

Филип сложил ладони, опустил подбородок на кончики пальцев, завел глаза к потолку, собираясь с мыслями.

— Потом? Начнем с работы. Мои открытия в области создания гормональных инсектицидов неожиданно принесли компании солидные дивиденды, и моя зарплата резко выросла. Но к тому времени я уже был сыт химией по горло. А тут, когда мне исполнилось тридцать, подоспели траст-фонды моего отца. Подарок судьбы. Наконец-то я был свободен. Этих денег хватало на несколько лет безбедного существования, и я забросил подписку на химическую литературу, уволился с работы и занялся наконец тем, о чем мечтал всю жизнь, — поиском истины... Я был жалок и несчастен, все так же напряжен и по-прежнему страдал от навязчивых желаний. Конечно, я перепробовал и других психоаналитиков, но они могли дать мне не больше, чем вы. Один из них, бывший сокурсник Юнга, как-то сказал, что мне нужна не просто психотерапия. Он сказал, что в моем положении единственная надежда — духовное развитие. Я последовал его совету и обратился к религиозной философии, в особенности к идеям Востока — из всех прочих только они показались мне стоящими. Остальные не давали ответов на важнейшие вопросы и только прикрывались именем Бога вместо истинного философского осмысления. Я даже провел несколько недель в медитативном лагере — довольно любопытно. Правда, это не избавило меня от проблемы, но у меня возникло ощущение, что в этом есть какое-то рациональное зерно — наверное, тогда я просто не был готов... И все это время, за исключением вынужденного воздержания в ашраме — хотя и там я умудрялся находить лазейки, — я продолжал свою безумную погоню. Я переспал с толпой женщин — с

десятками, сотнями, иногда по две в день, всегда и всюду, в любое время — так же, как во время наших занятий. Постель с одной — иногда с двумя женщинами — и снова поиски. Никакого возбуждения после. Помните старую поговорку: «С девчонкой в первый раз бывает только раз». — Филип поднял голову и посмотрел на Джулиуса: — Это была шутка, доктор Хертцфельд. Помню, однажды вы заметили, как вас поражает, что за все время я умудрился ни разу не пошутить.

Джулиус, на сей раз совсем не расположенный к веселью, с усилием выдавил из себя усмешку, хотя и узнал в этом *bon mot* собственную остроту, однажды оброненную в разговоре с Филипом. Филип казался ему огромным заводным пупсом с ключом на макушке — пришло время снова его заводить:

— И что же было дальше? Уставившись в потолок, Филипп ответил:

— Дальше в один прекрасный день я пришел к гениальному решению: раз ни один врач не в состоянии мне помочь — простите, доктор Хертцфельд, но и вы тоже...

— Я уже начинаю об этом догадываться, — ответил Джулиус и тут же поспешно добавил: — Не надо извинений, Филип, просто честно отвечай на мои вопросы.

— Простите, я не хотел на этом останавливаться — так вот, поскольку медицина не могла мне помочь, я решил, что вылечу себя сам — курсом библиотерапии, который включал бы в себя достижения величайших мудрецов, которые когда-либо жили на свете. Я приступил к систематическому чтению философии, начиная с греческих досократиков и заканчивая Поппером, Роулзом и Куайном ^[4]. После года занятий я не избавился от проблемы, зато сделал несколько ценных открытий. Впервые, я понял, что стою на правильном пути, а во-вторых, что философия — это действительно мое. Это был самый главный вывод — помните, как много мы с вами говорили о том, что я нигде не чувствую себя как дома?

— Помню, — кивнул Джулиус.

— И тогда я подумал: раз я собираюсь посвятить эти годы чтению философии, почему бы мне не сделать это своей профессией — в конце концов, деньги рано или поздно кончатся. Так что я поступил в докторантуру при философском факультете Колумбийского университета. Занимался я хорошо, написал солидную диссертацию и через пять лет уже был доктором философских наук. Я начал преподавать, а потом, пару лет назад, заинтересовался прикладной, или, как я предпочитаю ее называть, «клинической» философией. И вот я здесь.

— Ты не закончил — как именно тебе удалось вылечиться?

— Да. В Колумбии, читая книжки, я познакомился с одним психотерапевтом — психотерапевтом с большой буквы, — который предложил мне нечто такое, что не мог предложить никто другой.

— В Нью-Йорке? Кто такой? В Колумбии?... С какого факультета?

— Его звали Артур... — Филип помедлил и взглянул на Джулиуса со едва заметной усмешкой на губах.

— Артур?

— Да, Артур Шопенгауэр, мой личный психотерапевт.

— Шопенгауэр? Ты шутишь.

— Никогда не был серьезнее.

— Я мало знаю Шопенгауэра — разве что расхожие фразы о мрачном пессимизме. Никогда не слышал, чтобы он имел какое-то отношение к психиатрии. Чем он мог тебе помочь? Что?...

— Не хочу прерывать вас, доктор Хертцфельд, но у меня сейчас встреча с клиентом, а я по-прежнему не люблю опаздывать — как видите, я мало изменился. Оставьте свою визитную карточку, и как-нибудь в другой раз я расскажу вам больше. Это был врач, созданный для меня. Не будет преувеличением сказать, что гению Артура Шопенгауэра я обязан своей жизнью.

Глава 4. 1787 год. Гений: бурный пролог и фальстарт

Талант похож на стрелка, попадающего в такую цель, которая недостижима для других; гений похож на стрелка, попадающего в такую цель, до которой другие не в состоянии проникнуть даже взором [\[5\]](#).

БУРНЫЙ ПРОЛОГ

Гений был всего четыре дюйма в длину, когда разыгралась буря. В сентябре 1787 года околплодное море, со всех сторон окружавшее его, взволновалось и начало бешено швырять его из стороны в сторону, грозя унести прочь от спасительных утробных берегов. Волны резко пахли злобой и ужасом. Кислотные волны ностальгии и отчаяния захлестывали его. Остались в прошлом счастливые дни безмятежного покачивания у причала. Не зная, куда бежать, где искать спасения, его крохотные невральные синапсы запылали и загорались.

Чем раньше судьба преподает нам свою науку, тем лучше. Артур Шопенгауэр никогда не забудет ее первые уроки.

ФАЛЬСТАРТ, или КАК АРТУР ШОПЕНГАУЭР ЧУТЬ НЕ СТАЛ АНГЛИЧАНИНОМ

Артурррр, Артурррр, Артурррр. Генрих Флорис Шопенгауэр раскатывал каждый звук на языке. Артур. Хорошее имя. Превосходное имя для будущего главы уважаемого торгового дома Шопенгауэров.

Шел 1787 год, и его юная женушка Иоганна была еще на третьем месяце беременности, когда Генрих Шопенгауэр принял решение: если

родится сын, он назовет его Артуром. Достопочтенный муж Генрих сделает все, чтобы исполнить свой долг: как его предшественники передали ему бразды правления знаменитым торговым домом Шопенгауэров, так и он передаст их своему сыну. Времена наступили тяжелые, но Генрих был уверен, что сын сможет достойно ввести фирму в девятнадцатый век. Имя Артур как нельзя лучше для этого подходило. Это имя одинаково пишется на всех основных языках Европы, оно будет беспрепятственно пересекать любые национальные границы, но самое главное — это английское имя.

Долгие века предки Генриха не покладая рук трудились над созданием общего семейного дела, и их усилия увенчались успехом. Дед Генриха даже однажды принимал в своем доме русскую императрицу Екатерину Великую и, дабы доставить гостье особое удовольствие, как-то повелел разлить коньяк в ее покоях и затем его поджечь, чтобы воздух в комнатах сделался сухим и благовонным. Отца Генриха удостаивал визитом прусский король Фридрих, который, как гласит семейное предание, несколько часов безрезультатно убеждал хозяина дома перевести дело из Данцига в Пруссию. А теперь, когда управление знаменитым торговым домом перешло к Генриху, он сделает все, чтобы очередной наследник Шопенгауэров по имени Артур обеспечил семейному делу великое будущее.

Торговый дом Шопенгауэров — зерно, лес и кофе — был одним из почтеннейших домов Данцига, этого достославного ганзейского города, заправлявшего торговлей по всей Балтике. Но настали тяжелые времена и для великого вольного города: с запада грозила Пруссия, с востока Россия, а одряхлевшая Польша больше не могла гарантировать былого спокойствия и независимости. Вот почему Генрих Шопенгауэр опасался, что дни свободы и процветания Данцига уже сочтены. Европа захлебывалась в пучине политических и финансовых потрясений — Европа, но не Англия. Англия стояла несокрушимо, как скала. За Англией было будущее. Только в Англии семья и торговый дом Шопенгауэров обретут спокойную гавань; нет, не просто спокойную гавань — они станут процветать, если будущий глава компании родится англичанином и будет носить английское имя. Герр Артуррр Шопенгауэр — нет, мистер Артуррр Шопенгауэр, английский подданный, глава торгового дома — вот что станет залогом счастливого и беззаботного будущего.

И вопреки протестам юной беременной женушки, не достигшей еще и двадцати и умолявшей его оставить ее дома под присмотром матушки вплоть до рождения первенца, Генрих двинулся в далекую Англию, таща за собой отчаянно упирающуюся супругу. Юная Иоганна была в ужасе, однако

подчинилась непреклонной воле супруга. Прибыв в Лондон, она, вопреки опасениям, чрезвычайно быстро обрела привычную живость и легкость характера, и вскоре уже весь Лондон восхищался блестящим очарованием юной девы. В своих путевых дневниках Иоганна напишет, что ее новые английские друзья окружили ее такой любовью и таким вниманием, что она совершенно успокоилась и чувствует себя совсем как дома.

По-видимому, «новые английские друзья» пустились изливать свою любовь с таким усердием, что ревнивый Генрих не на шутку разволновался; его тревога скоро переросла в настоящую панику. Не в состоянии справиться с беспокойством и чувствуя, что ревность грозит в любую минуту выплеснуться наружу, он заметался в поисках выхода. И вскоре решение было найдено: он отказывается от собственных намерений и, силком затолкав свою — уже на седьмом месяце — жену в карету, поспешно покидает Лондон и, невзирая на лютые морозы, сковавшие всю Европу, возвращается в Данциг. Много лет спустя Иоганна так опишет свои чувства во время того переезда: «Помощи не от кого было ждать, я вынуждена была держать свои горести при себе. Этот человек волоком тащил меня через пол-Европы только для того, чтобы рассеять собственную тревогу» ^[6].

Вот такие-то бурные шторма сопровождали внутриутробную жизнь гения: брак без любви, напуганная, возмущенная мать, встревоженный ревностью отец и два тяжелейших переезда через мрачную, неприветливую Европу.

Глава 5

Счастливая жизнь невозможна. Высшее, что может достаться на долю человека, — жизнь героическая [\[71\]](#).

Джулиус вышел от Филипа совершенно разбитым. Держась за перила, он неуверенно спустился по лестнице и, пошатываясь, вышел на солнце. Несколько секунд постоял, соображая, куда повернуть. Свободный вечер сулил больше беспокойств, чем радости. Он привык к тому, что его время расписано до минуты: если не было встреч с клиентами, другие не менее важные дела требовали его внимания — книги, преподавание, теннис, научная работа. Но сегодня ничто не казалось важным. У него даже закралось подозрение, будто на самом деле ничто *никогда и не было* важным и сознание только ловко обманывало его, заставляя поверить, что он занимается важными вещами. Но сегодня Джулиус видел его насквозь. Нет, сегодня у него не было никаких важных дел, и он бесцельно поплелся по Юнион-стрит.

Когда за Филлмор-стрит деловые кварталы закончились, он заметил впереди старуху, с грохотом толкавшую перед собой ходунки. Боже, что это было за зрелище. Джулиус поспешил отвести взгляд, но любопытство пересилило, и он вновь повернул голову. На старухе было несколько кофт и вдобавок тяжелое зимнее пальто — на улице ослепительно сияло солнце, и весь этот маскарад выглядел до крайности нелепо. Отвисшие бурундучьи щеки лихорадочно дергались — вероятно, старуха пыталась сладить с зубными протезами, никак не желавшими вставать на место. Но отвратительнее всего была огромная уродливая шишка, висевшая под ноздрей, — просвечивающая розоватая бородавка размером с виноградину, из которой торчало несколько длинных щетинок.

«Ну и пугало, — промелькнуло в голове у Джулиуса, но он тут же одернул себя: — Эта старуха не намного старше тебя. Вот что ждет тебя в будущем — бородавки, ходунки, инвалидное кресло». Когда старуха подошла ближе, он услышал ее ворчливый голос:

- Что это за магазины? Чем они здесь торгуют, хотела бы я знать?
- Не знаю, я здесь просто гуляю, — громко ответил Джулиус.
- А вас никто не спрашивал.

— С кем же вы говорите? Кроме нас, здесь, кажется, никого нет.

— Какая разница, что нет? Вас не спрашивают, я вам говорю.

— А кого же? — Джулиус приставил обе руки ко лбу и сделал вид, что осматривает пустынную улицу.

— Тебе-то какое дело? Бродят тут всякие, — пробурчала старуха и забряцала своими ходунками дальше.

Джулиус застыл на месте. На всякий случай осмотрелся, чтобы убедиться, что никто не видел этой сцены. Боже мой, подумал он, я совсем свихнулся — какого черта я вытворяю? Хорошо еще, что сегодня нет клиентов. Нет, беседы с Филипом Слейтом явно не идут мне на пользу.

В этот момент на него пахнуло упоительным ароматом кофе из распахнутых дверей «Старбакса». Один час с Филипом, решил он, стоит хорошей чашки двойного эспresso. Внутри он устроился у окна и принялся рассматривать прохожих. Ни одной седой головы — ни в кафе, ни на улице. В свои шестьдесят пять он был здесь самым старым, старше других стариков, и, если принять во внимание его меланому, стремительно старел каждую минуту.

За стойкой две смазливые барменши флиртовали с посетителями. Такие девицы никогда не глядели в его сторону — ни раньше, в молодости, ни потом, когда он стал взрослее. Теперь уже его время никогда не наступит, и эти соблазнительные красотки с пышными бюстами никогда не взглянут на него и не спросят с застенчиво-кокетливой улыбкой: «Что-то давно тебя не видно. Как поживаешь?» Этого уже никогда не случится. Жизнь удивительно прямолинейна и всегда движется только в одну сторону.

Все, перестань, хватит себя жалеть. Не ты ли всегда поучал нытиков: не замыкайтесь в себе, учитесь видеть дальше собственного носа. Другого выхода нет — прав тот, кто умеет превращать дерьмо в конфетку. Может, стоит об этом написать? Завести личный дневник или блог? Или, чем черт не шутит — толкнуть статью в «Журнал Американской психиатрической ассоциации»: «Психиатр в борьбе со смертью». Или что-нибудь глубокомысленное — в «Санди Таймз». Он вполне мог бы это сделать. А может, даже замахнуться на книгу. «История одной кончины». Неплохая идея. Иногда достаточно взрывного названия, чтобы вещь пошла сама собой. Джулиус заказал эспresso, вынул ручку и, подняв с пола бумажный пакет, аккуратно расправил его и нацарапал первые строчки, усмехаясь над скромными обстоятельствами рождения своей будущей великой книги.

Пятница, 2 ноября 1990 г. ДДД (День - Дело Дрянь) + 16

Какого черта я откопал Филипа Слейта? Нашел за кем гоняться. Как

будто он может мне помочь. Это же было ясно с самого начала. Все, хватит. Какой из него терапевт? Курам на смех. Бесчувственный, самовлюбленный эгоист. Ведь я сказал ему по телефону, что у меня проблемы со здоровьем и поэтому я хочу встретиться - и что же? Он даже ни разу не спросил, как у меня дела. Даже руки не протянул. Холодный, бесчеловечный дикарь. Держится от меня на расстоянии. А я-то три года выкладывался ради этого типа.

Отдавал ему все, что мог. Все свои знания. Неблагодарный ублюдок.

Да, я знаю, что он ответит на это. Я даже слышу его занудный голос: «Это была сделка, доктор Херцфельд: я платил деньги - вы предоставляли услуги. Я платил вам за каждую консультацию. Сделка закрыта, мы квиты, и я вам ничего не должен».

И потом прибавит: «Даже меньше, чем ничего, доктор Херцфельд. Ведь вы остались в выигрыше — вы получили свои денежки, тогда как я не получил ничего».

Хуже всего то, что он прав. Он действительно не должен мне ничего. Я сам кричу на всех перекрестках, что психотерапия - это образ жизни, любовь, сострадание. Какое право я имею требовать от него чего-то, на что-то надеяться? Он все равно не способен дать мне то, что нужно.

«Человек не может дать то, чего у него нет» — сколько раз я сам твердил это своим клиентам. И все же этот мерзкий, бессердечный тип не идет у меня из головы. Может, стоит сочинить оду про вечный долг пациентов перед их бывшими психотерапевтами?

С чего это я так разошелся? И почему связался именно с Филипом? Сам не знаю. Может быть, дело во мне - я как будто разговариваю с самим собой, только моложе. Может быть, Филип - это и есть я, тот я, который в пятнадцать, и в двадцать, и в тридцать лет жил точно так же, повинаясь гормонам? А я-то думал, будто знаю все, что он чувствует, обладаю каким-то тайным механизмом, способным его исцелить. Может, поэтому я так старался? Этот тип отнял у меня больше сил и внимания, чем все остальные пациенты, вместе взятые. В практике каждого врача обязательно найдется тот, кто вытянет из него всю душу, - для меня таким человеком стал Филип.

Дома оказалось сумрачно и зябко. Сын Ларри еще утром уехал к себе в Балтимор, где его ждала незаконченная работа по нейробиологии в институте Хопкинса. Джулиус почти с облегчением узнал об отъезде сына — сочувственное лицо Ларри и неловкие, хотя и искренние попытки утешить отца больше терзали Джулиуса, чем успокаивали. Джулиус подумал было созвониться с Марти, приятелем по группе поддержки, но

почувствовал себя таким разбитым, что повесил трубку и решил вместо этого сесть за компьютер и внести записи, нацарапанные на мятом пакете из «Старбакса». «У вас новое сообщение», — высветилось на экране. К удивлению Джулиуса, пришло письмо от Филипа. Джулиус поспешно открыл его и с любопытством прочел:

Сегодня в конце нашей беседы вы спросили меня про Шопенгауэра и как мне помогла его философия. Вы также дали мне понять, что хотели бы узнать о нем больше. Надеюсь, вам будет интересна моя лекция в Коустел-колледже в следующий понедельник в 7 часов вечера (Тойон-холл, 340, Фултон-стрит). Сейчас я начитываю европейскую философию, и в понедельник у меня краткий обзор Шопенгауэра (я должен охватить две тысячи лет за три месяца). Мы могли бы поболтать после лекции. Филип Слейт.

Джулиус тут же без колебаний послал ответ: «Спасибо, обязательно буду», потом открыл ежедневник и записал: «Понедельник, Тойон-холл, 340, Фултон, 7 вечера».

По понедельникам с половины пятого до шести Джулиус вел групповые занятия. С утра он долго раздумывал, стоит ли объявлять группе о меланоме. Индивидуальным клиентам он решил ничего не говорить, пока окончательно не придет в себя, но группа — совсем иное дело: в группе он был лидером, центром внимания, и кто-нибудь вполне может заметить в нем перемену и об этом заговорить.

Однако он напрасно волновался. Группа с готовностью приняла его извинения за пропуск двух занятий из-за гриппа и, не теряя времени, пустилась наверстывать упущенное — каждому не терпелось поделиться новостями. Стюарт, толстенький коротышка-педиатр, который вечно ходил с растерянным лицом, словно ожидал, что его с минуты на минуту срочно вызовут к больному, сегодня был непривычно взволнован. Именно он первым попросил внимания группы. Это было неожиданно: Стюарт ходил на занятия уже год и за все это время редко обращался за помощью. В группу он попал не по своей воле: однажды он получил по электронной почте письмо от жены, в котором она сообщала, что, если он не начнет ходить на групповую психотерапию и кардинально не изменит свое отношение к жизни, ей придется от него уйти. В конце письма она приписала, что сообщает все это по электронке, потому что он больше прислушивается к электронным средствам связи, чем к тому, что она ежедневно талдычит ему нормальным человеческим языком. Как

выяснилось, на минувшей неделе она как раз приступила к исполнению первого этапа своей угрозы и покинула супружескую спальню, переселившись в другую комнату, так что большая часть занятия ушла на то, чтобы помочь Стюарту справиться с чувствами, обуревавшими его в результате демарша жены.

Джулиус любил свою группу. Он всегда с искренним восхищением следил за тем, как эти люди бесстрашно ломали привычные рамки и рисковали — и в этом отношении сегодняшний вечер не был исключением. Каждый старался изо всех сил поддержать Стюарта, который не скрывал своих переживаний, и время пронеслось незаметно. Под конец встречи Джулиус почувствовал себя гораздо лучше. Его так захватили драматические повороты беседы, что за полтора часа он ни разу не вспомнил о собственных бедах. Ничего удивительного. Любой терапевт знает, как целительна атмосфера групповых занятий. Сколько раз Джулиус приходил на встречу расстроенным или подавленным и уходил, чувствуя себя несравненно лучше — хотя, конечно, никогда не распространялся о своих личных проблемах.

У него оставалось немного времени, чтобы перекусить, и он отправился в соседний суси-бар. Джулиус часто бывал здесь, и шеф-повар Марк приветствовал его, едва Джулиус появился на пороге. В обычные дни Джулиус предпочитал сидеть за стойкой — как и все его пациенты, он чувствовал себя неуютно, обедая за столом в одиночку.

Обычный заказ: роллы «Калифорния», копченый угорь и вегетарианские маки. Он обожал суси, но старательно избегал сырой рыбы, опасаясь паразитов. Вечная борьба с внешним врагом — какой нелепой она казалась сейчас. Всю жизнь опасаться удара снаружи, чтобы в конце концов получить его изнутри. К черту, подумал Джулиус, я больше не стану об этом думать, и, к невероятному изумлению Марка, заказал себе порцию ахи-суси. Он ел с огромным наслаждением, а закончив, помчался в Тойон-холл на свое первое свидание с Артуром Шопенгауэром.

Глава 6. Маменька и папенька

Шопенгауэры — Zu Hause [\[8\]](#)

Уже в детские годы образуется прочная основа нашего мировоззрения, а следовательно, и его поверхностный либо глубокий характер; в последующее время жизни оно получает свою целостность и законченность, но в существенных своих чертах остается неизменным [\[9\]](#).

Что за человек был Генрих Шопенгауэр? Жесткий, непреклонный, замкнутый, суровый и гордый. История сохранила следующий рассказ. В 1783 году, спустя пять лет после рождения Артура, Данциг окружили прусские войска, и в городе возникла острая нехватка продовольствия и фуража. В это время в загородном поместье Шопенгауэров был расквартирован один прусский генерал. В качестве платы за постой он милостиво предложил хозяину пользоваться его фуражом. Каков же был ответ Генриха? «Мои конюшни забиты овсом, сударь, а если мои запасы кончаются, я имею обыкновение забивать своих лошадей».

А что же Маменька Артура, Иоганна? Романтичная, очаровательная, остроумная, живая и кокетливая особа.

Несмотря на то что весь Данциг считал Генриха и Иоганну блестящей парой, их союз оказался на редкость неудачным. Трозинеры, мать и отец Иоганны, происходили из скромного рода и всегда с нескрываемым почтением относились к благородным Шопенгауэрам. И когда тридцативосьмилетний Генрих начал оказывать знаки внимания семнадцатилетней Иоганне, Трозинеры были вне себя от счастья, а юная Иоганна молча покорила родительскому выбору.

Жалела ли Иоганна о своем поступке? Судите сами: вот что много лет спустя она напишет в назидание девицам, стоящим перед выбором: «Великолепие, роскошь, титулы и звания обладают такой магнетической силой для сердца молодой девушки, что торопят ее к скорейшему заключению брачного союза... один неверный шаг, за который она будет расплачиваться всю оставшуюся жизнь» [\[10\]](#).

«Расплачиваться всю оставшуюся жизнь» — сильные слова из уст

Артуровой матушки. В своих дневниках она признавалась, что еще до того, как Генрих начал ухаживать за ней, она имела сердечный роман с одним молодым человеком, но судьба их разлучила, и юная Иоганна была так убита горем, что приняла предложение Генриха как во сне. Да и был ли у нее выбор? Вряд ли. Ее союз с Генрихом был типичным для восемнадцатого века браком по расчету, и единственной его целью было приобретение состояния и веса в обществе.

А как же любовь? О ней и речи не шло между Генрихом и Иоганной. Никогда. Позднее в своих мемуарах она напишет: «Я притворялась, что люблю этого человека, не больше, чем он того требовал» ^[11]. Нельзя сказать, чтобы особо обласканы были и остальные домочадцы — и юный Артур, и его младшая сестра Адель, родившаяся девятью годами позже.

Любовь между родителями неизменно порождает и любовь к детям. Правда, время от времени мы слышим о столь страстной любви между родителями, что в ее пламени сгорают без остатка все прочие чувства, оставляя детям лишь жалкие крохи, — но такая любовь, замкнутая на самой себе, все-таки кажется нам противоестественной. Скорее верно обратное: чем больше мы любим друг друга, тем больше любви мы способны отдавать детям — да и вообще людям.

Детские годы в обстановке взаимной холодности оставят неизгладимый след в жизни Артура. Дети, не связанные с матерью узами нежной любви, лишены той уверенности в себе, которая позволяет им в дальнейшем полюбить себя и поверить в то, что и другие могут их любить, что любовь вообще существует на свете. Вырастая, они отстраняются от общества, уходят в себя и часто воспринимают других людей как личных соперников. Вот какова была психологическая обстановка, в итоге сформировавшая мировосприятие Артура.

Глава 7

Если обратиться к частностям человеческой жизни, то впечатление от нее можно сравнить со зрелищем рассматриваемой через микроскоп, кишашей инфузориями капли воды, усердная деятельность и борьба которых вызывает у нас смех. Ибо как здесь, на самом незначительном пространстве, так и там, в самый короткий промежуток времени, большая и серьезная деятельность кажется комичной [\[121\]](#).

Без пяти семь Джулиус выбил остатки из пенковой трубки и открыл дверь в аудиторию Тойон-холла. Он выбрал себе место сбоку в четвертом ряду и осмотрелся: снизу вверх амфитеатром поднимались два десятка рядов, большинство мест пустовало, то здесь, то там виднелись поломанные кресла, обмотанные желтым скотчем. В последнем ряду на ворохах газет расположились двое бездомных. Три десятка неряшливых студентов рассыпались по всей аудитории, за исключением первых трех рядов, которые оставались совершенно пустыми.

Совсем как в группе, подумал Джулиус, — никто не хочет садиться рядом с руководителем. Он вспомнил, что и сегодня кресла по обе стороны от него пустовали, пока не пришли опоздавшие. В шутку он называл эти кресла штрафными. Групповой фольклор утверждал, что слева от руководителя садятся тихие, а справа — буйные, однако на собственном опыте он успел убедиться, что нежелание сидеть рядом с руководством — единственное правило, которое не нарушается ни при каких обстоятельствах.

Общий хаос и неразбериха, царившие в Тойон-холле, были неотъемлемой чертой всего Калифорнийского Коустел-колледжа, который когда-то начинал как вечерние бизнес-курсы, а затем быстро пустил корни и разросся в колледж преддипломной подготовки. Судя по всему, сейчас он находился в фазе активной энтропии. Пробираясь через студенческий городок, больше похожий на свалку, Джулиус с удивлением обнаружил, что с трудом отличает местных студентов от городских бездомных. Какой преподаватель не поддастся моральному разложению в такой обстановке? Немудрено, что Филип хочет отсюда сбежать.

Джулиус взглянул на часы — стрелка приближалась к семи, и тут, секунда в секунду, в аудитории появился Филип. Одет он был традиционно: клетчатые брюки цвета хаки и желто-коричневый вельветовый пиджак с накладками на локтях. Вынув бумаги из своего выдавшего виды портфеля и даже не подняв глаз на аудиторию, он начал:

Продолжаем обзор западноевропейской философии. Лекция восемнадцатая. Артур Шопенгауэр. Сегодня я построю свою лекцию не вполне традиционно и позволю себе несколько отступлений. Если моя речь покажется вам слишком бессвязной, проявите немного терпения — обещаю, что в конце концов я обязательно вернусь к непосредственной теме нашей беседы. Позвольте мне для начала напомнить вам о величайших дебютах мировой истории.

Филип вопрошающе обвел зал глазами и, не встретив ни малейшего признака интереса к своим словам, ткнул согнутым указательным пальцем в одного из студентов, сидевших поближе, и знаком поманил к доске. Затем по слогам продиктовал три слова: *бес-связ-ный*, *тер-пе-ни-е* и *де-бют*; студент прилежно записал их на доске и уже хотел было вернуться на место, но Филип указал ему на первый ряд и велел остаться.

Итак, величайшие дебюты истории — поверьте, вам вскоре станут ясны причины моего отступления. Давайте вспомним Моцарта, который в девять лет поразил венский двор безупречной игрой на клавесине. Или — если пример с Моцартом не задевает струн вашего сердца (*слабая тень улыбки*) — возьмем что-нибудь поближе — к примеру, «Битлз», которые в девятнадцать лет покорили своими песнями Ливерпуль.

Другой поразительный дебют — замечательная история Иоганна Фихте (*знак студенту записать Фих-те на доске*). Кто-нибудь помнит это имя по нашей прошлой лекции? Тогда мы обсуждали великих немецких философов-идеалистов, последователей Канта, работавших на рубеже восемнадцатого-девятнадцатого веков, — Гегеля, Шеллинга и Фихте. Из этой троицы Фихте выделяется и своей жизнью, и своим дебютом в истории, ибо начинал он простым крестьянским мальчиком, который пас гусей в крохотной немецкой деревушке Раменау, до той поры известной только тем, что по воскресеньям тамошний священник читал отменные проповеди.

Чтобы послушать их, приехал как-то в Раменау один богатый вельможа. Очевидно, он задержался в дороге, и, когда прибыл на место, проповедь уже закончилась. Расстроенный, он стоял возле церкви, и тут к

нему подошел какой-то старик и посоветовал не отчаиваться, потому что мальчишка Иоганн, который пасет гусей, может пересказать ему всю проповедь от начала до конца не хуже самого священника. Старик привел Иоганна, который действительно слово в слово повторил проповедь. Барон так удивился поразительной памяти мальчика, что взялся оплатить его образование и отправил в знаменитую школу Пфорта, откуда впоследствии выйдет немало знаменитых немецких мыслителей, включая и объект нашей следующей лекции, Фридриха Ницше.

В школе, а потом и в университете, Иоганн сразу выделится блестящими способностями. Однако через несколько лет его патрон умрет, и Иоганн останется без средств к существованию. Чтобы выжить, он устроится гувернером в одно немецкое семейство. Случится так, что его наймут преподавать философию Канта, которого он к тому времени и в глаза не видел. Вскоре, однако, он будет совершенно очарован божественным Кантом...

Филип неожиданно оторвался от своих записей и поднял глаза на слушателей. По-видимому, не встретив ни малейшей искры сочувствия, он прошипел:

Ау. Есть здесь кто-нибудь? Кант, Иммануил Кант. Кант. Кант. Помните? — Он сделал знак своему помощнику написать слово Кант на доске. — Мы два часа обсуждали его на прошлой неделе. Кант — вместе с Платоном, величайший из величайших философов мира. Обещаю, что обязательно буду спрашивать его на экзамене. А-га. Проснулись? Вот теперь я, наконец, вижу какую-то жизнь, кто-то зашевелился, у кого-то открылись глаза, ручки поползли по бумаге.

Итак, на чем мы остановились? Ах да... пас гусей... Затем Фихте предложили должность гувернера в Варшаве, и, не имея ни гроша в кармане, он прошагал пешком всю дорогу только для того, чтобы, прибыв на место, получить отказ. Осмотревшись, он понял, что находится всего в нескольких сотнях миль от Кенигсберга, где жил Кант, и решил отправиться туда, чтобы лично повидаться с учителем. Через два месяца он прибыл в Кенигсберг и бесстрашно постучался в дверь Канта, но допущен к хозяину дома не был: Кант был человеком строгих правил и не имел обыкновения принимать у себя кого попало. На прошлой неделе я рассказывал вам, как строго он придерживался распорядка: Кант был так пунктуален, что горожане сверяли по нему часы всякий раз, когда он выходил на прогулку.

Фихте подумал, что ему отказали, поскольку у него не было рекомендательных писем, и недолго думая решил сочинить их сам, чтобы

таким образом добиться встречи с Кантом. В порыве вдохновения он написал свою первую работу, знаменитую «Критику всякого откровения», в которой развил кантовские взгляды на этику и чувство долга применительно к религии. Кант пришел в такой восторг от работы, что не только согласился встретиться с Фихте, но и взялся способствовать опубликованию книги.

По странному стечению обстоятельств — возможно, из-за уловок издателя, желавшего побыстрее сбыть товар, — «Критика» появилась без имени автора на обложке. Книга была написана так блестяще, что и критики, и читающая публика немедленно приняли ее за новое сочинение самого Канта. В конце концов, Кант был вынужден даже публично заявить, что автором рукописи является не он, а один очень талантливый молодой человек по фамилии Фихте. Признание Канта обеспечило Фихте место в философии, и через полтора года он уже был удостоен звания профессора в университете Иены.

Вот что, — тут Филип исступленно обвел глазами слушателей и в припадке неуклюжего восторга рубанул воздух, — вот что я называю дебютом.

Никто из слушателей даже не поднял глаз; нелепый восторг лектора явно остался для них незамеченным. Если Филипа и обескуражила холодность аудитории, он не подал виду и невозмутимо продолжил:

А теперь давайте взглянем на то, что гораздо ближе вашим сердцам, — спортивные дебюты. Можно ли забыть великолепные дебюты Крис Эверт, Трейси Остин или Майкла Чанга, выигравших турниры большого шлема в пятнадцать-шестнадцать лет? А шахматных вундеркиндов Бобби Фишера и Пола Морфи? Или Хосе Рауля Капабланку, который выиграл чемпионат Кубы по шахматам в одиннадцать лет.

И наконец, я хотел бы напомнить вам об одном литературном дебюте — самом потрясающем литературном дебюте всех времен и народов, о человеке, который в свои двадцать с небольшим лет ворвался в мировую литературу со своим блестящим творением...

Здесь Филип умолк, явно намереваясь подогреть интерес аудитории, и взглянул в зал, лучась таинственностью. Очевидно, он не сомневался в своем успехе. Джулиус не верил глазам: что он ожидает увидеть? Студентов, которые привстают от нетерпения с мест и с дрожью в голосе спрашивают друг друга: «Кто же это? Кто этот литературный гений?»

Джулиус оглянулся на зал: всюду потухшие взгляды, тела лениво

развалились в креслах, кто-то бессмысленно водит ручкой в тетрадке, кто-то с головой ушел в разгадывание кроссвордов. Слева от Джулиуса какой-то студентик спал, растянувшись на два кресла. Справа, в конце его собственного ряда, парочка, обнявшись, застыла в продолжительном поцелуе. Впереди в соседнем ряду двое юнцов, подталкивая друг друга локтями, игриво поглядывали куда-то в конец зала. Несмотря на любопытство, Джулиус не обернулся туда же — наверняка молокососы заглядывают кому-нибудь под юбку. Он взглянул на Филипа.

Так кто же был этот гений? — монотонно гудел Филип. — Его звали Томас Манн. Когда ему было столько же лет, сколько вам, — да, ровно столько, сколько вам, он начал писать свой шедевр, великий роман «Будденброки», который увидел свет, когда автору было всего двадцать шесть. Томас Манн — прошу запомнить это имя. Один из гигантов двадцатого века, Нобелевский лауреат по литературе. — Здесь Филип продиктовал своему помощнику слова *Манн* и *Буд-ден-бро-ки*. - Роман «Будденброки», опубликованный в 1901 году, — это хроника бюргерского семейства, в которой в мельчайших подробностях прослеживается жизнь четырех поколений.

Вы спросите, какое отношение имеет все это к философии и к теме нашей сегодняшней лекции? Как я и обещал, я слегка отклонился от курса, но только для того, чтобы еще решительнее вернуться к главному вопросу.

В зале послышалась возня и затоптали чьи-то ноги. Подростки-вуайеристы с шумом собрали вещи и вышли. Целующаяся парочка в конце ряда тоже исчезла, и даже прикомандированный к доске студент внезапно куда-то испарился.

Филип продолжал:

Самое сильное впечатление производят заключительные главы книги. В них подробно описывается, как главный герой, отец семейства Томас Будденброк, ощущает приближение смерти. Можно только удивляться, как в свои неполные тридцать лет автор смог настолько проникнуть в чувства и переживания человека, стоящего на краю гибели. — Филип потряс потрепанной книжкой и с тенью улыбки на лице объявил: — Настоятельно рекомендую всем, кто намерен умереть.

Чиркнула спичка — двое студентов закурили, выходя из зала.

Когда смерть пришла за ним, Томас Будденброк был совершенно потрясен и растерян. Ни в чем из того, что поддерживало его раньше, он не мог найти опоры — ни в религии, которая давно уже перестала отвечать его метафизическим потребностям, ни в житейском скептицизме и

материалистических рассуждениях в духе Дарвина. Ничто, по словам Манна, не могло дать умирающему, представшему «перед всевидящим оком смерти, ни минуты покоя».

В этом месте Филип поднял глаза:

То, что случилось дальше, имеет огромное значение, и именно с этого места я начинаю приближаться к непосредственной цели нашей сегодняшней беседы.

Когда его отчаяние достигло предела, Томас Будденброк случайно наткнулся в дальнем углу шкафа на дешевую, плохо сброшюрованную книжку. Это было философское сочинение, которое он много лет назад купил у букиниста. Он принялся читать его, и через некоторое время к нему вернулось спокойствие. Старик был абсолютно потрясен, по выражению Манна, тем, «как этот мощный ум покорил себе жизнь, властную, злую, насмешливую жизнь» [\[13\]](#)?

Умирающего старика поразила удивительная, несвойственная философии ясность, с которой автор излагал свои мысли. Он читал несколько часов подряд, пока не дошел до главы под названием «Смерть и ее отношение к неразрушимости нашей сущности в себе». Совершенно очарованный, он продолжал читать — так, будто от этого зависела его жизнь. Когда книга подошла к концу, Томас Будденброк был уже совершенно другим человеком. Он вновь обрел мир и спокойствие, которые так долго ускользали от него.

Что же нашел умирающий в этой книге? — Здесь в голосе Филипа зазвучали пророческие нотки. — А теперь слушайте внимательно, Джулиус Хертцфельд, потому что это пригодится вам на выпускном экзамене жизни...

От неожиданности Джулиус подскочил как ошпаренный. Он испуганно огляделся и лишь тогда заметил, что аудитория была совершенно пуста: в зале не осталось ни единого слушателя, даже двое бездомных с последнего ряда успели уйти.

Но Филип, нисколько не обескураженный отсутствием слушателей, спокойно продолжал:

Я прочту одно место из «Будденброков». — Он открыл книжку, которую держал в руках. — Ваше задание — внимательно прочесть этот роман, в особенности часть девятую. Это окажет вам неоценимую помощь — гораздо большую, чем попытки отыскать истину в воспоминаниях ваших бывших пациентов.

«Я надеялся продолжать жизнь в сыне? В личности еще более робкой, слабой, неустойчивой? Ребячество, глупость и сумасбродство. Что мне сын? Не нужно мне никакого сына... Где я буду, когда умру? Но ведь это ясно как день, поразительно просто. Я буду во всех, кто когда-либо говорил, говорит или будет говорить «я»; и прежде всего в тех, кто скажет это «я» сильнее, радостнее... Разве я ненавидел жизнь, эту чистую, жестокую и могучую жизнь? Вздор, недоразумение. Я ненавидел только себя — за то, что не умел побороть ее. Но я люблю вас, счастливые, всех вас люблю, и скоро тюремные тесные стены уже не будут отделять меня от вас; скоро то во мне, что вас любит, — моя любовь к вам, — станет свободным, я буду с вами, буду в вас... с вами и в вас, во всех...» [\[14\]](#)

Филип захлопнул книгу и снова вернулся к своим конспектам.

Так кто же был автор этого сочинения, которое настолько преобразило Томаса Будденброка? В книге Манн отказывается открыть его имя, но сорок лет спустя он напишет великолепное эссе, в котором будет утверждать, что автором сочинения был Артур Шопенгауэр. Манн описывает, как в двадцать три года впервые испытал невероятную радость от книг Шопенгауэра. Его не только околдовала мелодика шопенгауэровских слов, которые он описывает как «такие безупречно чистые и гармоничные, такие округлые, изложение и речь такие сочные, такие изящные, так ладно подогнанные друг под друга, такие волнующе яркие, такие великолепно и небрежно строгие, каких не было еще во всей истории немецкой философии» [\[15\]](#), но и сама суть шопенгауэровской идеи, которую он называет «волнующей, захватывающей, целиком построенной на контрастах, балансирующей где-то между инстинктом и разумом, грехом и искуплением» [\[16\]](#). Манн решил, что Шопенгауэр — слишком бесценная находка, чтобы держать ее при себе, и, не раздумывая, вложил его книгу в руки умирающего персонажа.

Но Томас Манн был не один — целый ряд великих мыслителей признавались, что многим обязаны Артуру Шопенгауэру. Толстой называл его «величайшим гением человечества». Для Рихарда Вагнера он был «даром небес». Ницше признавался, что его жизнь навсегда изменилась с той минуты, когда он купил старенький томик Шопенгауэра у лейпцигского букиниста и позволил, как он выразился, «этому неутомимому мрачному гению поработать над моим сознанием» [\[17\]](#). Шопенгауэр навсегда изменил интеллектуальную карту Западного мира, и без него мы имели бы совсем других, гораздо слабее, и Фрейд, и Ницше, и Харди, и Витгенштейна, и Беккета, и Ибсена, и Конрада.

Филип вынул карманные часы, на мгновение задержал на них взгляд и торжественно объявил:

На этом я заканчиваю обзор философии Шопенгауэра. Она настолько глубока и необъятна, что ее невозможно изложить в кратком виде, посему я решил ограничиться только тем, чтобы возбудить ваше любопытство и подтолкнуть вас самостоятельно освоить те шестьдесят страниц, которые посвящены этому вопросу в учебнике. Оставшиеся двадцать минут я хотел бы отвести на вопросы и обсуждение. Есть вопросы от аудитории, доктор Хертцфельд?

Совершенно сбитый с толку этим тоном, Джулиус снова оглядел пустой зал и затем негромко спросил:

— Филип, ты вообще заметил, что аудитория давно разошлась?

— Какая аудитория? Ах, эти? Так называемые студенты? — Филип небрежно дернул рукой, как бы показывая, что они не заслуживают его внимания и ни их появление, ни отсутствие не имеют для него совершенно никакого значения. — Вы, Доктор Хертцфельд, и только вы — моя аудитория сегодня. Я читал эту лекцию только для вас, — ответил Филип, которого, по-видимому, нисколько не смущал разговор в гулком пустом зале с собеседником, сидящим в тридцати футах от него.

— Ну ладно, я поддамся. С какой стати ты читал ее для меня?

— Подумайте хорошенько, доктор Хертцфельд.

— Я бы предпочел, чтобы ты звал меня Джулиус. Когда я называю тебя Филип, мне кажется, тебя это не слишком раздражает, поэтому будет правильно, если ты тоже будешь называть меня Джулиус. Кстати, тебе это ничего не напоминает? Я только что вспомнил, что однажды, много лет назад, я тебе уже говорил: «Зови меня Джулиус — ведь мы не чужие».

— Я не имею привычки называть клиентов по имени, я им не друг, а профессиональный консультант, но раз вы хотите — пусть будет Джулиус. Так на чем мы остановились? Ты спрашиваешь, почему я читал лекцию только для тебя? Отвечаю: это моя реакция на твою просьбу о помощи. Вспомни, Джулиус, ты попросил меня о встрече, но на самом деле за этим стояло многое другое.

— Разве?

— Да. Позволь объяснить. Во-первых, твой тон звучал слишком настойчиво — тебе было крайне важно, чтобы я с тобой встретился. Вряд ли ты сгорал от любопытства и просто хотел узнать, как у меня дела. Нет, ты хотел чего-то другого. Ты упомянул, что твое здоровье в опасности, а в шестьдесят пять это может значить только одно — ты умираешь. Отсюда я заключил, что ты напуган и ищешь поддержки. Моя лекция и есть ответ на

твою просьбу.

— Надо признаться, весьма туманный ответ.

— Не туманнее твоей просьбы.

— Принято. Хотя, сколько я тебя помню, ты всегда любил скрытность.

— Я и сейчас ничего не имею против нее. Ты просил о помощи, и я ответил — я познакомил тебя с человеком, который лучше других знает, как тебе помочь.

— Ты, значит, собирался утешить меня рассказами про умирающих Будденброков?

— Конечно. Но это была только приманка, маленький пример того, что я как твой проводник по Шопенгауэру смогу тебе предложить. Поэтому я и собираюсь заключить с тобой сделку.

— Сделку? Филип, ты не устаешь меня удивлять. И что же это такое?

— Видишь ли, мне нужна лицензия на консультирование. Я уже наработал достаточно часов и собрал все необходимые справки. Единственное, что мне осталось, — отработать двести часов под профессиональной супервизией. Я мог бы, конечно, и дальше работать как клинический философ — государством эта деятельность пока никак не регулируется, — но лицензия консультанта дает мне ряд преимуществ, включая страховку от врачебных ошибок — ну, и продвижение на рынке, конечно. В отличие от Шопенгауэра, у меня нет ни финансовой, ни научной поддержки — ты сам имел возможность убедиться, какой интерес к философии питают эти олухи из свинарника под названием Коустел-колледж.

— Филип, тебя не напрягает, что мы друг другу кричим? Лекция окончена, может быть, ты присядешь и мы продолжим в более неформальной обстановке?

— Конечно. — Филип собрал бумаги, затолкал их в портфель и опустил в кресло на первом ряду. Теперь они были ближе друг к другу, но их по-прежнему разделяли четыре ряда кресел, и кроме того, Филипу всякий раз приходилось неловко выворачивать шею, чтобы обращаться к Джулиусу.

— Правильно ли я понял, что ты предлагаешь мне бартер: я становлюсь твоим супервизором, а ты обучаешь меня Шопенгауэру? — уже тише спросил Джулиус.

— Именно. — Филип повернул шею — ровно настолько, чтобы не встречаться взглядом с Джулиусом.

— И ты уже продумал все детали?

— Еще как продумал. Честно говоря, доктор Хертцфельд...

— Джулиус.

— Да, да, Джулиус. Я только хотел сказать, что уже несколько недель собирался тебе позвонить и попросить о супервизии, но все откладывал — денежные дела, то да се. Поэтому я очень удивился, когда ты сам позвонил, — замечательное совпадение. Что касается принципа нашей работы, предлагаю встречаться раз в неделю и разбивать встречу надвое: одну половину ты консультируешь меня по моим клиентам, другую — я тебя по Шопенгауэру.

Джулиус закрыл глаза и погрузился в размышления.

Филип подождал пару минут и потом не выдержал:

— Ну что? Видишь ли, у меня сейчас по расписанию семинар, и, хотя нет надежды, что кто-то появится, нужно срочно бежать в деканат.

— Не знаю, что и сказать, Филип. Не каждый день получаешь такие предложения. Мне нужно как следует подумать. Давай встретимся на недельке. Я свободен по средам вечером. Можешь в четыре?

Филип кивнул:

— В среду я кончаю в три. Встретимся в моем офисе?

— Нет, Филип, в моем. Это у меня дома, Пасифик-авеню, 249, рядом с моим прежним офисом. Вот моя карточка.

Из дневника Джулиуса

Он просто огорошил меня своим предложением. Он, видите ли, предлагает мне сделку: я становлюсь его супервизором, а он — моим консультантом. Удивительно все-таки, как быстро мы попадаем под знакомое влияние. Похоже на сон, когда все вокруг кажется таким странно знакомым, а потом вспоминаешь, что уже видел то же самое место, но в другом сне. Или на марихуану: пара затяжек — и ты уже в знакомом месте и думаешь знакомые мысли, которые существуют только под кайфом.

То же самое и с Филипом: поговорил с ним пару минут, и оп-па — тут же накатили старые воспоминания и еще особое, «филиповское» настроение. Высокомерный, презрительный нахал. Думает только о себе. И все-таки в нем есть что-то — что-то сильное, оно притягивает меня. Но что именно? Интеллект? Холодность и высокомерие, помноженные на наивность? Поразительно, что за двадцать два года он ничуть не изменился. Хотя нет, он избавился от своей сексуальной зависимости, и теперь ему больше не нужно носиться, как кобелю по следу, вынюхивая очередную сучку. Он живет теперь возвышенной жизнью, о которой всегда мечтал. Но расчетливость — она осталась прежней. И так

простодушен, что даже не догадывается ее скрывать. Думает, я уцеплюсь за его предложение руками и ногами. Выброшу на ветер двести часов своего времени, чтобы он учил меня Шопенгауэру. И у него еще хватает наглости выставлять дело так, будто это нужно мне самому, будто я сам его об этом прошу. Конечно, это было бы любопытно, но тратить двести часов на байки про Шопенгауэра не входит в мои планы. И к тому же, если он надеется поразить меня чем-то вроде умирающих Будденброков, он ошибается. Соединиться со всем и вся за счет потери собственного Я с его уникальной памятью, с его единственным, неповторимым сознанием? Нет, эта идея меня мало греет. Не греет совсем.

Но что тянет его ко мне, хотел бы я знать. На днях он язвительно заявил мне про двадцать тысяч долларов, которые якобы со мной потерял, — неужели таким образом он собирается их компенсировать?

Стать супервизором Филипа? Помочь ему стать законным, кошерным терапевтом? Тут еще нужно подумать. Хочу ли я помочь ему? Стать его крестным отцом, когда я ни секунды не верю, что этот мизантроп (а он именно мизантроп) способен кому-то помочь?

Глава 8. Безмятежные дни раннего детства

И так ведь все на стороне религии: откровение, писание, чудеса, пророчества, правительственная охрана, высший почет, какой приличествует истине, общее признание и уважение... и — что самое главное — неоценимое право внедрять свои учения в пору нежного детства, вследствие чего они становятся как бы прирожденными идеями [\[18\]](#).

После рождения Артура в феврале 1788 года Иоганна в своем дневнике запишет, что ей, как и всякой молодой матери, нравится забавляться со своей «новой куклой». Но новые куклы очень скоро становятся старыми, и через несколько месяцев эта игрушка наскучит Иоганне, и она начнет томиться от скуки и одиночества. В ее душе неожиданно зашевелится что-то — какое-то смутное подозрение, что материнство никогда не было ее истинным призванием и что судьба уготовила ей совсем иное будущее. Летние месяцы, которые семья станет проводить в загородном поместье Шопенгауэров, будут особенно невыносимы. Хотя Генрих, в сопровождении священника, и будет навещать жену по выходным, все остальное время Иоганна станет проводить одна с маленьким Артуром и слугами: снедаемый жестокой ревностью супруг запретит жене принимать гостей и оставлять дом под любым предлогом.

Когда Артуру исполнится пять, на семью обрушатся серьезные испытания. Пруссия захватит Данциг, и буквально за несколько часов до того, как передовые прусские части — кстати, возглавляемые тем же самым генералом, которого Генрих так холодно поставил на место несколько лет назад, — войдут в город, семейство Шопенгауэров бежит в Гамбург. Там, в незнакомом городе, Иоганна произведет на свет второго ребенка, Адель, — событие, которое усугубит ее и без того мрачное отчаяние.

Генрих, Иоганна, Артур и Адель — отец, мать, сын и дочь — четыре человека, объединенные семейными узами и в то же время ничем не связанные друг с другом.

Для Генриха Артур был коконом, из которого со временем должен вывестись будущий глава торгового дома Шопенгауэров. В этом отношении Генрих был типичным представителем рода: он занимался тем, что делал

деньги, и совершенно не вникал в воспитание сына, намереваясь приступить к исполнению отцовских обязанностей не раньше, чем Артур «завершит» свой детский период.

А его женушка? Каковы были виды Генриха на нее? О, она должна была стать утробой и колыбелью всех будущих Шопенгауэров. От природы слишком живая, она нуждалась в твердой руке, защите и обуздании.

А Иоганна? Что она чувствовала? Загнана в западню, поймана. Ее супруг и кормилец Генрих — ее роковая ошибка, угрюмый надсмотрщик, деспотичный страж ее живого вдохновения. А сын Артур? Разве он не часть западни, не тяжелый камень на ее могиле? Талантливая женщина, Иоганна жаждала самовыражения и самореализации, жажда эта угрожающе нарастала с каждым днем, и Артур был слишком ничтожной наградой за принесенную жертву самоотречения.

А младшая дочь? Почти не замечаемая отцом, Адель сыграет незначительную роль в семейной драме и впоследствии всю жизнь проведет личным секретарем Иоганны Шопенгауэр.

Итак, каждый из Шопенгауэров шел собственным путем.

Глава семейства, измученный вечными тревогами и отчаяньем, добровольно уйдет в мир иной через шестнадцать лет после рождения сына: взобравшись на верхний этаж своего склада, он бросится в ледяные воды гамбургского канала.

Его жена, так внезапно освобожденная от брачных пут, недолго думая стряхнет пыль Гамбурга со своих ножек и легким ветерком упорхнет в Веймар, где очень скоро откроет один из известнейших литературных салонов Германии. Там она близко сойдется с Гёте и другими выдающимися сочинителями того времени и напишет с десятков романов, которые будут пользоваться невероятным успехом у читателей. Ее любимыми героинями станут женщины, которые, против воли вступив в брак, отказываются иметь детей, продолжая жить надеждой встретить настоящую любовь.

А что же юный Артур? Артуру Шопенгауэру будет уготовано стать одним из умнейших и одновременно несчастнейших людей своего времени, человеком, который в пятьдесят пять лет напишет: «И счастье, что мы не знаем того, что действительно случится... кто знает это, тому дети могут казаться порою невинными преступниками, которые хотя и осуждены не на смерть, а на жизнь, но еще не знают содержания ожидающего их приговора. Тем не менее всякий желает себе глубокой старости, т.е. состояния, в котором говорится: «Сегодня скверно, а с каждым днем будет еще хуже, пока не придет самое худшее» [\[19\]](#).

Глава 9

В беспредельном пространстве бесчисленные светящиеся шары, вокруг каждого из которых вращается около дюжины меньших, освещенных первыми, горячих изнутри и покрытых холодной корой, на которой налет плесени породил живые существа, — вот эмпирическая истина, реальность, мир [\[20\]](#).

Просторный дом Джулиуса в Пасифик-Хайтс был гораздо величественнее всего, что он мог себе позволить теперь: когда-то, тридцать лет назад, Джулиус был одним из немногих счастливчиков Сан-Франциско, имевших в кармане достаточно денег, чтобы купить собственный дом — любой дом. Тридцать тысяч наследства, полученных его женой Мириам, сделали эту покупку возможной, и, кстати, весьма удачно — в отличие от прочих семейных вложений, только дом с тех пор подскочил в цене. После смерти Мириам Джулиус не раз подумывал его продать — для одного в нем слишком много места, — но в конце концов ограничился тем, что перевел свой рабочий кабинет на первый этаж.

Четыре ступеньки с улицы вели на площадку с фонтаном, выложенным голубым кафелем. Слева — ступеньки в кабинет Джулиуса, справа — в дом. Филип прибыл точно в назначенное время. Джулиус приветствовал его в дверях, провел в кабинет и, указав на большое кожаное кресло, спросил:

— Чай или кофе?

Но Филип сел, даже не оглядевшись, и, пропустив вопрос Джулиуса мимо ушей, прямо приступил к делу:

— Так как насчет супервизии?

— Ах да, я и забыл — никаких проволочек. Видишь ли, я долго думал... Даже не знаю, что сказать. В твоём предложении есть... одна неувязка — черт его знает, я никак не могу понять.

— Несомненно, тебя интересует, почему я выбрал именно тебя, хотя ты так и не смог мне помочь?

— Вот именно. Ты же сам предельно ясно сказал, что лечение закончилось ничем, что ты потерял три года и вдобавок угрожал кучу денег.

— На самом деле тут нет никакой неувязки, — с готовностью ответил

Филип. — Человек может быть опытным врачом и супервизором и при этом потерпеть неудачу с одним из пациентов. По статистике, психотерапия, независимо от компетентности врача, абсолютно бесполезна примерно для трети пациентов. Кроме того, здесь, возможно, есть и моя вина — я был слишком упрям и неподатлив. Твоя единственная ошибка состояла в том, что ты с самого начала выбрал не тот метод и упорно его придерживался. Но это не значит, что я не признаю твоих усилий, даже твоего желания мне помочь.

— Неплохо сказано, Филип. Вполне логично. И все же просить о супервизии врача, который не сумел тебе помочь... Будь я на твоём месте, черта с два я бы на это пошел. Я бы отыскал другого человека. Сдается мне, тут что-то не так, ты чего-то недоговариваешь.

— Возможно, я должен кое-что разъяснить. Честно говоря, я не стал бы утверждать, что ты мне абсолютно ничего не дал — это не совсем так. В свое время ты сделал два замечания, которые запали мне в душу и позже сыграли роль в моем выздоровлении.

Несколько секунд Джулиус отчаянно боролся с собой. Неужели Филип думает, что его это не волнует? Не может же он быть таким идиотом. Наконец он все-таки не выдержал и спросил:

— И что же это были за замечания?

— Первое может показаться тебе пустяком, но для меня оно было важно. Однажды я рассказывал тебе про свой обычный день — подцепил девчонку, пригласил в ресторан, соблазнил — все как обычно, знакомая песня, а потом я спросил тебя, что ты об этом думаешь — по-твоему, это противно или безнравственно?

— Не помню. И что же я ответил?

— Ты сказал, что это ни противно, ни безнравственно — просто скучно. Это потрясло меня тогда — мысль, что я живу однообразной, скучной жизнью.

— Любопытно. Это первое. А второе?

— Мы обсуждали эпитафии. Уж не помню почему — кажется, ты сам спросил, какую эпитафию я бы себе выбрал...

— Вполне возможно. Я часто задаю этот вопрос, если разговор заходит в тупик и нужна встряска. Ну и?

— И ты сказал, что на моем надгробии следовало бы написать «Он любил трахаться». И добавил, что эта эпитафия подошла бы и моей собаке, так что мы могли бы воспользоваться одной плитой на двоих.

— Довольно жестко. Неужели я так грубил?

— Грубил ты или нет — не важно. Важно, что это подействовало.

Потом уже, лет через десять, это мне сильно помогло.

— Эффект запоздалого действия! Я всегда подозревал, что он гораздо важнее, чем принято думать. Всегда собирался заняться этим вопросом. Но вернемся к делу. Скажи мне, почему, когда я к тебе пришел, ты ничего мне об этом не сказал, почему не признался, что хоть как-то, хоть в чем-то я сумел тебе помочь?

— Джулиус, я не понимаю, какое отношение это имеет к теме нашей беседы. Ты собираешься или не собираешься быть моим супервизором? Хочешь, чтобы взамен я консультировал тебя по Шопенгауэру?

— То, что ты не понимаешь, какое отношение это имеет к делу, как раз и имеет к делу самое прямое отношение. Филип, не буду ходить вокруг да около. Скажу откровенно: я не уверен, что ты достаточно подготовлен к тому, чтобы стать терапевтом, и потому сомневаюсь, что в моей помощи есть необходимость.

— Ты сказал «недостаточно подготовлен». Поясни, пожалуйста, — сказал Филип, не выказав ни малейшей обиды.

— Хорошо, я скажу. Я всегда считал психотерапию скорее призванием, чем профессией, — образом жизни, который выбирает тот, кто любит людей. В тебе я не вижу этой любви. Настоящий врач стремится уменьшить страдания других, помочь им стать лучше. В тебе я нахожу только пренебрежение к людям — вспомни, как презрительно ты отзывался о своих студентах. Психотерапевт должен установить контакт с пациентом — тебя совершенно не волнует, что чувствуют остальные. Возьми хотя бы меня. Ты сам сказал, что после нашего телефонного разговора ты понял, что я смертельно болен, и тем не менее ты ни разу — ни единожды — не попытался хоть как-то меня успокоить.

— Что толку? Бормотать пустые утешения? Я дал тебе больше, гораздо больше. Я устроил для тебя целую лекцию.

— Теперь-то я это понимаю. Но ты напустил столько туману. Мне казалось, что обо мне не заботятся, а манипулируют мною, как куклой. Для меня было бы лучше, намного лучше, если бы ты действовал просто и открыто, поговорил со мной по душам. Пусть это выглядело бы не так монументально — просто осведомился, как я себя чувствую, как поживаю, да черт тебя побери, Филип, ты мог бы просто сказать: «Старик, мне очень жаль, что ты умираешь». Неужели это так трудно?

— Будь я болен, я поступил бы иначе. Мне были бы нужны идеи, инструменты, мировоззрение, которое открывает Шопенгауэр, его взгляды на смерть — именно это я и пытался до тебя донести.

— Между прочим, ты так до сих пор и не спросил, смертельно ли я

болен.

— А я ошибся?

— Давай же, Филип, скажи это. Не бойся, это не страшно.

— Ты сказал, что у тебя серьезные проблемы со здоровьем. Может быть, расскажешь?

— Неплохо для начала. Открытый вопрос в конце фразы — хороший выбор. — Джулиус замолчал, собираясь с мыслями и решая, что именно сказать Филипу. — Видишь ли, совсем недавно я узнал, что у меня рак кожи, злокачественная опухоль, меланома, которая представляет серьезную опасность для жизни, хотя доктора уверяют меня, что в течение года ничего страшного со мной не случится.

— Я тем более думаю, что философия Шопенгауэра была бы тебе очень полезна. Помню, однажды на нашем сеансе ты как-то сказал, что жизнь — это «переменные условия с постоянным результатом»; это чистый Шопенгауэр.

— Филип, это была шутка.

— Ну и что? Разве мы не знаем, что твой собственный гуру, Зигмунд Фрейд, говорил по поводу шуток? Я по-прежнему уверен, что в идеях Шопенгауэра тебе многое пригодится.

— Я пока не стал твоим супервизором — и еще неизвестно, стану ли, — но позволь мне преподать тебе первый урок психотерапии — бесплатно, конечно. *Ни идеи, ни взгляды, ни приемы не имеют в ней никакого значения.* Спроси бывших пациентов, что они помнят о своем лечении? *Никто* не заикнется про идеи — все скажут *только* про отношения. Мало кто помнит, что именно внушал им врач, но зато все с нежностью вспоминают свои отношения с психотерапевтом. Рискну предположить, что и у тебя было то же самое. Почему все, что произошло между нами, так глубоко врезалось тебе в память, что даже теперь, спустя много лет, ты решил обратиться именно ко мне? Вовсе не из-за тех двух замечаний — какими бы важными они ни были, — нет, я уверен, это из-за того, что ты по-прежнему ощущаешь свою связь со мной. Думаю, ты был довольно сильно ко мне привязан, и именно потому, что наши отношения, при всей их сложности, были так для тебя важны, ты сейчас снова обратился ко мне в надежде восстановить некий личный контакт.

— Ошибки по всем пунктам, доктор Хертцфельд...

— Ну да, конечно. Такие ошибки, что от одного упоминания личного контакта ты переходишь на официальный тон.

— Ошибки по всем пунктам, Джулиус. Прежде всего, ты ошибаешься, если полагаешь, что твое видение реальности и есть реальность на самом

деле — *res naturalis* - и что твоя обязанность заключается в том, чтобы внушать его остальным. Ты ценишь и превозносишь отношения между людьми и из этого делаешь ошибочное заключение, будто я — или вообще все — должны делать то же самое, а если я мыслю по-другому, значит, я подавил в себе стремление к общению. На самом деле, — продолжал Филип, — для таких людей, как я, гораздо важнее философский подход. Истина в том, что ты и я — мы совершенно разные люди. Я никогда не испытывал абсолютно *никакого* удовольствия от общения с людьми. Что это дает? Пустая болтовня, мышинная возня, бессмысленное существование — все это всегда раздражало меня и мешало общаться с теми действительно великими умами, которые могли сообщить мне что-то важное.

— Тогда зачем становиться психотерапевтом? Почему бы не остаться со своими великими умами? Стоит ли помогать тем, кто ведет «бессмысленное существование»?

— Если бы у меня, как у Шопенгауэра, было достаточно средств к существованию, уверяю тебя, ноги моей здесь бы не было. Это чисто денежный вопрос. Все свои деньги я истратил на образование, за преподавание получаю гроши, колледж разваливается, и я даже не знаю, получу ли контракт на следующий год. Пара-тройка клиентов в неделю — и я спасен. Живу я экономно, и мне нужна только свобода, чтобы я мог заниматься тем, что люблю, — читать, думать, размышлять, слушать музыку, играть в шахматы и гулять с Регби, моей собакой.

— Ты так и не ответил на мой вопрос: почему ты обратился именно ко мне, несмотря на то что у нас с тобой совершенно разные подходы? И ты ничего не сказал по поводу моей догадки — о том, что наши прошлые отношения по-прежнему притягивают тебя ко мне.

— Я ничего не сказал, потому что это не имеет никакого отношения к делу. Но поскольку это волнует тебя, я скажу. Ты ошибаешься, если думаешь, что я совершенно отрицаю коллективное начало. Даже Шопенгауэр признавал, что двуногие, как он их называл, должны время от времени собираться вместе у костра, чтобы согреться. Однако он предупреждал об опасности подпалить себе шкуру, если чересчур тесно сбиться в кучу. Он любил приводить в пример дикобразов — они тоже жмутся друг к другу, чтобы согреться, но не забывают расставлять иголки, чтобы держать дистанцию. Он сам крайне дорожил своей независимостью и не нуждался ни в чем извне для собственного счастья. Кстати, он не был одинок: другой гений, Монтень, вполне разделял его взгляды. Я тоже сторонюсь двуногих и согласен с замечанием Шопенгауэра, что счастлив

тот, кто может почти совершенно обходиться без своих соплеменников. Что можно возразить на это? Разве не двуногие устроили ад на земле? Шопенгауэр правильно говорил: «*Нотто homini lupus*» — человек человеку волк. Я думаю, именно он вдохновил Сартра на «Выхода нет».

— Все это так, Филип, но тем самым ты только подтверждаешь мою мысль, что ты не можешь работать психотерапевтом. В твоей философии совершенно не остается места человеческой дружбе.

— Всякий раз, когда я пытался установить контакт, кончалось тем, что я терял часть самого себя. У меня никогда не было друзей, и я не собираюсь их заводить. Надеюсь, ты помнишь, я был одиноким ребенком, мать мной не интересовалась, отец был несчастным человеком и покончил жизнь самоубийством. Если честно, я еще не встречал людей, которые могли бы предложить мне что-то интересное, — и вовсе не потому, что я их не искал. Каждый раз, когда я пытался завести знакомство, получалось как у Шопенгауэра: либо несчастные страдалцы, либо глупцы, либо люди с дурным нравом и низкими наклонностями. Естественно, я говорю о тех, кто живет сегодня, — великих мудрецов прошлого это не касается.

— Ты общался и со мной.

— Это было деловое общение, а я говорю про дружбу.

— Твои взгляды написаны у тебя на лбу. Ты презираешь людей и, как следствие, не умеешь с ними общаться. Любопытно, как ты представляешь себя психотерапевтом?

— Тут я с тобой согласен — я знаю, что мне нужно работать над собой. Как говорит Шопенгауэр, нужно немного теплоты и внимания, чтобы манипулировать людьми, — это как воск, согрей его в руках, если хочешь придать ему нужную форму.

Джулиус покачал головой и поднялся. Он не спеша налил себе кофе и принялся расхаживать взад и вперед по комнате.

— Придать нужную форму? Неплохая метафора. Пожалуй, одна из самых чудовищных метафор применительно к психотерапии — нет, *самая* чудовищная. А ты, я смотрю, не склонен миндальничать. Признаюсь, твой друг и советчик Артур Шопенгауэр с каждой минутой мне все отвратительнее. — Джулиус снова сел и, потягивая кофе, добавил: — Я не предлагаю тебе кофе, потому что, как я понимаю, он тебя мало интересует — ты хочешь знать только ответ на свой вопрос о супервизии, поэтому я, так и быть, сжалюсь над тобой и перейду к сути. Вот мое решение... — Здесь Филип, который в продолжение всей беседы упорно смотрел в сторону, в первый раз взглянул на Джулиуса. — У тебя блестящая голова, Филип, и ты знаешь кучу вещей. Возможно, со временем ты найдешь

способ употребить свои знания на пользу психотерапии. Может быть, ты даже достигнешь больших высот — я на это надеюсь. *Но ты не готов стать психотерапевтом.* Как и не готов к моей супервизии. Твои отношения с людьми, умение понимать и сопереживать нуждаются в серьезной доработке — в очень серьезной доработке. И тем не менее я хочу тебе помочь. Один раз это у меня не вышло, так что это мой последний шанс. Могу я стать твоим союзником, Филип?

— Я отвечу, когда услышу твое предложение, которое, как я понимаю, грядет.

— О господи. Хорошо, слушай. Я, Джулиус Хертцфельд, согласен стать супервизором Филипа Слейта после того — *и только после того*, - как он пройдет шестимесячный курс групповой терапии у меня в группе.

В кои-то веки Филип испугался. Такого он явно не ожидал.

— Ты шутишь.

— Никогда не бывал серьезнее.

— Я же тебе все объяснил. Рассказал, что много лет сидел по уши в дерьме, что наконец-то вернулся к жизни, объяснил, что хочу зарабатывать на жизнь как консультант и для этого мне нужен супервизор — что здесь непонятного? В ответ ты предлагаешь мне то, чего я не хочу и не могу себе позволить.

— Повторяю. По моему мнению, никакая супервизия тебе не нужна и ты не готов быть консультантом, однако групповая терапия поможет тебе исправить твои недостатки. Таковы мои условия. Сначала групповая терапия, а потом — и только потом — я стану твоим супервизором.

— Плата?

— Не очень высокая. Семьдесят долларов за полтора часа занятий. И платишь, даже если пропускаешь занятие.

— Сколько человек в группе?

— Я стараюсь, чтобы было не больше семи.

— Семь человек по семьдесят долларов — четыреста девяносто. За полтора часа. Неплохая работенка. Ну, и в чем суть групповой терапии — в твоём понимании, конечно.

— Суть? Это ты меня спрашиваешь? Послушай, Филип, я буду откровенен: какой к черту из тебя психотерапевт, если ты ни хрена не смыслишь в том, что происходит между людьми?

- Нет, нет, это-то я понял. Просто я неправильно сформулировал вопрос. Видишь ли, я никогда не имел дела с групповой терапией, и мне хотелось бы, чтобы ты просветил меня в общих чертах, как она работает. Какая мне польза от того, что я стану выслушивать, как другие жалуются

на свою жизнь и проблемы en masse [\[21\]](#)? Сама мысль об этом хоре несчастных приводит меня в ужас. Хотя, как говорит Шопенгауэр, всегда приятно сознавать, что кто-то страдает больше тебя.

— Так ты просишь ввести тебя в курс дела? Разумно. Я всегда разъясняю новичкам правила игры и считаю, что каждый психотерапевт обязан это делать. Ну что ж, начнем вводный курс. Прежде всего меня интересуют межличностные отношения. Я исхожу из предположения, что пациенты попадают в группу именно из-за трудностей в общении...

— Но это не так. Я вовсе не хочу и не нуждаюсь...

— Знаю, знаю, просто выслушай меня, Филип, пожалуйста. Я только сказал, что исхожу из предположения, что они испытывают эти трудности, — это просто мое предположение, согласен ты со мной или нет. А что касается целей, которые я перед собой ставлю, то скажу тебе прямо: *моя цель помочь каждому пациенту как можно лучше понять, в каких отношениях он или она находится с другими членами группы, в том числе и с руководителем.* Я исповедую метод «здесь и сейчас» — это важнейший принцип, Филип, запомни его, если ты действительно собираешься стать психотерапевтом. Иными словами, мы работаем по принципу «никакой истории»: все внимание на *сейчас* - никто не углубляется в прошлое, разбираем только текущий момент в жизни группы, и на *здесь* - забудь про все, что было не так в отношениях с другими людьми. Видишь ли, я исхожу из того, что пациенты *ведут* себя на занятиях точно так же, как они ведут себя в жизни, поэтому рано или поздно непременно обнаружат свои проблемы, а дальше это уже их задача — сделать выводы из опыта работы в группе и перенести их на свои отношения с другими людьми. Все ясно? Если хочешь, я дам информационные буклеты.

— Ясно. Основные правила поведения в группе?

— Прежде всего, конфиденциальность — ты не имеешь права никому рассказывать про остальных членов группы. Второе — ты должен открыто и честно делиться своими впечатлениями о других членах группы и рассказывать, что ты о них думаешь. Третье — все, что происходит, происходит внутри группы: если кто-то из участников общается между собой после занятий, это обязательно выносится на группу и обсуждается.

— И это единственный способ сделать тебя моим супервизором?

— Совершенно верно. Хочешь, чтобы я тебя натаскал? Вот тебе мое неперемное условие.

Несколько минут Филип сидел, закрыв глаза и обхватив голову руками. Наконец он открыл глаза и произнес:

— Я пойду на это, только если ты согласишься зачесть групповую

терапию в счет супервизии.

— Послушай, Филип, у всего есть пределы. Ты представляешь себе, в какое положение меня ставишь?

— А ты представляешь себе, в какое положение ты ставишь меня своим предложением? С какой стати я должен тратить силы, выясняя отношения с чужими людьми, когда я терпеть не могу, чтобы ко мне лезли в душу. К тому же ты сам сказал, что если я научусь общаться, то стану лучше с профессиональной точки зрения.

Джулиус встал, подошел к раковине, поставил чашку и покачал головой: во что он позволил себя втянуть. Потом вернулся в кресло, медленно выдохнул и наконец произнес:

— Справедливо. Я согласен списать часы групповой терапии на супервизию.

— Еще одно: мы не обсудили подробности нашей сделки — как я буду обучать тебя Шопенгауэру.

— Это пока не горит, Филип, — придется с этим подождать. Хочу дать тебе еще один ценный совет: избегай двойных отношений с пациентами — они будут только мешать процессу. Я имею в виду любые неформальные отношения: романтические, деловые, даже обычные отношения ученика с учителем. Так что я бы предпочел, чтобы наши отношения были предельно ясными. Это для твоей же пользы. Поэтому предлагаю начать с группы, затем приступить к супервизии, а там уж — не знаю, не обещаю — и к философии, хотя, признаюсь, в данный момент я не испытываю особого желания изучать Шопенгауэра.

— Может быть, условимся, сколько ты будешь мне платить за консультацию?

— Это еще вилами на воде, Филип, давай позже.

— Нет, я все-таки хотел бы договориться об оплате.

— Ты продолжаешь удивлять меня, Филип. Волнуешься о какой-то ерунде, а реальные вещи оставляешь без внимания.

— Ну, все равно. Так как насчет оплаты?

— Обычно я беру за супервизию столько же, сколько с индивидуальных клиентов — с небольшой скидкой для начинающих.

— Договорились, — кивнул Филип.

— Погоди, Филип, я хочу, чтобы ты понял: пока что Шопенгауэр не очень меня волнует. Когда мы впервые об этом заговорили, я только поинтересовался, каким образом он смог тебе помочь, а ты уже сам раздул это дело так, будто мы взаправду заключили сделку.

— Ты заинтересуешься больше, когда узнаешь. У Шопенгауэра есть

много ценного для нашей области. Он во многом опередил Фрейда, который только подгрел под себя его идеи и даже спасибо не сказал.

— Обещаю, что буду стараться, но, повторяю, многое из того, что ты успел рассказать про Шопенгауэра, как-то не вызвало у меня желания изучать его дальше.

— И даже то, что я говорил на лекции, — про его взгляды на смерть?

— В особенности это. Идея о том, что часть меня после смерти соединится с какой-то неизвестной сверхъестественной силой, ничуть не утешает меня. Какая мне польза от этого, если мое сознание исчезнет? И что мне толку знать, что мои молекулы рассеются в пространстве и когда-нибудь моя ДНК станет частью другого существа?

— Мы должны вместе почитать его размышления по поводу смерти и неразрушимости нашей сущности, тогда, я уверен...

— Не теперь, Филип, не теперь. В настоящее время смерть занимает меня меньше всего — я хочу как можно лучше прожить остаток своих дней, вот о чем я сейчас думаю.

— Смерть всегда с нами, всегда рядом. Сократ ясно выразился: «Чтобы научиться хорошо жить, нужно сначала научиться хорошо умирать». А Сенека: «Никто так не ценит жизнь, как тот, кто готов в любую минуту с ней расстаться».

— Да, да, я все это слышал, и, может быть, они правы — в теории. Я совсем не против того, чтобы внести философские идеи в психотерапию. Я — за. Кроме того, я вижу, что Шопенгауэр действительно пошел тебе на пользу во многих отношениях — но не во всех: курс коррекции тебе не помешает. Вот здесь-то и приходит группа. Так что жду тебя на первом занятии в следующий понедельник в половине пятого.

Глава 10. Самая счастливая пора в жизни Артура

Именно потому что роковая активность половой системы все еще дремлет, а мозг уже работает в полную силу, детство — это высший период невинности и счастья, Эдем, потерянный рай, на который мы с тоской оглядываемся всю свою жизнь [\[22\]](#)

.

Когда Артуру исполнилось девять, отец пришел к выводу, что настало время заняться образованием сына. Для начала Генрих решил отправить Артура на два года в Гавр, в дом своего компаньона Грегуара де Блеземира, где мальчику предстояло обучаться французскому, светским манерам и, как выразился Генрих, «поднатореть в книжной науке».

В разлуке с родителями, вдали от родного дома — какой ребенок не воспринял бы это изгнание как настоящую трагедию? И тем не менее впоследствии Артур всегда будет называть эти годы «самой счастливой порой моего детства».

Что-то важное случилось в Гавре — возможно, Артур впервые ощутил на себе чье-то искреннее внимание и заботу и понял, что жизнь бывает радостна. Он всегда будет с нежностью вспоминать добрых и хлебосольных Блеземиров, среди которых наконец-то обрел нечто похожее на родительскую любовь. В письмах домой он станет так восторженно восхвалять своих любезных хозяев, что мать будет вынуждена напомнить ему о добродетелях и щедрости его собственного отца: «Вспомни, — напишет она ему, — как батюшка позволил тебе купить флейту слоновой кости за один луидор» [\[23\]](#).

И еще одно важное событие произойдет во время недолгого пребывания Артура в Гавре — у него появится друг, один из немногочисленных близких людей в его жизни: Антим, сын Блеземиров, был ровесником Артура. В Гавре мальчики подружились и, после того как Артур вернулся в Гамбург, еще некоторое время обменивались письмами.

Через несколько лет, когда обоим исполнится двадцать, молодые люди встретятся вновь и даже будут некоторое время вместе искать любовных

приключений, затем их пути и интересы разойдутся: Антим станет коммерсантом и исчезнет из поля зрения Артура до тех пор, пока, тридцатью годами позже, между ними вновь не завяжется краткая переписка, в которой Артур станет просить у друга совета по финансовым вопросам. Когда же Антим ответит, что в качестве платы за свою услугу он хотел бы получить право распоряжаться всеми бумагами Артура, тот немедленно оборвет переписку — к тому времени он уже станет с подозрением относиться к людям и не будет доверять никому. Артур гневно отшвырнет письмо Антима, черкнув на обратной стороне конверта презрительный афоризм Грасиана, испанского философа, особенно почитаемого его отцом: «Стоит только войти в дела другого, чтобы забыть о своих».

Еще десятью годами позже Артур и Антим встретятся в последний раз — это будет крайне неловкая встреча, в продолжение которой друзьям почти нечего будет сказать. После этой встречи Артур сделает запись в дневнике, где назовет своего бывшего друга «несносным старикашкой» и добавит: «Если два друга юности после разлуки всей жизни снова встречаются стариками, то преобладающим чувством, которое возникает в них при виде друг друга и при воспоминании о юности, является полнейшее disappointment (разочарование) во всей жизни» [\[24\]](#).

И еще один инцидент произойдет, пока он будет в Гавре: Артур впервые столкнется со смертью. Умрет его гамбургский товарищ по играм Готтфрид Яниш, и хотя Артур никак не проявит своих чувств и даже скажет, что с тех пор никогда не вспоминал Готтфрида, он, судя по всему, так и не сможет забыть ни своего ушедшего товарища, ни того потрясения, которое он испытал от первого свидания со смертью, потому что тридцатью годами позже он запишет в дневнике такой сон: «Я оказался в какой-то незнакомой мне местности, в поле передо мной стояла группа каких-то людей и среди них худой, высокий мужчина, который, не знаю почему, был знаком мне как Готтфрид Яниш, и он приветствовал меня» [\[25\]](#).

Для Артура не представляло большого труда растолковать это сновидение: он жил в Берлине, где в то время свирепствовала холера. Сон, в котором он вновь встречает Готтфрида, мог означать только одно — то был знак приближающейся смерти. Поэтому он решил немедленно покинуть Берлин и переселиться во Франкфурт-на-Майне. Здесь, во Франкфурте, он и проведет последние тридцать лет жизни — главным образом потому, что будет считать этот город более всего защищенным от холеры.

Глава 11. Первое занятие Филипа

Наслаждаться настоящим и обратить это в цель своей жизни — величайшая мудрость, так как оно одно реально, все же остальное — только игра воображения. Но с одинаковым успехом можно было бы назвать это и величайшей глупостью; ибо то, чего уже больше нет в следующее мгновение, что исчезает, подобно сну, недостойно серьезного стремления [\[26\]](#).

Филип прибыл на свое первое занятие за пятнадцать минут до начала. В тех же брюках цвета хаки, помятой выцветшей рубашке в клетку и вельветовом пиджаке. В который раз подивившись равнодушию, с которым этот человек относился к себе, к вещам, к студентам — по-видимому, ко всему вообще, — Джулиус засомневался, правильно ли сделал, пригласив Филипа в группу. Что это было? Взвешенное профессиональное решение или старый приятель гонор снова зашевелился внутри?

Гонор. Дерзкая, нахальная бравада, бесцеремонная наглость, лучшей иллюстрацией которой могла служить история с тем парнем, который сначала зверски убил родителей, а потом умолял на суде помиловать несчастного сироту. *Гонор* - первое, что приходило Джулиусу на ум, когда он задумывался о собственном отношении к жизни. Скорее всего он носил его в себе с рождения, но впервые осознал в пятнадцать лет, в ту осень, когда переехал с родителями из Бронкса в Вашингтон. Это произошло вскоре после того, как его отца постигла очередная финансовая неудача. Они поселились на северо-западе Вашингтона в маленьком домике с террасой на Фаррагут-стрит. Загадка финансовых затруднений главы семейства хранилась за семью печатями, однако Джулиус был втайне убежден, что она имела какое-то отношение к ипподрому «Акведук» и к Красотке, лошади, которой отец владел вместе с Виком Вичелло, своим закадычным приятелем и давним партнером по покеру. Вик был скользкий тип. Он носил розовый платок в кармане желтой спортивной куртки и всегда тщательно избегал появляться в доме, если там была его мать.

В Вашингтоне отец устроился директором винного магазина. Владелец магазина был его двоюродный брат, в самом расцвете сил выбитый из седла сердечной недостаточностью, этим злейшим врагом

человечества, покалечившим или сведшим в могилу целое поколение сорокапятилетних ашкеназских евреев, вскормленных на сметане и жирной грудинке. Отец терпеть не мог свою новую работу, но она позволяла им держаться на плаву. Она не только приносила неплохие деньги, но и не подпускала отца к «Лаурелю» и «Пимлико», двум местным ипподромам.

В свой первый день в школе Рузвельта в сентябре 1955-го Джулиус принял судьбоносное решение: он начинает жизнь заново. В Вашингтоне его никто не знал, он был чист, как ангел, не запятнан мрачным прошлым.

Три года, проведенные в прежней школе 1126 в Бронксе, не оставляли ни малейшего повода для гордости. Страсть к азартным играм перевешивала все, чем могла привлечь школа, так что Джулиус днями напролет болтался в боулинг-клубе, ставя на себя или на своего дружка Марта Геллера, короля по броскам левой. Кроме этого, он помаленьку промышлял букмекерскими операциями, предлагая всем желающим ставить десять против одного на трех бейсбольных игроков, которые в любой назначенный день проведут между собой шесть ударов. Это был беспроигрышный ход: на кого бы ни ставили несчастные агнцы — на Мэнтла, Кэлайна, Аарона, Вернона или Стэна (Супермена) Мьюжала, — им почти никогда не удавалось выиграть, если, конечно, не считать мелких неудач, которые тоже время от времени случались. Джулиус водил компанию с такими же бездельниками, как и он сам, и тщательно поддерживал образ нестигаемого уличного бойца, чтобы держать в страхе тех, кто вздумал бы водить его за нос; в школе был нарочито немногословен, сохранял невозмутимый вид и не упускал случая «забить» на урок-другой ради того, чтобы лишний раз полюбоваться тем, как Мэнтл держит центр на стадионе «Янки».

Все изменилось в тот день, когда директор школы вызвал его с родителями к себе в кабинет и предъявил всем троим букмекерский гроссбух, в тщетных поисках которого Джулиус провел несколько дней. И хотя постигшая кара была сурова — никаких прогулок по вечерам два месяца вплоть до окончания школы, никаких боулинг-клубов, стадионов, игр и карманных денег, — от Джулиуса не укрылось, что отец только делал вид, будто сердится, а на самом деле был, по-видимому, в совершенном восторге от его схемы с тремя игроками и шестью ударами. Как бы там ни было, Джулиус уважал директора школы и потому, так внезапно лишившись его расположения, не мог не почувствовать, что настало время для кардинальных перемен. К сожалению, было уже слишком поздно — ему удалось подтянуться разве что до слабого хорошиста. О новых друзьях не приходилось и мечтать: образ отчаянного головореза, над которым он

так долго и тщательно трудился, мешал всем разглядеть в нем того нового Джулиуса, которым он решил сделаться.

Этот случай запомнился Джулиусу на всю жизнь; позже он всегда обращал особое внимание на феномен «устойчивого образа». Сколько раз он замечал, что окружающие не замечают глубоких перемен, произошедших в человеке, и продолжают относиться к нему так, будто ничего не случилось. То же самое происходит и в семьях. Многие пациенты признавались ему, что испытывают адские муки, навещая родителей: они рассказывали, что им постоянно приходится быть настороже, чтобы их не втянули в их прежнюю роль, и тратить невероятные усилия, чтобы убедить домашних, что они стали совсем другими.

Для Джулиуса эксперимент по созданию нового «я» начался с переездом в Вашингтон. Стояло бабье лето, был восхитительный сентябрьский денек, когда он, шурша опавшими кленовыми листьями, в первый раз брел в школу Рузвельта, ломая голову над стратегией, которую стоит выбрать. Но когда перед входом в класс он увидел расклеенные на стенах плакаты с предвыборными лозунгами кандидатов на должность председателя класса, его осенило, и еще до того, как узнать местоположение мальчишеского туалета, он вписал свое имя в списки кандидатов.

Выборы старосты были процедурой многотрудной — пробиться в фавориты было немногим легче, чем победить на муниципальных выборах. Джулиус ровным счетом ничего не знал о школе и даже не успел познакомиться ни с одним из своих одноклассников. Стал бы прежний Джулиус баллотироваться в председатели класса? Черта с два. Но в этом все и дело. Именно поэтому он и решился на такой шаг. Да и если рассудить, чем он рисковал? Имя Джулиуса Хертцфельда будет у всех на слуху, и всем придется признать в нем силу, потенциального лидера, человека, с которым приходится считаться. К тому же он обожал действовать.

Конечно, соперники поднимут его на смех, будут отмахиваться от него, как от назойливой мухи, показывать пальцем — дескать, он никому не известный выскочка. Джулиус предвидел эти нападки и заранее приготовил внушительную речь про убедительные преимущества свежего взгляда, способного высветить пороки, незаметные развращенному глазу тех, кто слишком долго стоял у кормушки власти. Слава богу, язык у него всегда был хорошо подвешен, да и опыт с улаживанием простачков в боулинг-клубе тоже что-то значил. Новому Джулиусу было нечего терять, и поэтому он принялся бесстрашно переходить от одной кучки школяров к другой,

говоря:

«Привет. Я Джулиус, новенький, надеюсь, что вы проголосуете за меня на выборах. Я, конечно, ни черта не смыслю в вашей кухне, но, вы знаете, полезно бывает взглянуть со стороны. К тому же я абсолютно независим — не принадлежу ни к одной группировке, потому что никого не знаю».

Закончилось тем, что Джулиус не только изрядно развлекся, но и умудрился чуть не выиграть выборы. Школа Рузвельта переживала не лучшие времена: после восемнадцати футбольных проигрышей подряд, с баскетбольной командой, тоже не внушавшей особых надежд, школа была полностью деморализована. Два других кандидата занимали шаткую позицию: Кэтрин Шуманн, тихоня-отличница, дочь коротышки-священника, читавшего проповеди перед общешкольными собраниями, была фигурой слишком положительной и не пользовалась особой популярностью, а Ричард Хейшман, рыжий красавец с бычьей шеей, имел слишком много врагов. Джулиус вознесся на гребне протестной волны. Вдобавок, к своему удивлению, он встретил единодушную поддержку со стороны еврейской части избирателей, составлявшей треть учеников в классе и до тех пор сторонившейся большой политики. Они возлюбили его той восторженной любовью, какую питают робкие и нерешительные маменькины сынки к бесстрашному и героическому еврею из Нью-Йорка.

Эти выборы стали поворотным моментом в жизни Джулиуса. Его так окрылил успех от собственной наглости, что он решил торжественно заложить это качество в фундамент своего будущего характера. Через некоторое время уже три школьных еврейских клана боролись за него, он был единодушно признан не только отчаянным смельчаком, но и обладателем того волнующего и неуловимого дара, который превыше всего ценит непокорная, мятежная юность, — индивидуальности. Вскоре он уже входил в столовую, окруженный толпой поклонников, и после школы появлялся на улице за ручку с красавицей Мириам Кэй, редактором школьной газеты и единственной ученицей, оказавшейся способной настолько затмить собой Кэтрин Шуманн, что ей даже поручили выступить с речью на выпускном вечере. Он и Мириам стали неразлучны. Она ввела его в мир искусства и научила ценить красоту, а он, как ни бился, не смог разъяснить ей высокую драму боулинга и бейсбола.

Да, гонор далеко его завел. Он культивировал гонор, гордился им и позже всегда расплывался в довольной улыбке, если кто-то называл его редким оригиналом, врачом, не боящимся браться за самые безнадежные случаи. Но гонор имел и темную сторону — уверенность в собственной непогрешимости. Сколько раз он взваливал на себя больше, чем мог

унести, сколько раз требовал от клиентов невозможного и упорно, несмотря ни на что, продолжал следовать однажды выбранному курсу, заканчивая, в конце концов, оглушительным провалом.

Так что же все-таки заставило его надеяться, что он может перевоспитать Филипа, — искреннее желание помочь или все то же болезненное упрямство, глупая мальчишеская самонадеянность? Он не знал. Провожая Филипа в комнату для групповых занятий, Джулиус взглянул на него внимательнее: гладко зачесанные рыжеватые волосы, туго натянутая на скулах кожа, настороженный взгляд, тяжелые шаги — Филип выглядел как осужденный, которого ведут на эшафот.

Джулиусу стало жаль его, и, стараясь говорить как можно мягче, он произнес:

— Знаешь, Филип, групповая терапия — вещь бесконечно сложная, но одно в ней можно предсказать с абсолютной точностью... — Если Джулиус ожидал, что собеседник заинтересуется, его ждало разочарование: Филип не проронил ни слова. Сделав вид, что не заметил, Джулиус продолжил так, будто Филип уже осведомился, что же это такое в групповой терапии «можно предсказать с абсолютной точностью»: — И оно состоит в том, что на первом занятии новичок всегда чувствует себя совсем не так неловко, как ожидал вначале.

— Я не чувствую никакой неловкости.

— Ну, что ж, тогда просто прими к сведению — на всякий случай.

Филип остановился перед дверью в кабинет, где они беседовали несколько дней назад, но Джулиус тронул его за локоть и подтолкнул к следующей двери. Они вошли в комнату: с трех сторон от пола до потолка тянулись книжные полки; широкое окно в деревянной раме смотрело на японский садик с изящными карликовыми соснами, каменными горками и узким прудиком восьми футов в длину, в котором плавно скользил золотистый карп. Комната была обставлена просто, по-деловому: прямо за дверью — небольшой стол, семь удобных плетеных кресел, расставленных по кругу, и еще два в углу.

— Ну, вот мы и пришли. Это моя библиотека и комната для групповых занятий. Пока мы ждем остальных, позволь вкратце рассказать правила. По понедельникам за десять минут до начала я открываю дверь, и каждый сам проходит сюда. Я прихожу в половине пятого, и мы сразу же начинаем. Заканчиваем в шесть. Чтобы облегчить мою бухгалтерию, все платят сразу после сеанса — просто оставляешь чек на столе у двери. Вопросы?

Филип покачал головой и, потянув носом воздух, обвел глазами комнату. Оглядевшись, он решительно направился к полкам и, приставив

нос к кожаным корешкам, снова принюхался, всем своим видом изображая крайнее наслаждение. Оставшееся время он провел там, стоя спиной к дверям и сосредоточенно изучая содержимое полок.

Комната постепенно наполнялась людьми. Входя, каждый бросал взгляд на спину Филипа. Но Филип ни разу не повернулся, даже не шелохнулся, увлекшись библиотекой.

За тридцать пять лет работы с группами Джулиус навидался всякого. В подобных случаях дело, как правило, обстоит так: новичок, терзаемый сомнениями, пересекает порог и робко представляется членам группы, которые в ответ приветствуют неопита и называют себя. Правда, бывает и так, что молодая группа, наивно полагая, что польза от занятий прямо пропорциональна вниманию, уделяемому каждому члену группы, вначале протестует против появления новичка, но старая, сложившаяся группа никогда не впадает в подобное заблуждение: она понимает, что еще одно занятое кресло не снижает, а лишь повышает эффективность занятий.

Бывает, новички с ходу вступают в дискуссию, однако чаще всего в первый день больше молчат, предпочитая присмотреться к правилам игры и дожидаясь, когда кто-нибудь пригласит их принять участие в разговоре. Но новичок, который даже не считает нужным повернуться к группе? Такого Джулиус еще не видел — даже в психлечебнице.

Да, он явно просчитался, пригласив Филипа. Мало того, что сегодня он должен объявить о своей болезни, так теперь еще и это.

Да что с Филипом такое, в конце концов? Может, он слишком волнуется или стесняется? Нет, это на него не похоже. Скорее всего другое: это была моя идея втянуть его в эту игру, и теперь он пытается показать мне и всей группе, что плевать хотел на меня и на наши занятия. Черт возьми, подумал Джулиус, с каким удовольствием я бы просто плюнул. Ничего бы не делал. Пусть выкручивается, как хочет. Посмотрим, как он станет отбиваться от всей группы. А он очень скоро этого дождется.

Джулиус был не большой любитель анекдотов, но в этот момент ему вспомнилась одна история, услышанная как-то очень давно:

«Однажды утром сын говорит матери:

— Сегодня я не хочу идти в школу.

— Почему?

— По двум причинам: я ненавижу учеников, и они ненавидят меня.

— Есть две причины, по которым ты обязан пойти в школу: во-первых, тебе сорок пять лет, и, во-вторых, ты директор школы».

Да, он уже вырос. Он руководит этой группой, и его обязанность — вводить новых членов, защищать их от остальных и от самих себя. И хотя

Джулиус редко открывал встречи, предпочитая, чтобы клиенты сами брали на себя эту обязанность, на этот раз у него не было выбора:

— Половина пятого, пора начинать. Филип, почему бы тебе не присесть к нам? — Филип повернул голову, но даже не двинулся с места. Он что, оглох? Косит под дурачка? Только после того как Джулиус, энергично вращая глазами, показал ему на свободное кресло, Филип наконец уселся.

Обращаясь к Филипу, Джулиус сказал:

— Вот это наша группа. Сегодня с нами не будет одного человека, Пэм — она уехала на два месяца. — И затем, повернувшись к группе: — Я говорил вам несколько недель назад, что у нас может быть новенький. **На** прошлой неделе я встретил Филипа, и он начинает сегодня. — Конечно, он начинает сегодня, подумал Джулиус, что за идиотское замечание. Ну все, больше я **ни** слова не скажу. Пусть сам барахтается, как знает.

Как раз в этот момент в комнату ворвался Стюарт. По-видимому, он спешил прямо из клиники, потому что **на** нем был белый больничный халат. Он плюхнулся в кресло, бормоча извинения. Все повернулись к Филипу, и четверо из присутствующих начали представляться: «Привет. Я Ребекка, Тони, Бонни, Стюарт. Очень приятно. Рады тебя видеть. Добро пожаловать. Мы давно нуждаемся в свежей крови — то есть в новом вливании, я хотел сказать».

Пятый, представительный, рано облысевший мужчина с венчиком золотистых волос на голове и грузной фигурой слегка потрепанного футбольного судьи, сказал на удивление тихо:

— Привет, я Гилл. Прости, Филип, надеюсь, ты не обидишься, но сегодня мне очень нужно внимание группы. Как никогда нужно.

Никакого ответа.

— Ты не против, Филип? — повторил Гилл. Филип вздрогнул, широко раскрыл глаза и кивнул. Гилл вновь повернулся к знакомым лицам и начал:

— Да, скажу я вам, с моей женой не соскучишься. В общем, ее прорвало сегодня утром, после встречи с доком. Я уже рассказывал, что несколько недель назад аналитик дал Роуз книжку про жестокое обращение с детьми, и теперь она думает, что с ней жестоко обращались в детстве. Короче, это ее идея фикс — как это называется?... идэй фиксэй? — Гилл повернулся к Джулиусу.

— *Idée fixe*, — немедленно вставил Филип с безупречным французским прононсом.

— Вот-вот, спасибо, — сказал Гилл и, бросив быстрый взгляд на Филипа, негромко добавил: — Ого. Круто. Так вот, — вернулся он к своему

рассказу, — у Роуз теперь *idée fixe*, что ее отец приставал к ней, когда она была маленькой. Вбила себе в голову — и ни в какую. Что ты конкретно помнишь? Ничего. Кто-нибудь может подтвердить? Никто. Но ее психоаналитик убежден, что если она подавлена, боится секса и если у нее все эти штучки вроде провалов памяти и неконтролируемых эмоций, и в особенности агрессия к мужчинам, то ее *наверняка* должны были совращать в детстве. Так, видите ли, написано в этой чертовой книжке, а он на эту книжку молится. И вот мы уже несколько месяцев только и делаем, что об этом говорим. Она мне уже всю плешь проела. Что сказал врач да что он посоветовал. Все. Других тем нет. Про постель забудь. Выкинь из головы. Пару недель назад она и говорит мне: позвони моему отцу — я не хочу с ним разговаривать — и пригласи его к моему аналитику. И просит меня тоже прийти — как она выражается, для «защиты»... Ну, я ему звоню. Он тут же соглашается, вчера садится в автобус, мчится из Портленда сюда и сегодня утром является на встречу со своим стареньким чемоданчиком в руках — потому что он собирался сразу после этого отбыть домой. То, что дальше происходит, просто ужас. Сплошной мордобой и кровопролитие. Роуз срывается на него, как собака. Чего только она ему не наговорила. И мелет, и мелет. Ни слова благодарности за то, что ее старик притащился сюда за несколько сотен миль ради нее — чтобы полтора часа провести с ее аналитиком. Обвинила его во всех смертных грехах — видите ли, он собирал в доме соседей, друзей, всю свою пожарную команду — он раньше работал пожарным, — чтобы склонить ее к сексу.

— И что же он? — спросила Ребекка, удивительной красоты женщина лет сорока, стройная и высокая. Подавшись вперед, она внимательно слушала.

— О, он повел себя как настоящий мужик. Он отличный старик, где-то под семьдесят, милый такой, приятный. Я его видел в первый раз. Он был просто великолепен — черт, хотел бы я, чтобы у меня был такой отец. Он просто сидел и слушал, и еще повторял Роуз, что, если у нее накопилось столько злости, только лучше, если она ее выплеснет. Спокойно отрицал все ее дикие обвинения, а потом взял и сказал — и тут я с ним полностью согласен, — что Роуз злится просто потому, что он бросил их, когда ей было двенадцать. Он сказал, что это компост — он так и сказал, «компост», он сам огородник, — который заложила в нее мать, это она с детства настраивала Роуз против него. Он сказал, что ушел от них, потому что жизнь с ее матерью довела его до ручки и он давно бы сдох, если бы остался жить с этой стервой. И, доложу я вам, в том, что касается матери Роуз, старик недалек от истины. Совсем недалек... В общем, после сеанса

он попросил нас подбросить его до вокзала, я не успел даже ответить — Роуз как закричит, что в одной машине с ним она не будет чувствовать себя в безопасности. «Понял», — сказал он и поплелся прочь со своим чемоданчиком... Минут через десять мы с Роуз едем по Маркет-стрит, и я вижу его — седой сгорбленный старик волочит свой чемодан. Начинало накрапывать, и я сказал себе: «Черт, это же дерьмо собачье». Короче, я сорвался и говорю Роуз: «Этот старик приехал ради тебя, на твою встречу с врачом, он проделал весь этот путь из Портленда, черт побери, идет дождь. Как хочешь, а я отвезу его на станцию». Я сворачиваю к обочине и предлагаю ему сесть. Роуз смотрит на меня, как дикая кошка: «Если он сядет, я выйду». Я говорю: «Пожалуйста, садитесь», — показываю ей на «Старбакс», чтобы она подождала меня там, и говорю, что через несколько минут за ней приеду. Она вылезает из машины и важно так уходит. Это было около пяти часов назад. В «Старбаксе» я ее так и не нашел. Я поехал в парк «Золотые Ворота» и пробродил там все это время. Теперь я думаю вообще не возвращаться домой.

Гилл замолчал и обессиленно откинулся в кресле.

Вся группа — Тони, Ребекка, Бонни и Стюарт — одобрительно загудела: «Молодчина, Гилл», «Давно пора, Гилл», «Ого, ты действительно это сделал?», «Гилл, ты просто герой».

Тони сказал:

— Не могу сказать, как я рад, что ты бросил наконец эту стерву.

— Если тебе негде спать, — сказала Бонни, нервно проводя руками по волнистым каштановым волосам и поправляя желтые очки-консервы, — у меня есть свободная комната. Не волнуйся, я тебя не трону, — хихикнула она, — я для тебя слишком стара, и к тому же дочка дома.

Джулиус, не слишком довольный нажимом группы (он слишком часто встречал пациентов, бросавших занятия из страха разочаровать группу), в первый раз нарушил молчание:

— У тебя мощная группа поддержки, Гилл. Что ты сам думаешь по этому поводу?

— Здорово. Мне кажется, это здорово. Только... еще рано что-то говорить. Все случилось так быстро — я хочу сказать, это произошло только утром... так странно... в голове все плывет... сам не знаю, что теперь делать.

— Правильно ли я понимаю, — продолжил Джулиус, — что ты не собираешься выходить из-под влияния жены, чтобы попасть под влияние группы?

— А-а, да... Думаю, что так. Да, понимаю... Точно. Но все это так

сложно. Я действительно хочу... мне действительно нужна поддержка... спасибо... мне очень нужна ваша помощь — это критический момент в моей жизни. Но все высказались, кроме тебя, Джулиус. И, конечно, нашего нового товарища, Филипа, так?

Филип кивнул.

— Филип здесь первый день, а ты уже много раз об этом слышал. — Гилл повернулся к Джулиусу. — Что ты скажешь? Что мне теперь делать?

Джулиус невольно поморщился, надеясь, что никто этого не заметил. Как и большинство психотерапевтов, он терпеть не мог этот вопрос — все эти «как бы ты поступил» да «что бы ты сделал», — хотя и знал, что к этому все идет.

— Думаю, тебе не понравится, что я скажу, Гилл, но все-таки слушай. Я не могу сказать тебе, как поступить, — это твое дело, твое решение, не мое. Первое — ты здесь именно для того, чтобы научиться доверять собственному мнению. Второе — все, что я знаю про Роуз и ваш брак, я знаю от тебя, а ты не можешь быть объективным. Моя задача состоит в том, чтобы помочь тебе решить, как именно ты будешь справляться с этой жизненной трудностью. Мы не можем ни понять, ни изменить Роуз, и только *ты* — твои чувства, твое поведение — вот что важно для нас, потому что это единственное, что ты можешь изменить.

Наступило молчание. Джулиус был прав: Гиллу не понравился его ответ. Как, впрочем, и остальным.

Ребекка выложила на стол заколки, встряхнула длинными черными волосами и снова принялась их закалывать. Потом повернулась к Филипу:

— Ты новенький и в первый раз слышишь эту историю. Но иногда устами младенцев...

Филип молчал. Не поймешь, слышал ли он вопрос Ребекки.

— Да, что ты думаешь, Филип? — спросил Тони мягко — редкость для него. У него было смуглое лицо с рубцами от юношеских угрей на щеках, черная футболка и облегающие джинсы как нельзя лучше подчеркивали стройную, спортивную фигуру.

— У меня есть одно замечание и один совет, — сказал Филип. Он сидел, сложив руки на груди, откинув голову и уставившись в потолок. — Ницше однажды заметил, что основное различие между человеком и коровой состоит в том, что корова знает, как существовать, она живет без фобий, то есть без страхов — в блаженном настоящем, не ведая ни тяжести прошлого, ни ужасов будущего. Но мы, несчастные *homo sapiens*, нас так мучает наше прошлое и будущее, что способны лишь мимолетно скользнуть в настоящем. Знаете, почему мы с такой тоской вспоминаем о золотых днях

детства? Ницше говорит, потому что дни детства были беззаботными днями, днями без *заботы*, когда мы еще не несли на себе груза мрачных воспоминаний и не имели за спиной руин прошлого. Позвольте здесь попутно заметить: я цитирую сочинение Ницше, но мысль эта не была оригинальной — это, как и многое другое, Ницше просто выкрал у Шопенгауэра.

Филип замолчал. В комнате повисла тяжелая тишина. Джулиус поерзал в кресле. Черт меня побери, старый я дурак, выжил из ума — это ж надо было пригласить сюда этого типа. Да это бог знает что такое. Чтобы новичок так разговаривал с группой. Да это просто неслыханно.

Бонни первая нарушила молчание. Повернувшись к Филипу, она сказала:

— Невероятно. Я действительно часто вспоминаю свое детство, но никогда не думала об этом вот так — что в детстве было легко и приятно, потому что на меня ничего не давило. Спасибо, я обязательно запомню.

— Я тоже. Любопытная мысль, — добавил Гилл. — Но ты сказал, что у тебя есть совет?

— Да, вот мой совет. — Филип говорил тихо и невозмутимо, по-прежнему избегая глядеть в глаза остальным. — Твоя жена из тех людей, которые особенно неспособны жить в настоящем, потому что на нее слишком давит груз прошлого. Она — тонущий корабль и быстро идет ко дну. Мой совет — прыгай за борт и плыви к берегу. Опустившись глубже, она даст мощную волну, поэтому советую тебе — плыви изо всех сил, если хочешь остаться в живых.

Тишина. Группа замерла от неожиданности.

— Да-а, — протянул Гилл, — в дипломатичности тебя не обвинишь. Я спросил — ты ответил. Здорово. Даже очень. Хорошо, что ты пришел к нам в группу. Может, хочешь еще что-то сказать? Я бы с удовольствием послушал.

— Что ж, — ответил Филип, как прежде глядя в потолок, — в таком случае я скажу кое-что еще. Кьеркегор пишет, что некоторые люди пребывают в «двойном отчаянии», то есть они находятся в отчаянии, но так привыкли обманывать себя, что даже не подозревают, что они в отчаянии. Мне кажется, ты в двойном отчаянии. Я скажу тебе вот что: большинство моих страданий происходили оттого, что я подчинялся своим желаниям. Когда я удовлетворял одно желание, на некоторое время приходило удовольствие, оно очень скоро перерастало в скуку, а та в свою очередь сменялась новым желанием. Шопенгауэр называет это общим человеческим условием — желание — кратковременное насыщение —

скука — новое желание... Теперь вернемся к тебе. Я сомневаюсь, что ты до конца изжил в себе этот цикл желаний. Возможно, ты был настолько поглощен желаниями своей жены, что это не позволяло тебе осознать свои собственные? Может быть, поэтому все так аплодировали тебе сегодня — потому что ты наконец перестал быть мальчиком на побегушках? В общем, я хочу тебя спросить — ты просто временно отложил работу над собой или похоронил ее окончательно, пытаясь угодить жене?

Гилл слушал, разинув рот, во все глаза глядя на Филипа.

— Ты глубоко копнул. Я чувствую, что здесь зарыто что-то важное — в том, что ты сказал... эта мысль про двойное отчаяние... но я не вполне понимаю...

Теперь все глаза были устремлены на Филипа, который продолжал не отрываясь смотреть в потолок.

— Филип, — сказала Ребекка, которая закончила наконец свои манипуляции с заколками, — ты хочешь сказать, что Гилл не начнет работать над собой, пока не освободится от жены?

— Или, — прибавил Тони, — пока он с ней, он не поймет, в каком дерьме он сидит? Черт, это один в один про меня и мою работу. Всю неделю я только и делаю, что думаю о том, как стыдно быть плотником, — что я простой работяга, зарабатываю гроши и все смотрят на меня сверху вниз. И что в результате? У меня совсем нет времени думать о том, чем мне действительно давно пора заняться.

Джулиус с удивлением наблюдал, как группа пришла в движение: все заговорили наперебой, с жадностью ловя каждое слово Филипа. Его уколола ревность, но тут же ее подавил, напомнив себе, что главное — интересы группы. *Остынь, Джулиус*, сказал он себе, *группа нуждается в тебе, они не собираются менять тебя на Филипа. То, что сейчас происходит, просто чудесно: группа привыкает к новому члену, а заодно подбрасывает тебе темы для будущих бесед.*

Сегодня он планировал объявить о своей болезни и, в каком-то смысле, даже обязан был это сделать: Филип уже знал про меланому, и, если бы Джулиус не рассказал об этом группе, возникло бы впечатление, будто их с Филипом связывают какие-то особые отношения. Но ему помешали — сначала Гилл со своей историей, а теперь вот неожиданное повальное увлечение Филипом. Он взглянул на часы — оставалось десять минут. Слишком мало, чтобы поднимать такую тему. Джулиус дал себе слово, что в следующий раз непременно начнет с плохой новости. Он промолчал и позволил времени истечь до конца.

Глава 12. 1799 год. Артур узнает о выборе и прочих земных ужасах

Здесь короли оставили свои короны и скипетры, а герои — свое оружие. Но величайшие среди людей, чье величие исходит из них самих, а не от чего-то дарованного извне, — они унесли свое величие с собой [\[27\]](#).

Артур Шопенгауэр, в шестнадцать лет в Вестминстерском аббатстве

Когда в девять лет Артур вернется из Гавра, отец отправит его в частную школу, которая занималась тем, что готовила будущих коммерсантов. Там он узнает все, что полагалось знать каждому почтенному купцу того времени: научиться переводить валюту, сочинять деловую корреспонденцию на основных европейских языках, разрабатывать транспортные маршруты, разбираться в крупнейших торговых центрах, плодородии почв и множестве других не менее восхитительных предметов. Но Артур вовсе не придет в восхищение: его ни капли не заинтересует учение, он так ни с кем и не сблизится в школе и с ужасом станет ожидать того дня, когда должен будет вступить в силу следующий этап отцовского плана — семь лет ученичества в доме одного из местных торговых магнатов.

Так о чем же мечтал Артур? Уж точно не о жизни купца — сама мысль об этом была ему отвратительна. Он будет страстно желать сделаться ученым, и хотя многим его одноклассникам будет также претить идея грядущего ученичества, Артур пойдет гораздо дальше. Несмотря на строгие наставления родителей (в письме мать приказывала ему: «отложи на время в сторону всех своих сочинителей... тебе уже пятнадцать лет, и ты достаточно начитался как немецких и французских, так и, отчасти, английских книг» [\[28\]](#)), он все свободное время станет проводить за чтением литературы и философии.

Генриха будут крайне раздражать увлечения сына. Директор школы уведомит его о том, что мальчик наделен исключительной способностью к

философии и расположен к ученой деятельности, и посоветует отдать его в гимназию, где тот смог бы подготовиться к поступлению в университет. Возможно, в душе Генрих и согласится с директором: он и сам видел, с какой жадностью сын поглощает книги из обширной библиотеки Шопенгауэров.

Но что было делать Генриху? Под угрозой была судьба наследника, равно как и будущее всего дела семьи Шопенгауэров. Кроме того, Генриха бросало в дрожь при одной мысли о том, что его сын станет влачить нищенское существование школяра.

Сначала Генрих задумает учредить через церковь пожизненную ренту для сына, но издержки окажутся непомерными, дела пойдут плохо, и к тому же у него будут определенные финансовые обязательства перед женой и дочерью.

Неожиданно решение — и довольно дьявольское решение — начнет созревать в его мозгу. До сих пор он отказывал Иоганне в ее просьбах отправиться в турне по Европе: времена стояли тяжелые, политический климат был таким капризным, что ганзейским городам в любую минуту грозили разные напасти, да и дела требовали его постоянного присутствия в городе. Но усталость и желание хоть ненадолго развлечься сделают наконец свое дело, и сопротивление Генриха начнет постепенно ослабевать. В один прекрасный день Генриха осенит: он поймет, как убить двух зайцев — доставить удовольствие жене и решить вопрос с судьбой Артура.

Решение состояло в том, чтобы предложить своему пятнадцатилетнему сыну выбор: «Ты должен выбрать, — скажет он Артуру, — либо в течение года сопровождаешь родителей в турне по Европе, либо начинаешь карьеру ученого. Либо даешь мне клятву, что по возвращении из турне начинаешь готовиться стать купцом, либо отказываешься от турне, остаешься в Гамбурге и немедленно приступаешь к классическому образованию, которое подготовит тебя к ученой деятельности».

Вообразите себе, что должен чувствовать пятнадцатилетний мальчишка, которого ставят перед таким выбором. Наверняка педантичный Генрих не обошелся и без житейских нравоучений, наверняка постарался объяснить сыну, что жизнь устроена так, что бывает «либо — либо» и на каждое «да» обязательно есть свое «нет» (и действительно, много лет спустя Артур напишет: «Тот, кто хотел бы стать всем, не может стать ничем»).

А может быть, Генрих хотел испытать сына? Позволить ему вкушать горечи самоотречения, понять, что если он не способен отказаться от удовольствий путешествия, как он сможет отказаться и от прочих земных

удовольствий ради аскетической жизни ученого?

Впрочем, возможно, мы слишком великодушны к Генриху: скорее всего, ставя такое хитроумное условие, отец был заранее уверен, что сын не станет, не сможет отказаться от поездки. И какой пятнадцатилетний подросток в 1803 году сделал бы это? Подобная поездка была равноценна подарку судьбы, которого удостаивались очень немногие, и добровольно отказаться от него значило упустить, возможно, единственный шанс в жизни. В те времена, когда о фотографии еще не было и речи, чужие страны изучали по рисункам, картинам и путевым дневникам — литературному жанру, который с таким блеском впоследствии освоит Иоганна Шопенгауэр.

Чувствовал ли Артур, что продает душу дьяволу? Терзали ли его муки совести? История об этом умалчивает. Нам известно только, что в 1803 году, в пятнадцать лет, он пустится с отцом, матерью и слугой в путешествие по Западной Европе, которое продлится один год и три месяца. Его шестилетняя сестра Адель останется в Гамбурге на попечении родственников.

Артур опишет свои впечатления от той поездки в путевых дневниках, которые, повинаясь указаниям родителей, станет вести на языке той страны, где семья будет останавливаться. Его лингвистические способности поражают воображение: в свои пятнадцать Артур свободно изъяснялся на немецком, французском и английском, мог объясниться на итальянском и испанском. Позже он освоит еще с десяток древних и современных языков и заведет обычай, как будут иметь возможность убедиться посетители его мемориальной библиотеки, делать заметки на полях на языке текста.

Путевые дневники юного Артура дают представление о том, какие именно интересы и наклонности со временем лягут в железное основание его характера. Мощнее всего в них будет звучать один мотив — безграничный, всепоглощающий ужас перед невыносимыми страданиями человечества. В мельчайших подробностях он станет описывать такие «достопримечательности» Европы, как толпы голодных нищих в Вестфалии, массы несчастных беженцев, что в панике спасаются от надвигающейся войны (наполеоновские кампании уже готовы были захлестнуть Европу), грабителей, карманных воришек, пьяные толпы в Лондоне, банды мародеров в Пуатье, гильотину, выставленную на всеобщее обозрение в Париже, шесть тысяч галерных каторжников в Тулоне, прикованных, словно звери, цепями друг к другу и оставленных на жалких корабельных остовах, в любую минуту готовых пойти ко дну. Он опишет

крепость в Марселе, где когда-то томился человек в Железной маске, и музей «черной смерти», хранящий память о том, как во время чумы письма из зараженных районов окунались в чан с горячим уксусом, прежде чем передавались адресату. В Лионе он обратит внимание на людей, которые спокойно прогуливались мимо тех самых мест, где во время революции были казнены их собственные отцы и братья.

В Уимблдоне, в пансионе, где, кстати, некогда обучался лорд Нельсон, Артур будет совершенствоваться в английском и заодно посетит публичные казни и показательные порки моряков, заглянет в больницы и дома скорби и будет в одиночку бродить по бесконечным жутким трущобам Лондона.

Говорят, Будда провел юность в стенах дворца, скрывавших от него истинную жизнь. Оказавшись впервые за его пределами, он столкнулся с тремя главными несчастьями человечества: он увидел больного, старика и мертвеца. Потрясенный, Будда отрекся от мира и пустился на поиски спасения человечества.

Такой же неизгладимый след оставит эта поездка в сознании юного Артура. От него не укроется это сходство с Буддой, и много лет спустя, вспоминая о своем путешествии, он напишет: «На 17-м году моей **жизни**, безо всякой школьной учености, я был так же охвачен чувством мировой скорби, как Будда в своей юности, когда он узрел недуги, старость, страдание и смерть» [\[29\]](#).

Артур никогда не будет религиозным, но, не имея веры, он тем не менее в юности будет страстно желать верить, страшась абсолютно бесконтрольного существования. Даже если он и верил в Бога в ранние годы, эта вера должна была подвергнуться суровым испытаниям в том турне по ужасам европейской цивилизации. В восемнадцать лет он напишет: «И вы говорите, что этот мир был создан Богом? Нет, скорее дьяволом» [\[30\]](#).

Глава 13

*Большинство людей, оглянувшись под конец жизни назад, найдут, что они всю свою жизнь жили *ad interim*, и будут удивлены, увидя, что то, что они пропустили без всякого внимания и употребления, именно и было их жизнью, было именно тем, в ожидании чего они жили. И таким образом все житейское поприще человека обычно сводится к тому, что, одураченный надеждой, он в какой-то пляске спешит в объятия смерти [\[31\]](#).*

С котенком вся проблема в том,
Что он становится котом.
С котенком вся проблема в том,
Что он становится котом.

Джулиус потряс головой, чтобы избавиться от привязавшегося стишка, сел в постели и открыл глаза. Шесть часов утра, понедельник, день очередного занятия с группой. Вот уже две бессонные ночи эти нелепые стишки Огдена Нэша неотвязно вертелись у него в голове.

Каждый знает, что жизнь состоит из потерь, но мало кто догадывается, что самое страшное ждет впереди, когда старость лишает нас нормального человеческого сна. Кто-кто, а Джулиус знал это слишком хорошо. Его обычный сон представлял собой тончайшую пелену дремоты, которая так редко заходила в область истинного, блаженного дельта-сна и так часто прерывалась бесконечными пробуждениями, что он нередко с ужасом думал о том, что пора идти в постель. Как и многие страдающие бессонницей, он часто просыпался по утрам в твердом убеждении, что либо проспал гораздо меньше, чем на самом деле, либо вообще всю ночь не сомкнул глаз. Порой ему удавалось убедить себя в том, что он действительно спал, только после тщательного анализа ночных видений, слишком иррациональных и противоестественных, чтобы померещиться наяву.

Но сегодня утром он решительно не мог понять, сколько проспал на самом деле. С котятами и кошками все более или менее ясно — ониплыли

в сознание с остатками сна, но все остальное явилось ниоткуда — ни ясное и осмысленное, как при полном сознании, ни причудливое и абсурдное, как во сне.

Сидя в постели с закрытыми глазами, Джулиус в который раз проговорил про себя надоедливый стишок и попытался проанализировать его по всем правилам — как учил своих пациентов, когда просил их воскресить в памяти ночные фантазии, сны или гипногогические образы. Стишок, по всей видимости, был адресован тем, кто любил котят, но неодобрительно относился к их взрослению. Но какое отношение это могло иметь к нему? Он одинаково любил и котят, и кошек, любил двух кошек, живших на отцовском складе, любил их котят и котят их котят, и поэтому непонятно, с какой стати этот стишок к нему привязался.

Хотя, если подумать хорошенько, это мог быть намек на заблуждение, в котором он пребывал всю жизнь, полагая, будто все, что касается Джулиуса Хертцфельда — его благополучие, положение, известность, — должно идти только в гору, и жизнь с каждым днем должна становиться все лучше и лучше. Теперь-то он понимал, что дело обстояло как раз наоборот — и тут стишок был прав; самое лучшее было вначале, в том невинном, котятчем времечке с его беззаботными играми, прятками, борьбой за знамя и возведением крепостей из пустых ящиков на отцовском складе, когда еще не было ни вины, ни лжи, ни знания, ни долга, и по мере того как проходили дни и годы, тот изначальный свет постепенно тускнел и жизнь неумолимо мрачнела. Но худшее, как выяснилось, было припасено на потом. Он вспомнил то, что Филип сказал о детстве на прошлом занятии. Что ж, надо признать, здесь Ницше с Шопенгауэром оказались правы.

Джулиус печально покачал головой. Да, он никогда не умел ценить настоящее, не мог остановить мгновение и сказать самому себе: «Вот он, этот миг, этот день — вот то, о чем я мечтал. Это мое самое счастливое мгновение, здесь и сейчас. Я хочу остаться в нем навсегда». Нет, он всегда считал, что лучшие дни впереди, всегда с нетерпением ждал будущего, когда станет взрослее, умнее, важнее, богаче. А потом наступил перелом, когда все повернулось вспять, розовые мечты рассыпались на мелкие кусочки и пришла пора мучительной тоски по ушедшему.

Но когда этот перелом наступил? Когда на смену безоблачным надеждам пришла ностальгия по прошлому? Конечно, не в школе, где все казалось ему только прелюдией (и помехой) к самой главной награде — поступлению в университет. И не в университете, где, на первом курсе, он мечтал поскорее покончить с тетрадками, чтобы оказаться в палате — в белом халате, накинутом на плечи, со стетоскопом, выглядывающим из

нагрудного кармана или небрежно переброшенным через шею. И не на практике, на третьем и четвертом курсах, когда он уже начал работать в больнице, — тогда он мечтал поскорее подняться повыше: стать важным лицом, принимать ответственные решения, спасать жизни, в голубой форме везти пациента по коридору в хирургию на срочную операцию. И даже не после, когда, уже ординатором в психиатрии, впервые заглянул за таинственный занавес своей профессии и ужаснулся при виде ограниченности ее познаний и скудости возможностей.

Его упорное нежелание радоваться настоящему наложило мрачный отпечаток и на семейную жизнь: хотя он искренне любил Мириам, любил с того самого дня, как впервые увидел ее в десятом классе, он не переставал считать ее помехой, отделяющей его от множества других прекрасных женщин, чьего общества, как он считал, он всячески заслуживал. До самого конца он так и не признал себя связанным, ничем не желая ограничивать свою свободу в поисках удовольствий. Когда началась интернатура, он очень скоро обнаружил, что квартиры больничного персонала соседствуют с общежитием медицинских курсов, доверху забитым очаровательными юными сестричками, которые просто обожали докторов. О, это был настоящий малинник, и тогда он, помнится, вволю повеселился.

Должно быть, перелом наступил после смерти Мириам. В те десять лет после автомобильной катастрофы, которая унесла ее жизнь, он, кажется, любил ее сильнее, чем при жизни. Порой его охватывало отчаяние при мысли о том, что счастливые взлеты их совместной жизни, настоящая семейная идиллия прошли как-то серо и незаметно, словно так и надо. Даже сейчас, спустя десять лет, он не мог произносить имя Мириам иначе как с расстановкой, делая паузу после каждого слога. Еще он знал, что она навсегда осталась единственной женщиной в его жизни. Конечно, после ее смерти были те, кто ненадолго рассеивал его холостяцкое одиночество, но ему, как и им, требовалось немного времени, чтобы понять, что никто не сможет заменить ему Мириам. Последнее время он чаще бывал в мужской компании, по большей части с друзьями из своей группы поддержки, и со своими детьми. Вот уже несколько лет он проводил отпуск *en famille* с сыном, дочерью и пятью внуками.

Но все эти мысли и воспоминания были лишь обрывками минувшей ночи — основная доля ночных размышлений приходилась на речь, которую ему предстояло произнести сегодня вечером перед группой.

Он уже сообщил о болезни друзьям и частным клиентам и теперь странно волновался, готовясь «открыться» группе. Должно быть, думал он, все дело в том, что он слишком любит ее. Двадцать пять лет он с

нетерпением ожидал каждого занятия. Группа — это не просто коллектив единомышленников. У нее своя особая жизнь, свой неповторимый характер. Из тех, кто начинал когда-то, теперь никого не осталось, за исключением, конечно, его самого, но душа группы, ее характер (на профессиональном жаргоне «нормы», или неписанные правила) оставались неизменными. Никто не мог бы сказать, в чем конкретно состояли эти правила, но каждый умел безошибочно определить, является то или иное поведение допустимым в группе.

Группа отнимала у него больше сил, чем остальные события недели, и Джулиус всегда с особым старанием; удерживал ее на плаву. Группа — священный ковчег милосердия, без усталы переправлявший толпы измученных людей к спасительным берегам душевного спокойствия. Сколько их было? Если считать, что в среднем каждый проводил в группе по два-три года, — по меньшей мере сто пассажиров. Время от времени в мозгу Джулиуса проносились воспоминания о тех, кто сошел на берег, обломки прежних крушений, фрагменты чьих-то лиц и событий. Печально сознавать, что эти обрывки воспоминаний — то немного, что осталось от некогда волнующих событий, что кипели, бурлили и были наполнены особым смыслом.

Много лет назад Джулиус пытался снимать группу на видеопленку, чтобы потом прокручивать самые интересные моменты, но эти записи были сделаны давным-давно, на допотопной камере, и теперь требовалась особая техника, чтобы их просмотреть. Время от времени он подумывал вытащить их из подвала и переписать, но так и не отважился: мысль о том, что с беззаботной пленки к нему вдруг сойдет его безвозвратно ушедшее прошлое, иллюзорная жизнь, что превращает живые мгновения в ничтожные электромагнитные колебания, казалась ему невыносимой.

Чтобы создать крепкую группу, требуется немало времени. Чаще всего на первых порах группа сама выбрасывает за борт тех, кто, в силу внутренних убеждений или каких-то иных особенностей, не способен влиться в общую работу (общение с другими и анализ этого общения). Потом наступает другая фаза, когда в продолжение нескольких недель в отчаянной чехарде происходит нешуточная борьба за лидерство. Когда же она заканчивается и устанавливается взаимное доверие — вот тогда-то целительное и благотворное воздействие группы начинает расти. Скотт, коллега Джулиуса, однажды сравнил групповую терапию с наведением понтонов под бомбежкой: в самом начале потери (читай: выбывшие из группы) неизбежны, зато потом, когда работа завершена, множество людей — уцелевшие члены группы и новички — могут спокойно переправляться

на другой берег.

В свое время Джулиус немало написал о том, как групповая терапия помогает людям, но буксовал всякий раз, подходя к описанию самого главного элемента — ее целительной атмосферы. В одной статье он сравнил ее с лечением тяжелого кожного заболевания, при котором больного погружают в успокаивающую ванну с овсяным отваром.

Одним из побочных эффектов группы — факт, до сих пор не нашедший отражения в науке, — является то, что хорошая группа положительно действует не только на пациентов, но и на психотерапевта. У Джулиуса часто поднималось настроение после занятий, но механизм этого странного воздействия оставался для него загадкой. Может, это потому, что на полтора часа он просто забывал про свои проблемы? Или это удовольствие от того, что ему удалось кому-то помочь? Ощущение собственного мастерства? Или уважение группы к своему лидеру? Все это, вместе взятое? Джулиус давно уже отказался от попыток разгадать эту тайну и, не вдаваясь в долгие рассуждения, просто погружался в целительные воды групповой терапии.

Сообщить группе о своей болезни значило для него очень многое. Одно дело быть откровенным с семьей, с друзьями, со всеми, кто находится с тобой по эту сторону баррикад, — и совсем другое сбросить маску перед твоей главной аудиторией, группой избранных, для которых ты — гуру, врач, маг и священник. Это значило сжечь мосты, признаться, что для тебя все кончено и впереди только мрачная, бездонная пропасть.

В который раз он пожалел, что группа была не в полном составе: Пэм уехала и вернется только через месяц. Как жаль, что ее не будет сегодня вечером. Для Джулиуса Пэм всегда была главной фигурой в группе: она как никто умела положительно влиять на других — и на Джулиуса в том числе. Он тяжело переживал, что группа так и не смогла ей помочь: несмотря на все их старания, терзания Пэм по поводу мужа и бывшего любовника не прекращались, и в результате ей пришлось искать спасения в индийском медитативном центре.

Вот с такими мрачными мыслями Джулиус перешагнул порог комнаты в половине пятого вечера. Группа уже собралась: все сидели и, склонив головы, внимательно изучали какие-то листки, которые в одно мгновение исчезли со стола, едва Джулиус появился в комнате.

Странно, подумал Джулиус. Разве он опоздал? Он посмотрел на часы. Нет, ровно половина пятого. Он тут же выбросил этот эпизод из головы и мысленно повторил заранее заготовленную речь.

— Ну, что ж, начнем. Как вы знаете, я никогда не начинаю занятие, но

сегодня особый случай. Я должен кое-что вам сообщить, хотя, честно признаться, мне это будет нелегко. Так вот... около месяца назад я узнал, что у меня серьезная — нет, более чем серьезная — смертельно опасная болезнь, злокачественная опухоль, меланома. Я думал, что с моим здоровьем все в порядке, это произошло на обычном осмотре у врача...

Джулиус замолчал. В комнате явно происходило что-то неладное: выражения, позы — все не так. Они не должны были так сидеть. Они должны были повернуться к нему и ловить каждое его слово. Вместо этого все сидели, глядя в сторону, кроме Ребекки, которая краем глаза изучала бумажку, лежавшую у нее на коленях.

— Что происходит? — спросил Джулиус. — У меня такое ощущение, что вы меня не слушаете. Похоже, все заняты чем-то другим. Ребекка, что ты читаешь?

Ребекка немедленно сложила листок, спрятала его в сумочку и села, не глядя на Джулиуса. Все молчали. Наконец Тони сказал:

— Я могу ответить. Не буду говорить за Ребекку, скажу за себя. Я не слушал тебя, потому что я уже знаю все, что ты хочешь нам сказать про свою... свое здоровье. Вот почему я не смотрел на тебя. Я не хотел делать вид, будто это для меня новость. Но я не хотел прерывать тебя, не хотел говорить, что уже знаю.

— Что? Откуда ты знаешь? Черт побери, что здесь происходит?

— Прости, Джулиус, давай, я все объясню, — сказал Гилл. — В общем, это моя вина. После того раза я был не в себе и не знал, идти домой или нет, где переночевать и все такое... Ну, я и уговорил всех пойти выпить кофе, мы пошли в кафе и там продолжили встречу.

— Так... Ну и? — Джулиус, слегка успокоившись, несколько дирижерски взмахнул рукой.

— Ну, и Филип рассказал нам, в чем дело, — ну, ты понимаешь, про твою болезнь, про злокачественную миелому...

— Меланому, — негромко поправил Филип.

Гилл бросил взгляд на бумажку, которую держал в руке, и сказал:

— Да, меланому, спасибо, Филип. Может быть, ты сам продолжишь, а то я все перепутаю?

— Множественная миелома — это рак костей, — сказал Филип, — а меланома — это рак кожи. Вспомни: меланин, пигмент, который окрашивает кожу...

— Так эти бумажки... — вмешался Джулиус, делая знак кому-нибудь из двоих объяснить, в чем дело.

— Филип рассказал нам про твое состояние и подготовил краткую

информацию, которую раздал нам перед началом, несколько минут назад. — Гилл показал листок Джулиусу, который успел прочесть заголовок: «Злокачественная опухоль. Меланома».

Покачнувшись, Джулиус грузно опустился в кресло.

— Я... я... даже не знаю, что сказать... вы... я готовился вам сказать... я чувствую себя так, будто у меня из-под носа вытащили мою собственную историю жизни — нет, смерти. — И, глядя Филипу прямо в глаза, Джулиус сказал: — А ты подумал, как я буду выглядеть?

Филип невозмутимо смотрел куда-то в сторону и ничего не ответил.

— Это нечестно, Джулиус! — воскликнула Ребекка. Вынув из волос свои заколки, она встряхнула черными локонами и вновь начала сворачивать их кольцом на голове. — Филип не виноват. Во-первых, он ни в какую не хотел с нами идти — сказал, что не любит компаний, что ему нужно готовиться к лекции, мы чуть не силком его затащили.

— Точно, — подхватил Гилл. — Мы больше говорили обо мне и моей жене и о том, куда мне отправиться на ночь. Потом мы, конечно, спросили Филипа, как он оказался в группе — это нормально, мы всегда спрашиваем новеньких, — и он рассказал нам про твой звонок и про то, что ты позвонил ему из-за болезни. Вот тут мы и переполошились и начали просить его рассказать все по порядку. У него просто не было выхода. Я бы на его месте тоже все рассказал.

— Он даже спросил, —插入了 Ребекка, — кошерно ли встречаться после занятий без тебя.

— «Кошерно»?... Это Филип так сказал? — спросил Джулиус.

— Ну, на самом деле не он, — призналась Ребекка. — «Кошерно» — это сказала я, но смысл был такой. Я сказала, что мы часто встречаемся после занятий и пьем кофе, и ты никогда не возражал и только предупреждал, чтобы мы докладывали про все разговоры на следующем занятии, чтобы не было никаких секретов от группы.

Гилл с Ребеккой дали Джулиусу время привести свои мысли в порядок. В нем все кипело от ярости. *Неблагодарный ублюдок. Несчастный скряга. Жмот. Я стараюсь для его же блага, и вот что я получаю взамен — верно говорят, доброта не остается безнаказанной. Хотел бы я знать, что он доложил о себе — почему оказался в группе? Голову даю на отсечение, что он скромно умолчал о своих подвигах — как он трахал все, что движется, как сотнями обманывал бедных, несчастных женщин. Подлый негодяй. Ублюдок.*

Он оставил эти размышления при себе и, отчаянно борясь с раздражением, попытался восстановить цепь событий. Конечно же, после

занятий группа начала упрашивать Филипа пойти в кафе, и Филип не смог устоять — здесь была и его, Джулиуса, вина, он должен был поставить Филипа в известность об этих периодических посиделках после занятий. Потом, естественно, пошли расспросы о том, как он попал в группу — здесь Гилл прав, группа никогда не упускает случая расспросить об этом новичка, — и Филип, конечно, вынужден был раскрыть всю странную историю их знакомства и этой нелепой сделки; а что ему оставалось? А эти бумажки про меланому — конечно, личная инициатива Филипа, рассчитанная исключительно на то, чтобы завоевать расположение группы.

Все смешалось в голове Джулиуса, он не мог даже выдавить улыбку. Наконец, взяв себя в руки, он произнес:

— Что ж, давайте разберемся по порядку. Ребекка, дай-ка сюда свой листочек. — Джулиус быстро пробежался глазами по бумажке. — В общем-то, с научной точки зрения все верно, так что не буду повторяться и поделюсь с вами личными ощущениями. Все началось с того, что мой врач обнаружил у меня на спине необычную родинку. Биопсия подтвердила, что это злокачественная меланома. Естественно, я отменил занятия на пару недель, чтобы прийти в себя, — можете поверить, это было не лучшее время в моей жизни. — Голос Джулиуса дрогнул. — Видите, я все еще не научился с этим справляться. — Он помолчал и, глубоко вздохнув, продолжил: — Доктора пока не могут сказать ничего определенного, но, что важно сейчас для нас с вами, они уверяют, что у меня есть по крайней мере год. Поэтому мы продолжим наши занятия как обычно в течение года. Нет, не так — лучше будет сказать: если позволит здоровье, я буду вести занятия еще год, а затем группа закроется. Извините, я говорю немного сбивчиво — у меня нет опыта в таких вещах.

— Джулиус, это действительно так опасно? — спросила Бонни. — То есть эта информация, которую

Филип скачал из Интернета... вся эта статистика по стадиям меланомы...

— Прямой вопрос — и он заслуживает прямого ответа. Да, действительно опасно. Нет никаких сомнений, что эта штука очень скоро меня прикончит. Я знаю, тебе нелегко было задать этот вопрос, Бонни, но я ценю твою прямооту, потому что я, как и все смертельно больные люди, терпеть не могу, когда со мной начинают носиться, как курица с яйцом. От этого только становится страшно и одиноко. Что поделаешь, я должен привыкать к своему новому положению. Конечно, мне это не нравится, но жизнь здорового и беззаботного человека — эта жизнь для меня явно закончилась.

— Я вспоминаю то, что Филип сказал Гиллу на прошлой неделе. То есть, Джулиус, я хочу спросить, так ли это для тебя? — спросила Ребекка. — Не помню точно, когда это было сказано — здесь или в кафе, — про то, что мы определяем себя, или свою жизнь, через свои привязанности — правильно я говорю, Филип?

— Разговаривая с Гиллом на прошлой неделе, — размеренно начал Филип, ни на кого не глядя, — я сказал, что чем больше у человека привязанностей, тем обременительнее для него жизнь и тем больше он страдает, когда приходится с ней расставаться. Шопенгауэр и буддисты — все согласны с тем, что человек должен освобождаться от привязанностей и...

— Не думаю, что это имеет отношение ко мне, — прервал его Джулиус. — Как и не уверен, что наша беседа должна проходить в таком русле. — Он поймал многозначительный взгляд, которым обменялись Гилл с Ребеккой, но продолжил как ни в чем не бывало: — Лично я подхожу к этому вопросу несколько иначе: привязанности — и многочисленные привязанности — есть необходимая часть нашей жизни, и избегать их из страха перед будущими страданиями значит жить вполсилы. Я не хочу прерывать тебя, Ребекка, но, думаю, будет лучше, если мы вернемся к вашим собственным ощущениям — к тому, как каждый из вас отреагировал на мое сообщение. Я понимаю, что известие о моей болезни должно было сильно вас взволновать. Мы давно знаем друг друга... — Джулиус замолчал и обвел глазами присутствующих.

Тони, который сидел, развалившись в кресле, немного поерзал и сказал:

— Знаешь, лично меня задело, когда ты сказал, что нас касается только то, сколько еще времени ты сможешь вести группу. Меня это сильно кольнуло — несмотря на то, что у меня толстая кожа, как тут многие утверждают. Вот что я почувствовал. Но больше всего, Джулиус, меня волнует, как чувствуешь себя *ты*... то есть, я хочу сказать, давай начистоту — ты значишь для меня много... очень много. Ты помогал мне справиться со всякой гадостью... в общем, я хочу сказать, что я... что мы можем для тебя сделать? Тебе должно быть чертовски трудно сейчас.

— Я хотел сказать то же самое, — сказал Гилл. К нему присоединились и остальные голоса — все, кроме Филипа.

— Я отвечу, Тони, но сначала позволь сказать, что я очень тронут. Разве можно было представить еще два года назад, чтобы ты говорил так открыто и так великодушно предлагал мне свою помощь? Что же касается твоего вопроса, то мне действительно чертовски трудно. Меня до сих пор

штормит. Хуже всего было первые две недели, когда я отменил занятия. Все эти бесконечные разговоры с друзьями и родственниками... Сейчас мне уже лучше — человек ко всему привыкает, даже к смертельной болезни. Всю прошлую ночь я думал о том, что наша жизнь состоит из потерь. — Он внезапно остановился. Все сидели молча, уставившись в потолок. Джулиус продолжил: — Я ничего не скрываю... готов это обсуждать, отвечу на любые вопросы... если захотите... но сейчас у меня все. Кроме того, мне не хочется посвящать этому весь вечер. Я только хочу сказать, что пока у меня достаточно сил, чтобы работать с вами в обычном режиме. По правде говоря, для меня сейчас очень важно, чтобы мы продолжали работать как обычно.

После краткой паузы Бонни сказала:

— Если честно, Джулиус, я собиралась поднять один вопрос, но не знаю... мои проблемы кажутся теперь такими мелкими по сравнению с тем, что творится с тобой.

Гилл поднял глаза и добавил:

— Мне тоже. Все мои заморочки — моя жена, остаться с ней или бросить тонущий корабль, — все это такая чепуха.

Филип воспользовался таким поворотом по-своему:

— Спиноза любил латинское выражение *sub specie aeternitatis*, что означает «с точки зрения вечности». Он говорил, что ежедневные проблемы кажутся не такими страшными, если взглянуть на них с точки зрения вечности. Мне кажется, эта идея не получила достаточного признания в психотерапии. Возможно, — здесь Филип повернулся к Джулиусу и взглянул ему в глаза, — она могла бы пригодиться и в случае серьезной опасности, с какой ты столкнулся сейчас.

— Насколько я понимаю, Филип, ты предлагаешь мне свою помощь. Очень великодушно с твоей стороны. Но идея обзирать жизнь с космических высот — не лучший способ справиться с моей проблемой. И скажу тебе почему. Прошлой ночью мне не спалось, и я подумал о том, что, к сожалению, никогда не ценил настоящего. В молодости я считал настоящее только подготовкой к чему-то лучшему, высшему, что ждет впереди, а потом, через много лет, неожиданно обнаружил странную вещь — что живу ностальгией по прошлому. Моя ошибка состоит именно в том, что я всю жизнь недостаточно ценил каждое мгновение, а ты предлагаешь мне уйти в себя, отдалиться от мира. Это все равно что смотреть на жизнь с обратной стороны телескопа.

— Позволь мне кое-что сказать, Джулиус, — вмешался Гилл. — У меня есть одно замечание. Мне кажется, ты просто не хочешь соглашаться

с Филипом.

— К замечаниям я всегда готов прислушаться, Гилл. Но это было мнение. А где же замечание?

— А замечание в том, что ты отказываешься признавать все, что говорит Филип.

— Я знаю, что Джулиус сейчас скажет! — воекликнула Ребекка. — «Это не замечание, это всего лишь попытка угадать мои чувства». А вот я заметила, — она повернулась к Джулиусу, — что сейчас вы с Филипом в первый раз напрямую обратились друг к другу. И сегодня ты несколько раз прерывал Филипа, чего я раньше никогда не видела.

— Туше, Ребекка, — ответил Джулиус. — Прямо в точку. Вот это действительно наблюдение.

— Джулиус, — сказал Тони, — я что-то ни черта не понимаю. Ты и Филип — что между вами такое? Правда, что ты свалился к нему как снег на голову?

Несколько минут Джулиус посидел, опустив голову, затем сказал:

— Да, все это, наверное, выглядит нелепо. Хорошо, скажу честно — или, по крайней мере, так честно, как позволяет память. Узнав о болезни, я, как вы понимаете, впал в настоящую панику. Я чувствовал, что мне вынесли смертный приговор, который скоро приведут в исполнение. В голове моей вертелись разные мысли, в том числе и о том, что я сделал в своей жизни. Несколько дней этот вопрос мучил меня, и, поскольку моя жизнь тесно связана с работой, я начал вспоминать своих пациентов: смог ли я действительно изменить чью-то жизнь? Времени у меня оставалось мало, поэтому я решил немедленно связаться с кем-нибудь из старых клиентов. Филип стал первым и пока единственным, кого мне удалось найти.

— Почему именно Филип? — спросил Тони.

— Это вопрос на тысячу — или нет, сейчас уже так не говорят, — на миллион долларов. Отвечу коротко: не знаю. Я сам ломаю, над этим голову. Не думаю, что это была удачная идея, потому что, если бы я хотел действительно успокоить себя, нашел бы кандидатов в тысячу раз лучше: сколько я ни бился, за три года мне так и не удалось помочь Филипу. Может быть, я надеялся услышать от него, что спустя какое-то время он все-таки ощутил пользу от нашего лечения — так иногда бывает. Но, как выяснилось, это не так. Может быть, во мне разыграл мазохизм, и мне захотелось как следует ткнуть самого себя носом в грязь. А может, я выбрал самого неудачного клиента, чтобы получить еще один шанс. Не знаю. Потом, во время нашей беседы, Филип рассказал мне, что сменил

профессию, и попросил меня стать его супервизором. Филип, — Джулиус повернулся к нему, — надеюсь, ты уже успел ввести группу в курс наших общих дел?

— Я сообщил все необходимые подробности.

— Нельзя ли еще потаинственнее?

Филип отвернулся, все остальные вроде бы сконфузились. Наконец, после продолжительной паузы, Джулиус сказал:

— Прости за сарказм, Филип, но ты сам понимаешь, что я должен был заключить из такого ответа?

— Я уже сказал, что сообщил группе все необходимые подробности, — повторил Филип.

Бонни повернулась к Джулиусу:

— Я скажу прямо, Джулиус. Все это очень неприятно, и я хочу тебе помочь. Мы не должны мучить тебя сегодня — тебе нужна помощь. Пожалуйста, скажи, чем мы можем помочь сегодня?

— Спасибо, Бонни, ты права, сегодня я не в своей тарелке. К сожалению, не знаю, как ответить на твой вопрос. Если хотите, открою вам большой секрет: я часто входил в эту комнату с самыми разными болячками и уходил, чувствуя себя гораздо лучше, просто потому что провел полтора часа в вашей компании. Так что, может быть, это и есть ответ на твой вопрос: самое лучшее для меня — чтобы все шло как обычно, чтобы мы не заикливались на моей проблеме.

После некоторого молчания Тони сказал:

— Да, не так-то просто — после всего, что случилось.

— Вот именно, — поддержал его Гилл. — Не представляю, как можно теперь говорить как обычно.

— В такие моменты я всегда вспоминаю Пэм, — сказала Бонни. — Она одна знала, что делать в любой ситуации.

— Странно, но я тоже думал о ней сегодня, — сказал Джулиус.

— Наверное, это телепатия, — вмешалась Ребекка. — Только что, минуту назад, я тоже подумала о Пэм. Когда Джулиус говорил про удачи и неудачи. — Она взглянула на Джулиуса: — Я знаю, она твоя любимица — что тут скрывать, все и так знают. Интересно, ее ты тоже считаешь своей неудачей — ну, из-за того, что она уехала, потому что мы так и не смогли ей помочь? Это, наверное, не слишком приятно для твоего самолюбия.

Джулиус кивнул на Филипа:

— Может, сначала объяснишь ему?

— Пэм — наша гордость. — Ребекка повернулась к Филипу, который упорно смотрел в сторону. — Она потеряла мужа и любовника

одновременно. Сначала она ушла от мужа, но любовник решил остаться со своей женой. Тогда она разозлилась на обоих, и это не давало ей покоя ни днем ни ночью. Сколько мы ни старались, мы так и не придумали, как ей помочь. Тогда она уехала в Индию к одному известному гуру в буддистский медитативный центр.

Филип молчал.

Ребекка снова повернулась к Джулиусу:

— Так что ты думаешь об этом?

— Знаешь, пятнадцать лет назад меня бы это очень расстроило — скажу больше, я бы даже рассердился на Пэм и считал бы, что она сбежала от меня, потому что не хотела меняться. Теперь я сам изменился. Теперь я рад любой помощи. И еще я понял, что в психотерапии любые средства, даже самые необычные, порой открывают что-то новое. Надеюсь, что с Пэм будет именно так.

— Здесь вовсе нет ничего необычного. Это может оказаться лучшим способом для Пэм, — неожиданно сказал Филип. — Шопенгауэр с большим одобрением отзывался о восточной медитативной практике, которая помогает очистить сознание, освободиться от иллюзий и облегчить страдания путем отказа от привязанностей. По сути, он был первым, кто познакомил Запад с восточной философской мыслью.

Замечание Филипа не было обращено ни к кому в особенности, поэтому никто не ответил. Джулиуса взбесило очередное упоминание Шопенгауэра, но он сдержался, заметив, что несколько голов одобрительно закивали. После некоторого молчания Стюарт заметил:

— Может быть, вернемся к тому, что сказал Джулиус, — что для него было бы лучше, если бы все шло обычным путем?

— Лично я — за, — сказала Бонни. — С чего начнём? Может быть, с тебя и твоей жены, Стюарт? В последний раз мы остановились на том, как она послала тебе письмо по электронной почте о том, что собирается уходить.

— Слава богу, утряслось. Сейчас у нас временное перемирие. Она ко мне не подходит, но хоть не рычит, и то ладно. Давайте лучше послушаем кого-нибудь другого. — Стюарт обвел глазами присутствующих. — Предлагаю два вопроса. Гилл, как у вас с Роузи, что новенького? И, Бонни, ты сказала, что хотела что-то сообщить, но не решилась.

— Сегодня я пас, — опустил глаза, сказал Гилл. — Я и так отнял у вас слишком много времени в прошлый раз, а в результате — полное поражение и позорная капитуляция. Мне стыдно возвращаться домой. Советы Филипа, и ваши тоже — все пропало даром. Лучше скажи, как ты,

Бонни?

— Мои проблемы выеденного яйца не стоят.

— А ты помнишь мою версию Бойля-Мариотта? — возразил Джулиус.
— Маленькая тревога имеет тенденцию расширяться и заполнять весь доступный объем. Твоя тревога не менее важна, чем все остальные, — пусть на первый взгляд кажется, что это не так. — Он взглянул на часы. — Только у нас почти не осталось времени, так что, может, поговорим об этом в следующий раз? Вносим это в повестку дня?

— Чтобы я не отвертелась, да? — сказала Бонни. — Ну ладно, так и быть. Я хотела сказать, что я мучаюсь, оттого что я такая некрасивая, толстая и неуклюжая, а вот Ребекка — и Пэм тоже — они такие красивые и... стильные. В особенности ты, Ребекка, ты всегда заставляешь меня об этом думать — что я страшная и никому не нужная. — Бонни замолчала и взглянула на Джулиуса. — Вот, в общем-то, и все.

— Принято, — сказал Джулиус, поднимаясь в знак того, что занятие окончено.

Глава 14. 1807 год — Артур Шопенгауэр едва не становится коммерсантом

Человек высоких талантов и редких умственных способностей, который вынужден заниматься низкой работой, подобен изящной, мастерски расписанной вазе, которую используют как обыкновенный кухонный горшок [\[32\]](#).

Большое европейское турне Шопенгауэров окончится в 1804 году, и шестнадцатилетний Артур с тяжелым сердцем приступит к исполнению данного отцу обещания. Он поселится учеником в доме именитого гамбургского купца Иениша. Здесь, в перерывах между хозяйскими поручениями, он будет тайком изучать величайших мастеров мысли и слова, всякий раз угрызаясь из-за этой двойной жизни: к тому времени он вполне усвоит отцовские железные жизненные принципы.

Девять месяцев спустя случится ужасное событие, которое навсегда оставит мрачный след в жизни Артура. Здоровье Генриха Шопенгауэра, которому в то время было всего шестьдесят пять, начнет стремительно ухудшаться: он сделается желчным, раздражительным, усталым и рассеянным и даже перестанет узнавать старых друзей. 20 апреля 1805 года он, несмотря на физическую слабость, каким-то чудом доберется до своего гамбургского товарного склада, поднимется на верхний этаж и, взобравшись на подоконник, выбросится вниз, в протекавший под окнами канал. Через несколько часов его тело обнаружат в ледяной воде.

Любое самоубийство оставляет в родственниках вину, боль и гнев, и Артур, без сомнения, испытал все это сполна. Только вообразите, какую бурю чувств он должен был пережить. Любовь к отцу сменилась тяжелейшим горем утраты. Обиды на отца — позднее он часто будет жаловаться на его чрезмерную жесткость — породят в нем раскаяние. Даже неожиданный проблеск свободы, мелькнувший перед ним после смерти Генриха, должен был терзать его совесть еще больше: Артур сознавал, что отец никогда бы не согласился, чтобы сын стал ученым. В этой связи невольно вспоминаются еще два человека, которые тоже рано лишились отцов и отличались особым свободомыслием, — Ницше и Сартр. Можно

только догадываться, сумел бы Ницше вырасти в воинствующего безбожника, если бы его отец, лютеранский священник, не умер, когда сын был еще ребенком. Сартр в автобиографии напишет, что, к его величайшему счастью, судьба освободила его от необходимости угождать отцу. Остальным, вроде Кьеркегора или Кафки, повезло меньше: всю жизнь обоих подавляли родители.

В работах Артура Шопенгауэра среди невероятного разнообразия идей, предметов, исторических и научных фактов, понятий и мнений, можно по пальцам пересчитать те места, в которых автор говорил бы с трогательной нежностью, и все они посвящены Генриху Шопенгауэру. В одном месте Артур с гордостью замечает, что его отец честно признавался, что работает ради денег, и сравнивает это с двуличием своих коллег-философов, в особенности Гегеля и Фихте, которые, по его мнению, только делают вид, будто трудятся во имя человечества, а на самом деле добиваются лишь славы, власти и богатства.

В шестьдесят лет Артур вознамерится посвятить все свои труды памяти отца. Он станет писать и переписывать текст посвящения, которое, в конце концов, так и не будет опубликовано. Один вариант будет начинаться так: «Славный, благородный дух, которому я обязан всем, что я есть и чего я достиг... каждым своим открытием и каждой радостью, каждым утешением и наставлением, позволь ему услышать твое имя и узнать, что, если бы Генрих Шопенгауэр не был тем, кем он был, Артур Шопенгауэр уже сто раз был бы ничтожным прахом, смешанным с землей».

Причины столь глубокой сыновней благодарности остаются для нас загадкой, в особенности если учесть, что, насколько мы знаем, Генрих к сыну особой нежности не питал. Его письма к Артуру полны придиорок и едких замечаний. Чего стоит, к примеру, вот это: «Танцы и верховая езда не прибавляют достоинств купцу, чьи письма должны быть прочитаны и, следовательно, написаны должным образом. Я же неизменно нахожу, что ваши заглавные буквы по-прежнему выглядят просто чудовищно» ^[33]. Или: «Никогда не заводите обычая сутулиться, ибо это выглядит отвратительно... если за обедом кто-нибудь сидит, ссутулившись, его могут принять за переодетого портного или сапожника». В своем последнем письме Генрих напутствует сына: «Что касается до хождения или сидения с прямой спиной, то я советую вам попросить того, кто окажется рядом с вами, давать вам порядочного тычка всякий раз, как заметит, что вы забыли об этой важной привычке. Именно так поступают отпрыски королевских особ, которые предпочитают лучше перетерпеть боль, чем выглядеть, как презренные простолюдины, всю свою жизнь».

Артур был достойным сыном своего отца, унаследовав от него не только внешность, но и черты характера. В семнадцать лет мать напишет ему: «Я знаю слишком хорошо, как мало счастья ты испытал в юности, какую предрасположенность к меланхолическим размышлениям ты получил в качестве печального наследства от своего отца» [34].

Кроме всего прочего, Артур унаследует и поразительную прямооту своего родителя, которая не замедлит сказаться в том, как он решит главный вопрос, вставший перед ним после смерти Генриха, а именно: должен ли он, несмотря на отвращение к коммерции, продолжить ученичество. В конце концов он решит поступить так, как поступил бы на его месте отец, то есть сдержит клятву.

О своем решении он напишет: «Я продолжал оставаться в доме своего патрона, отчасти оттого что тяжелейшее горе сломило мою решительность, отчасти оттого что совесть моя была бы неспокойна, нарушъ я обещание, данное отцу, вскоре после его смерти» [35].

Если Артур и чувствовал себя связанным по рукам и ногам, то мать его, по всей видимости, от подобных обязательств не страдала: в одно мгновение она решает изменить свою жизнь. В письме к семнадцатилетнему Артуру она скажет: «Твой характер так сильно отличается от моего: ты по природе нерешителен, я же слишком поспешна, слишком порывиста» [36]. После нескольких месяцев вдовства она продаст особняк Шопенгауэров, ликвидирует почтенное семейное дело и уедет прочь из Гамбурга. В письме она похвастается Артуру: «Меня всегда влечет к себе все новое и необычное. Вообрази себе мой выбор: вместо того чтобы возвратиться в родной город, к друзьям и родственникам, как любая женщина поступила бы на моем месте, я выбрала Веймар, который был мне почти незнаком» [37].

Почему Веймар? Иоганна была крайне честолюбива и мечтала оказаться в самом центре немецкой культуры. Убежденная в своих талантах, она не сомневалась, что сумеет добиться всего, чего захочет. И действительно, буквально через несколько месяцев ее жизнь совершит неожиданный кульбит: она станет хозяйкой самого модного салона в Веймаре, сблизится с Гёте и другими знаменитыми писателями и художниками. Вскоре она и сама станет знаменитостью, сначала как автор путевых дневников, в которых она опишет семейное турне Шопенгауэров и поездку на юг Франции, а затем, по просьбе Гёте, возьмется за серьезную прозу и напишет несколько романов. Она станет одной из первых независимых женщин Германии и первой женщиной, которая зарабатывала

писательским трудом. Следующие десять лет имя Иоганны Шопенгауэр будет греметь по всей Германии, она станет немецкой Даниэлой Стил девятнадцатого века, и еще долго Артур Шопенгауэр будет известен только как «сын Иоганны Шопенгауэр». В конце 1820-х будет издано полное собрание сочинений Иоганны в двадцати томах.

Хотя Иоганна Шопенгауэр сохранится в истории — во многом благодаря едким высказываниям Артура — как самовлюбленная и эгоистичная особа, именно она освободит Артура от клятвы, данной отцу, и направит его по пути философии. Доказательством тому служит судьбоносное письмо, которое она напишет Артуру в апреле 1807 года, спустя два года после смерти отца:

«Дорогой Артур,

Серьезный и спокойный тон твоего письма от 28 марта не мог не передаться мне, он очень взволновал меня и подтолкнул меня к мысли, что ты изменяешь своему призванию. Вот почему я должна сделать все, что в моих силах, чтобы спасти тебя, и я сделаю это, чего бы мне это ни стоило. Уж я-то знаю, что такое жить против своей воли, и, если только это возможно, я избавлю тебя, мой дорогой сын, от этого несчастья. О, милый, милый Артур, почему мои слова значили для тебя так мало. То, о чем ты мечтаешь сейчас, было моим самым драгоценным желанием. Как я стремилась к тому, чтобы это случилось, сколько бы злые языки ни утверждали обратное... если ты не хочешь вступать в этот почтенный филистерский орден, я, мой дражайший Артур, ни в коем случае не стану чинить препятствий на твоём пути. Ты сам и только ты должен выбрать свой путь, мое дело лишь советовать и помогать тебе, где и как я могу. Прежде всего, постарайся примириться с самим собой... помни, что ты должен выбрать занятие, которое обеспечит тебе достаточно средств, а не только будет по сердцу, так как ты никогда не будешь достаточно богат, существуя на одно только наследство. Если ты уже сделал выбор, дай мне знать, но ты должен сделать этот выбор сам... Если ты чувствуешь в себе достаточно сил и смелости сделать это, я охотно протяну тебе руку. Но только не воображай, что жизнь ученого легка и прекрасна. Я теперь имею возможность в этом убедиться, мой дорогой Артур. Это тяжелый, изнурительный труд, и только удовольствие заниматься им делает его поистине приятным. Он не приносит богатства: став писателем, человек может едва-едва, с большим трудом, заработать себе на хлеб... Чтобы сделать карьеру писателя, ты должен произвести на свет нечто необыкновенное... сейчас, более чем когда бы то ни было, есть нужда в

блестящих мозгах. Подумай об этом хорошенько, Артур, и сделай свой выбор, но тогда уж будь тверд, не позволяй сомнениям одолеть тебя, и тогда ты благополучно добьешься цели. Выбери то, что ты хочешь... но со слезами на глазах я умоляю тебя: не криви душой. Отнесись к себе честно и серьезно. Благополучие твоей жизни, как и спокойствие моей старости, целиком зависят от этого, потому что только ты и Адель сможете возместить мне мою утраченную юность. Я не вынесу, если ты будешь несчастен, в особенности если буду знать, что моя чрезмерная мягкость стала причиной твоего несчастья. Ты видишь, дорогой Артур, что я искренне люблю тебя и хочу помогать тебе во всем. Так пусть вознаграждением мне будет твоя уверенность и то, что, сделав однажды выбор, ты последуешь моему совету и будешь верен своему пути. И не огорчай меня непокорством. Ты знаешь, я не упряма и всегда прислушиваюсь к мнению других, я никогда бы не потребовала от тебя того, что противоречит доводам разума...

Adieu, милый Артур, нужно торопиться, и рука уже устала писать. Подумай обо всем, что я написала тебе. Жду твоего скорого ответа,

Твоя мать И. Шопенгауэр» [\[38\]](#).

Уже в старости Артур напишет: «Когда я дочитал это письмо, слезы хлынули у меня из глаз». В ответном письме он откажется от ученичества, и Иоганна напишет ему: «То, что ты, против обыкновения, принял решение так быстро, в любом другом расстроило бы меня — я не люблю опрометчивости. Но, зная тебя, я спокойна, я вижу, что это проявление твоих давних и сокровенных желаний» [\[39\]](#).

Иоганна не станет терять времени: она уведомит патрона и хозяина Артура, что ее сын покидает Гамбург, организует его переезд и отправит его в гимназию в Готе, в пятидесяти километрах от Веймара.

Цепи, сковывавшие Артура, были разбиты.

Глава 15. Пэм в Индии

И замечательно, даже изумительно, как человек, рядом со своей жизнью in concrete , всегда ведет еще другую жизнь — in abstracto ... здесь, в царстве спокойного размышления, кажется ему холодным, бесцветным и чуждым для текущего мгновения то, что там совершенно владеет им и сильно волнует его: здесь он — только зритель и наблюдатель [\[40\]](#).

Пока поезд Бомбей-Игатпури притормаживал у какой-то станции, Пэм расслышала бречание ритуальных цимбал и выглянула из пыльного вагонного окна. Черноглазый парнишка лет одиннадцати, пробегая мимо, показал на ее окно, встряхнув тряпкой и желтым пластмассовым ведром. Уже две недели в Индии Пэм только и делала, что качала головой: нет, нет, нет. Нет добровольным провожатым, чистильщикам обуви, свежавыжатому мандариновому соку, ткани на сари, теннисным туфлям «Найки» и менялам. Нет нищим и бесконечным мужским приставааниям — то открытым, то исподтишка, с подмигиванием, подниманием бровей, облизыванием губ и щелканьем языка. Стоп, вдруг сказала она себе, а вот это мне нужно. Она энергично закивала — да, да, да — юному мойщику окон, который тут же расплылся в широкой белозубой улыбке. Поощряемый присутствием и одобрением Пэм, он вымыл окно, театрально размахивая тряпкой.

Пэм щедро расплатилась с ним и, заметив, что он расположился на нее поглазеть, отослала его прочь. Потом откинулась на спинку сиденья и принялась разглядывать процессию из местных жителей, которые, возглавляемые священником в развевающихся красных шароварах и желтой шали, вереницей шагали по пыльной улице. Конечной целью их путешествия была городская площадь с большой статуей Ганеши из папье-маше посередине — низенькое пухлое тельце с головой слона, сидящее в позе Будды. Все без исключения — священник, мужчины в белоснежных и женщины в шафранных и красных одеждах — несли небольшие статуэтки Ганеши. Девушки разбрасывали цветы, а юноши, шагая парами, несли шесты с зажженными курильницами, от которых тянулись облачка благовоний. Под грохот кимвалов и бой барабанов процессия монотонно

распевала: «Ганапати баппа морья, пурчья варши лаукарья».

— Извините, пожалуйста, вы не могли бы сказать, что такое они поют? — Пэм повернулась к смуглому мужчине, своему единственному спутнику в купе, который сидел напротив нее и пил чай. Мужчина, обходительный, приятный человек, в белых хлопчатобумажных брюках и такой же рубашке навыпуск, тут же поперхнулся и закашлялся. Вопрос Пэм несказанно его обрадовал: он уже несколько раз безуспешно пытался завязать беседу с этой миловидной женщиной.

Наконец, откашлявшись, он несколько придушенно ответил:

— Извините, мадам, физиология не всегда нам подвластна. Эти люди, как и по всей Индии сегодня, поют: «Любимый Ганапати, бог Морья, приди вновь пораньше на следующий год».

— Ганапати?

— Да, вам, наверное, не знакомо это имя — скорее всего вы знаете его как Ганешу. У него много имен: Вигнешвара, Винаяка, Гаджанана.

— А что это за шествие?

— Начало праздника Ганеши. Он длится десять дней, и если вам повезет и вы окажетесь в Бомбее в конце праздника на следующей неделе, увидите, как весь город отправится к океану и будет купать своих ганешей в волнах.

— А что вон там? Луна? Или солнце? — Пэм указала на четырех детей, которые несли большой желтый шар из папье-маше.

Виджай довольно заурчал про себя: он был чрезвычайно рад этим расспросам и мечтал только о том, чтобы поезд подольше постоял на станции и беседа продолжалась без конца. Таких соблазнительных женщин он часто видел в американском кино, но ему еще ни разу не доводилось с ними беседовать. Стройность и бледная красота этой женщины волновали его воображение. Она будто сошла с барельефов Камасутры. Интересно, чем закончится это случайное знакомство, гадал он. Может быть, этой встрече суждено изменить его жизнь? Он был совершенно свободен, его швейная фабрика приносила ему, по индийским меркам, неплохой доход, его совсем юная невеста умерла от туберкулеза два года назад, и, пока родители не подыщут ему новую партию, он был волен поступать, как знает.

— А. Это луна. Дети несут ее в память об одной древней легенде. Прежде всего, вы должны знать, что Ганеша славится изрядным аппетитом — видите, какой у него большой живот? Однажды его пригласили на пир, и он объелся сладкими печеньями ладду. Вы когда-нибудь ели ладду?

Пэм покачала головой, опасаясь, что сейчас он извлечет их из

чемодана: ее подруга подхватила гепатит в индийской чайной, и Пэм, следуя совету своего врача, старательно воздерживалась от всякой пищи, кроме ресторанной еды в своем четырехзвездочном отеле. Выходя в город, она ела только то, что могла очистить своими руками, — в основном мандарины, крутые яйца и арахис.

— Моя мать готовит великолепные ладду с кокосом и миндалем, — продолжал Виджай. — Это такие жареные шарики из теста со сладким кардамоновым сиропом — звучит обычно, но, поверьте мне на слово, это нечто совершенно потрясающее. Но вернемся к Ганеше. Он так объелся, что не мог стоять на ногах и упал, его живот лопнул, и все ладду выкатились наружу. Дело было ночью, и единственным свидетелем была луна, которую очень насмешило это происшествие. Ганеша рассердился и проклял луну, изгнав ее с небес. Но все вокруг очень горевало из-за того, что луны не было на месте, и однажды боги собрались вместе и упростили Шиву, отца Ганеши, убедить сына сжалиться над ней. Луна устыдилась и попросила прощения за проступок. В конце концов Ганеша смягчился и приказал, чтобы луна исчезала с небес только один раз в месяц, показывалась краешком все остальное время и лишь в одну ночь являлась во всем своем великолепии. — Наступило короткое молчание, после которого Виджай добавил: — Теперь вы знаете, почему луна участвует в празднике Ганеши.

— Спасибо за объяснение.

— Меня зовут Виджай, Виджай Панде.

— А меня Пэм, Пэм Суонвил. Какая удивительная история, и какой забавный сказочный божок — голова слона и тело Будды. И все же местные жители, похоже, так серьезно относятся к этим сказкам... как будто они действительно...

— Ганешу очень интересно рассматривать, — мягко прервал ее Виджай, достав с груди амулет с барельефом Ганеши. — Каждая деталь имеет особый смысл и говорит о каком-нибудь правиле. Вот, взгляните на его большую голову — она говорит о том, что мы должны много думать. А большие уши? Больше слушать. Маленькие глазки напоминают о том, что нужно уметь сосредоточиваться, а маленький рот — поменьше болтать. Я не забываю наставления Ганеши — даже сейчас, когда я говорю с вами, я помню его совет и стараюсь не говорить слишком много. Вы должны помочь мне и остановить меня, если я слишком заболтаюсь.

— Нет, нет, пожалуйста, продолжайте. Мне так интересно.

— Здесь еще много любопытных деталей. Мы, индийцы, очень серьезные люди. Вот взгляните поближе. — Виджай вынул из кожаной

сумки, висевшей у него на плече, небольшую лупу и протянул ее Пэм.

Пэм взяла лупу и склонилась, чтобы рассмотреть амулет. Ей в лицо пахнуло смесью корицы, кардамона и свежеевыглаженной одежды. Как он умудрялся пахнуть так приятно в этом душном и пыльном вагоне?

— Но у него только один бивень, — заметила она.

— Это означает, что нужно хранить хорошее и выбрасывать плохое.

— А что он держит в руке? Топор?

— Отсекать от себя привязанности.

— Как в буддистском учении.

— Да. Вспомните, что Будда появился из материнского океана Шивы.

— В другой руке он что-то держит. Я не вижу, что это? Нить?

— Веревка, чтобы притягивать человека к самой высокой цели.

Поезд неожиданно вздрогнул и тронулся.

— Мы снова поехали, — сказал Виджай. — А посмотрите, на чем ездит Ганеша, — вот здесь, у него под ногами.

Пэм придвинулась ближе, чтобы взглянуть на изображение через лупу и еще раз незаметно вдохнуть аромат своего спутника.

— Ой, да, это мышь. Я помню, что видела ее на каждой статуе и на каждом рисунке Ганеши. А почему мышь?

— О, это самая интересная деталь. Мышь — это желание: человек может ехать на нем верхом, только если держит его под контролем. Иначе оно приводит к бедствиям.

Пэм замолчала. Поезд, пытаясь, тащил их мимо чахлах деревьев, одиноких храмов, коров, склонившихся над грязными лужами, перепаханной красной земли, истощенной тысячелетиями крестьянского труда. Пэм искоса бросала взгляды на Виджая; она была благодарна. Как мягко, как ненавязчиво он показал ей свой амулет, как уберег от смущения за то, что она позволила себе так непочтительно отозваться о его религии. Когда в последний раз мужчина был так внимателен к ней? Стоп, Пэм, одернула она себя, больше никаких заигрываний. Ей вспомнилась группа: Тони, который был готов на все ради нее, и Стюарт тоже. Джулиус, чья любовь к ней не знала предела. Но тонкость и деликатность Виджая — в этом было что-то необычное, волнующе экзотическое.

А Виджай? Он тоже погрузился в задумчивость, размышляя о разговоре с Пэм. Совсем разволновавшись и почувствовав, что сердце бьется слишком сильно, он усилием воли заставил себя успокоиться. Открыв сумку, он вынул старую помятую сигаретную пачку — не для того чтобы курить: пачка была пуста, к тому же он много раз слышал, как болезненно американцы реагируют на табачный дым, — ему просто

хотелось взглянуть на бело-голубую картинку: силуэт мужчины в цилиндре и под ним четкими черными буквами название — «Мимолетное зрелище».

Его религиозный учитель впервые показал ему эту марку, которую курил его отец, и посоветовал Виджаю начинать медитации с мыслей о том, что жизнь — мимолетное зрелище, река, несущая всё — вещи, воспоминания, желания — мимо невозмутимого сознания. Виджай представил себе эту реку и прислушался к беззвучному голосу своего сознания: *анитья, анитья* - не вечность, непостоянство. Все мимолетно, говорил он себе, жизнь и впечатления проносятся мимо и исчезают безвозвратно, как этот пейзаж за окном. Он закрыл глаза, глубоко вздохнул и откинулся на спинку сиденья; постепенно его пульс замедлился, и он вошел в блаженную гавань спокойствия.

Пэм, украдкой наблюдавшая за Виджаем, подняла пустую пачку, слетевшую на пол, прочитала название и сказала:

— Мимолетное зрелище? Странное название для сигарет.

Виджай медленно открыл глаза и произнес:

— Да, мы, индийцы, очень серьезные люди — даже на сигаретах пишем наставления, как жить. Жизнь — это мимолетное зрелище. Я медитирую над этим всякий раз, когда волнуюсь.

— Так вы медитировали? Я не должна была вас беспокоить.

Виджай улыбнулся и мягко покачал головой:

— Мой учитель сказал мне однажды, что никто не может побеспокоить другого — только мы сами лишаем себя спокойствия.

Он замялся, чувствуя, что желание вновь охватывает его: подумать только, он превратил медитацию в забаву ради того, чтобы привлечь внимание этой женщины, снова увидеть ее очаровательную улыбку. А ведь она была лишь видением, частью мимолетного зрелища, которое очень скоро навсегда исчезнет из его жизни, растворится в несуществующем прошлом. Но Виджай безрассудно бросился в новый омут, уже понимая, что его слова уведут его еще дальше от цели:

— Я хочу кое-что вам сказать. Я буду долго вспоминать нашу встречу. Скоро моя остановка — десять дней я проведу в ашраме, в полном молчании, поэтому я невероятно благодарен вам за эту беседу. В ваших фильмах осужденным приносят перед казнью любое блюдо, которое они захотят, — должен сказать, что мое желание о последней беседе исполнилось вполне.

Пэм лишь кивнула в ответ. Всегда находчивая, она растерялась, не зная, что ответить на учтивость Виджая.

— Десять дней в ашраме? Вы имеете в виду Игатпури? Я тоже еду

туда на медитацию.

— Значит, нам по пути, и у нас одна и та же цель — научиться випассане у знаменитого гуру Гоенки. Тогда нам скоро выходить. Игатпури — следующая остановка.

— Вы сказали, десять дней молчания?

— Да, Гоенка всегда требует возвышенного молчания, и, кроме необходимых разговоров с прислужниками, ученик не имеет права произносить ни слова. Вы давно медитируете?

Пэм покачала головой:

— Я преподаю английскую литературу в университете, и в прошлом году одна из моих студенток побывала в Игатпури и вернулась оттуда совершенно преображенной. Теперь она устраивает курсы випассаны в Штатах и пытается организовать турне Гоенки по Америке.

— Ваша ученица хотела сделать подарок своей учительнице. Она надеется, что вы тоже испытаете перерождение?

— Ну, что-то в этом роде. Не то чтобы она считает, что мне нужно измениться, просто она сама получила положительный заряд и хотела, чтобы и я, и все остальные испытали то же самое.

— Конечно, конечно. Я не так поставил вопрос — я ни в коем случае не хотел сказать, что вы должны измениться, мне просто хотелось знать, о чем думала ваша студентка. Надеюсь, она подготовила вас к этим занятиям?

— Она наотрез отказалась это делать. Она сама случайно наткнулась на эти курсы и сказала, будет только лучше, если я тоже приеду неподготовленной. Но вы качаете головой — вы не согласны?

— А, нет-нет. Вы должны помнить, что индийцы качают головой из стороны в сторону, если согласны, и вверх-вниз, если не согласны, — в этом мы отличаемся от американцев.

— О боже мой, я так и знала. То-то я думаю, все смотрят на меня так странно. Наверное, я жутко всех смущала.

— Нет, нет, индийцы быстро к этому привыкают, когда разговаривают с иностранцами. Что же касается совета вашей ученицы, то я бы не согласился, что вы должны быть абсолютно неподготовлены. Видите ли, это занятия не для начинающих. Возвышенное молчание, медитации с четырех часов утра, короткий сон, еда один раз в сутки — это очень тяжелый режим. От вас потребуется много выдержки. А. Вот мы и приехали. Игатпури.

Виджай поднялся, собрал свои вещи и снял с верхней полки саквояж Пэм. Поезд остановился. Перед тем как выйти, Виджай сказал:

— Приключения начинаются.

Эти слова ничуть не взбодрили Пэм, которая уже встревожилась.

— Мы что, действительно не сможем разговаривать друг с другом целых десять дней?

— Никакого общения, ни писем, ни жестов.

— Электронная почта?

Но Виджай даже не улыбнулся:

— Возвышенное молчание — единственный путь получить пользу от випассаны. — Теперь он выглядел совсем по-другому. Пэм почувствовала, что он будто ускользает от нее.

— По крайней мере, — сказала она, — мне будет легче от того, что вы рядом, — не так страшно быть в одиночку вместе.

— В одиночку вместе? Удачное определение, — ответил Виджай, даже не глядя на нее.

— Может быть, — добавила Пэм, — вместе поедем назад?

— Мы не должны об этом думать. Гоенка будет учить нас жить только настоящим — вчера и завтра не существуют. Воспоминания о прошлом и мечты о будущем приносят одно беспокойство. Путь к самообладанию лежит через созерцание настоящего, которому ты позволяешь спокойно плыть по реке сознания. — Виджай, не оборачиваясь, перекинул сумку через плечо и, открыв дверь, вышел из купе.

Глава 16. Главная женщина Артура Шопенгауэра

Низкорослый, узкоплечий, широкобедрый пол мог назвать прекрасным только отуманенный половым побуждением рассудок мужчины [\[41\]](#).

Артур Шопенгауэр о женщинах

Твои извечные каламбуры, твои стенания по поводу глупости и страданий человечества портят мне сон и навевают кошмары... Нет ни одного неприятного момента в моей жизни, которым я не была бы обязана тебе [\[42\]](#).

Из письма матери Артура Шопенгауэра сыну

Главной женщиной в жизни Артура была, без сомнения, его мать Иоганна, с которой его связывали непростые и мучительные отношения, в конце концов завершившиеся полным и окончательным разладом. Письмо, в котором Иоганна освобождала Артура от его обязательств, переполнено трогательной материнской заботой: ее любовью, ее надеждами на сына. Однако за всем этим стояло одно неперемное условие — сын будет держаться на порядочном расстоянии от матери. Вот почему в своем письме она рекомендовала Артуру перебраться в Готу, а не в Веймар, где в то время жила сама.

Короткая вспышка взаимной нежности, последовавшая за освобождением Артура, очень скоро бесследно угаснет, и вот по какой причине: Артур недолго задержится в подготовительной школе в Готе, через полгода его исключат из школы за сочинение сатирических виршей, в которых он с остроумной и язвительной критикой обрушится на одного из учителей школы. После этого Артуру ничего не останется делать, как просить мать пустить его к себе, чтобы продолжить учебу в Веймаре.

Нельзя сказать, чтобы Иоганну привела в восторг эта просьба — напротив, при одной мысли о том, что Артур может поселиться у нее, она

пришла в бешенство. Во время недолгого пребывания в Готе он несколько раз приезжал к ней, и всякий его визит доставлял ей кучу неприятностей. Ее письма к нему после его исключения из школы — весьма неожиданный образец материнского отношения к сыну:

...Я достаточно изучила твой характер... ты возмутительный, пренесносный тип, с которым не представляется возможным жить под одной крышей. Твое самомнение перекрывает все твои достоинства, делая их совершенно бесполезными для общества... ты находишь недостатки во всем, кроме самого себя... поэтому ты раздражаешь людей вокруг — никто не желает быть поучаемым и просвещаемым в такой дерзкой, непочтительной манере, а тем более такой ничтожной персоной, какой ты пока что являешься. Никто не станет терпеть нападки от человека, который сам демонстрирует столько слабостей, в особенности заведшего возмутительную манеру проповедовать свои идеи с видом абсолютной непогрешимости.

Любой другой на твоём месте выглядел бы просто смешно, но ты, со своими талантами, ты раздражаешь... Ты ведь мог, как тысячи других учеников, спокойно жить и учиться в Готе... но ты не захотел этого, и тебя исключили... Такая ходячая энциклопедия, как ты, — скучнейший и несноснейший предмет, потому что тебя нельзя полистать и забросить за печку, как любую дрянную и бесполезную книжонку.

Когда Иоганна поймет, что ей все-таки придется терпеть присутствие Артура в Веймаре, пока он не подготовится к университету, она сочтет нужным еще раз написать сыну, чтобы расставить все точки над *i*, и сделает это еще категоричнее:

Думаю, будет лучше, если я четко изложу тебе свои требования, чтобы с самого начала между нами не оставалось никакой неясности. То, что я очень тебя люблю, надеюсь, не вызывает у тебя сомнений. Я уже доказала тебе это и буду доказывать до тех пор, пока жива. Для меня важно знать, что ты счастлив, но быть свидетельницей этого я не намерена. Я много раз тебе говорила, что с тобой очень трудно жить... Чем больше я тебя узнаю, тем больше убеждаюсь в своей правоте.

Я не стану скрывать: до тех пор, пока ты остаешься таким, какой ты есть, я согласна на любую жертву, лишь бы не быть с тобой рядом... То, что вызывает во мне отвращение, лежит не в твоей душе, оно находится не внутри, а снаружи: все твои идеи, суждения, привычки — одним словом,

нет ничего, в чем бы мы с тобой сходились в отношении внешнего мира.

Вспомни, дорогой Артур, всякий раз, когда ты гостил у меня, между нами постоянно происходили жуткие ссоры по пустякам, и всякий раз я начинала дышать свободно только после того, как ты уходил, потому что твое присутствие, твое нытье из-за элементарнейших вещей, твой вечно хмурый вид, дурное расположение духа, нелепейшие взгляды, которые ты постоянно высказываешь... все это расстраивает и беспокоит меня до чрезвычайности.

Раздражение Иоганны объяснимо. Только что, по милости божьей, ей удалось освободиться от замужества, которое грозило заточить ее навеки. Опыаненная свободой, она мечтает отныне не подчиняться никому. Она будет жить, как ей хочется, встречаться с кем хочет, заводить романы (но впредь никаких браков) и, конечно, развивать свои блестящие способности.

Перспектива отказаться от свободы ради Артура приводила ее в бешенство. Мало того что Артур безумно ее раздражал и по праву мог посягать на ее свободу, так еще он был сыном ее прежнего тирана, живое воплощение Генриха.

Не последнюю роль сыграли и финансовые вопросы. Началось с того, что девятнадцатилетний Артур обвинил мать в расточительстве, угрожавшем, по его мнению, наследству, которое он должен был получить в двадцать один год. Иоганна была вне себя от ярости. Гневно парировав, что в ее салоне, как всем известно, подают только хлеб с маслом, она сама перешла в наступление, обвинив Артура в том, что он живет не по средствам, растраниживая деньги на роскошные обеды и уроки верховой езды. Само собой, такие ссоры не способствовали сближению и должны были со временем обострить ситуацию до предела.

Отношение Иоганны к сыну и к материнству вообще найдут отражение в ее романах: типичная героиня Иоганны Шопенгауэр трагически теряет возлюбленного, выходит замуж за богатого и черствого человека, от которого терпит страдания и унижения, и в знак протеста отказывается иметь детей.

Артур никогда и ни с кем не будет делиться своими переживаниями, а мать впоследствии уничтожит все его письма, и все же мы можем догадаться, что же в действительности между ними происходило. Артур был сильно привязан к матери, и боль разрыва с ней будет преследовать его всю жизнь. Иоганна была необычной матерью — живая, откровенная, привлекательная, независимая и просвещенная. Естественно, они обсуждали с Артуром его страстное увлечение древней и современной литературой. Вполне возможно даже, что тогда, в пятнадцать лет, он решил

отказаться от университета и отправиться в семейное турне только ради того, чтобы оставаться рядом с матерью.

Перемена в отношениях между матерью и сыном произошла после смерти Генриха. Надежды Артура на то, что он займет место отца в ее сердце, очевидно, рухнули, когда Иоганна приняла поспешное решение оставить сына в Гамбурге и переехать в Веймар. Если эти надежды и затеплились вновь после того памятного письма, в котором мать освобождала его от обязательств, им, по всей видимости, суждено было угаснуть очень скоро, когда мать решила отослать Артура в Готу, а не поселить у себя в Веймаре, где он, безусловно, имел бы лучшие возможности подготовиться к университету. Возможно, мать была права, и Артур нарочно устроил свое исключение из Готы. Если тем самым он надеялся воссоединиться с матерью, то его должно было постичь жестокое разочарование: мало того, что Иоганна не обрадовалась перспективе пустить его под свою крышу, так еще выяснилось, что в ее жизни есть другие мужчины.

До конца своих дней Артур будет винить себя в смерти отца, корить себя за радость освобождения и за то, что отсутствием интереса к коммерции приблизил эту трагическую развязку. Вскоре вина выльется в отчаянные попытки защитить доброе имя отца, сопровождающиеся жестокими нападками на мать за ее отношение к супругу.

Много лет спустя он напишет:

Я знаю женщин. Они вступают в брак исключительно по расчету. Когда мой отец тяжело заболел, он был брошен на произвол судьбы, спасаемый только бескорыстием преданного слуги, делавшего все возможное, чтобы позаботиться о своем хозяине. Моя мать давала балы, в то время как он лежал один, позабытый всеми. Она веселилась, когда он страдал от мучительных болей. Вот она, женская любовь ^[43].

Когда Артур прибудет в Веймар, чтобы начать подготовку к университету, ему не позволят поселиться у матери — вместо этого Иоганна подыщет ему отдельную квартиру, где по приходе его будет ожидать письмо, в котором мать с предельной ясностью определит правила и границы их будущих взаимоотношений:

Хочу раз и навсегда определить мои условия: ты хозяин только в своей квартире, в моем доме ты — гость... который не должен вмешиваться ни в какие домашние дела. Каждый день ты будешь приходить ко мне в час дня и оставаться до трех часов, после чего я не должна буду видеть тебя до следующего дня, за исключением моих салонов, которые ты можешь посещать, если захочешь, а также столоваться в моем доме в те два вечера

при условии, что ты не станешь затевать своих утомительных споров, которые доставляют мне одно беспокойство... Во время своих дневных посещений ты можешь рассказывать мне все, что я сочту нужным тебя спросить, остальное время ты должен сам заботиться о себе. Ну, все, теперь ты знаешь мои требования, и надеюсь, не отплатишь мне непокорностью за мою материнскую заботу [\[44\]](#).

Артур примет эти условия и два года в Веймаре будет неукоснительно соблюдать их, оставаясь безмолвным наблюдателем на вечерах, которые устраивала его мать, и даже ни разу словом не обмолвится с заносчивым Гёте. Его познания в греческом, латыни, а также в истории и философии будут стремительно расти, и в двадцать один год его примут в Гёттингенский университет. В это же время Артур получит наследство, двадцать тысяч рейхсталеров — достаточно солидный, хоть и не слишком крупный капитал, на который и просуществует всю оставшуюся жизнь. Как и предсказывал Генрих, это наследство придется ему как нельзя кстати: своими учеными трудами Артур не заработает ни пфеннига.

Со временем он начнет видеть в отце ангела, а в матери — дьявола. Он придет к заключению, что извечная ревность отца должна была, очевидно, иметь основания, и станет опасаться, что своим поведением мать может осквернить его память. Артур будет требовать, чтобы во имя отца мать вела тихую жизнь затворницы, и станет яростно набрасываться на каждого, кто покажется ему материнским воздыхателем, обзывая всех ничтожными «штампованными болванами», недостойными мизинца его отца.

Артур будет учиться в Гёттингенском и Берлинском университетах и в Иене получит степень доктора философии. Некоторое время он проживет в Берлине, но вскоре бежит оттуда, спасаясь от надвигающейся войны с Наполеоном, и вновь вернется в Веймар к матери. Очень скоро семейные скандалы разгорятся с новой силой: Артур не только станет упрекать мать за растрату денег, отложенных им на лечение бабушки, но и обвинит ее в порочной связи с ее близким другом Мюллером Герстенбергком, на которого накинется с таким ожесточением, что Иоганна вынуждена будет видаться со своим приятелем, лишь когда Артура нет дома.

Приблизительно в это же время между ними произойдет известный диалог: Артур подаст матери свою докторскую диссертацию, блестящий трактат о принципах причинности, озаглавленный «О четверояком корне закона достаточного основания».

Взглянув на обложку, Иоганна небрежно бросит:

— О четверояком корне? Это, должно быть, рекомендации аптекарю?

Артур: Эту работу будут читать, когда ни одной из твоих книжек днем с огнем невозможно будет сыскать.

Иоганна: Ну, конечно. Не сомневаюсь, что твоими сочинениями по-прежнему будут завалены все книжные лавки.

Артур будет бескомпромиссен в выборе своих названий: «О четверояком корне закона достаточного основания» правильнее было бы назвать «Теорией объяснений», и все же, несмотря на это, даже теперь, двести лет спустя, эта работа по-прежнему издается — редкая судьба для диссертации.

Стычки по поводу денег и связей Иоганны будут продолжаться еще некоторое время, пока в один прекрасный день терпение Иоганны не лопнет. Тогда она объявит Артуру, что не собирается ради него порывать ни с Герстенбергком, ни с кем бы то ни было вообще, и решительно прикажет ему съехать с ее квартиры, демонстративно пригласив Герстенбергга поселиться в освободившихся комнатах. Свое решение она сопроводит следующим роковым письмом сыну:

Дверь, которой ты так громко хлопнул вчера после недостойной сцены, устроенной своей матери, теперь закрыта для тебя навсегда. Я уезжаю за город и не вернусь до тех пор, пока не узнаю, что ты уехал из моего дома... Ты не знаешь, что такое материнское сердце: чем нежнее оно любит, тем больнее для него удар от любимой руки... Ты сам порвал со мной: твоё недоверие, твоё неприятие моей жизни, моих друзей, твоё невыносимое поведение, твоё презрение к тому, что я женщина, твоё нежелание доставить мне малейшее удовольствие, твоё жадность — это и многое другое вызывает во мне отвращение... Если бы я умерла и ты имел дело со своим отцом, разве посмел бы ты читать ему нотации? Или распоряжаться его жизнью, его знакомствами? Чем я хуже его? Разве он сделал для тебя больше, чем я? Любил тебя больше?... Я слагаю с себя ответственность за тебя... Оставь свой адрес, но не смей писать мне, отныне я не буду ни читать твоих писем, ни отвечать на них... Это конец... Ты причинил мне достаточно горя. Живи и будь счастлив, насколько сможешь [\[46\]](#).

И это действительно был конец. Иоганна проживет еще двадцать пять лет, но мать и сын больше так и не встретятся.

В старости, вспоминая родителей, Шопенгауэр напишет:

Большинство мужчин позволяют себе обольститься прелестным личиком... сама природа заставляет женщин выставять напоказ все свои прелести... и «пленить»... но природа скрывает множество зол, которые

(женщины) таят в себе: бесконечные расходы, забота о детях, строптивость, упрямство, капризы, причуды, истерики, адские муки и сам дьявол. Вот почему я называю брак долгом, в который влезает в юности, а расплачиваешься в старости... [\[47\]](#)

Глава 17

Большие страдания совсем подавляют меньшие, и, наоборот, при отсутствии больших страданий уже самые ничтожные неприятности мучат и расстраивают нас [\[48\]](#).

На следующем занятии все взгляды были обращены к Бонни, которая тихо и неуверенно начала:

— Лучше бы я об этом не заикалась. Всю неделю я только и делала, что думала, что и как вам скажу, все придумывала, с чего начать, хотя и знала, что домашние заготовки не пойдут: Джулиус всегда говорит, что беседа должна быть спонтанной, иначе нет никакого толку, правильно я говорю? — Она взглянула на Джулиуса.

Джулиус кивнул:

— Забудь про свои заготовки, Бонни. Попробуй так: закрой глаза и представь, что ты берешь свою речь в руки, держишь перед собой, а потом рвешь пополам и еще раз пополам. А теперь бросаешь в корзину. Сделала?

Бонни с закрытыми глазами кивнула.

— А теперь своими словами расскажи нам, что ты думаешь про красивых и некрасивых — про вас с Пэм и Ребеккой.

Бонни, продолжая кивать, медленно открыла глаза и начала:

— Вы все, конечно, меня знаете: я была та самая маленькая толстушка с кучеряшками, над которой все вечно смеялись на физкультуре, у которой всегда меньше всех валентинок, которая ревет по любому поводу, у нее нет настоящих друзей, она всегда возвращается домой одна, никогда ни с кем не гуляет и такая затравленная, что вечно боится поднять руку, хотя вполне может заткнуть за пояс любого и знает ответы на все вопросы. А Ребекка — она мой изомер...

— Твой — кто? — спросил Тони, который чуть не лежал в кресле.

— *Изомер* - это что-то вроде зеркального отображения, — ответила Бонни.

— *Изомеры*, - возвестил Филип, — это химические вещества, обладающие одинаковым составом, но разными свойствами из-за того, что их атомы расположены по-разному.

— Спасибо, Филип, — сказала Бонни. — Наверное, мне не стоило

употреблять таких ученых слов. Тони, ты молодец. Держишь слово спрашивать всякий раз, когда что-то не понял. Когда пару месяцев назад ты признался, что стыдишься своей работы, это сильно подействовало на меня и помогло заговорить о своих проблемах. Ну ладно, вернемся к моей школе. Ребекка была, что называется, моей противоположностью — абсолютно во всем. Я готова была умереть, чтобы подружиться с Ребеккой, убить кого угодно, чтобы *стать* Ребеккой. Вот это и мучает меня сейчас: уже две недели меня преследуют воспоминания о моем кошмарном детстве.

— Та маленькая толстушка ходила в школу много лет назад, — сказал Джулиус. — Что заставило ее вернуться сейчас?

— Это и есть самое ужасное. Не хочу, чтобы Ребекка разозлилась на меня...

— Лучше обращайся прямо к ней, Бонни, — поправил Джулиус.

— Хорошо, — сказала Бонни и повернулась к Ребекке: — Я хочу сказать тебе, но не хочу, чтобы ты на меня разозлилась.

— Я вся внимание, — ответила Ребекка, не отрывая глаз от Бонни.

— Когда я вижу, как ты крутишь мужчинами здесь, в группе — как ты их соблазняешь, как они смотрят на тебя, — я чувствую, что абсолютно беспомощна, и все мои старые чувства вылезают наружу: толстая, страшная, никому не нужная, синий чулок.

— Ницше, — вставил Филип, — однажды сказал, что, если мы просыпаемся среди ночи в подавленном настроении, значит, наши враги, которых мы разбили давным-давно, возвращаются, чтобы преследовать нас.

Бонни, расплывшись в широкой улыбке, повернулась к Филипу:

— Спасибо, Филип. Не знаю, почему, но мне нравится эта идея о врагах, которых я однажды разбила и которые снова возвращаются, — мне даже стало легче. Иногда достаточно назвать вещи своими именами...

— Погоди, погоди, Бонни, — взмолилась Ребекка, — давай вернемся к теме. Как это я соблазняю мужчин — что ты имеешь в виду?

Зрачки Бонни расширились, она отвела глаза.

— Дело не в тебе, Ребекка, ты ничего такого не делаешь... Это я сама, моя реакция на нормальное женское поведение.

— Какое поведение? О чем ты говоришь? Бонни тяжело вздохнула и ответила:

— Ты прихорашиваешься. Красуешься — вот что я имею в виду. Я уже сбилась со счета, сколько раз за последнее время ты вытаскивала свои заколки. Ты то распускаешь волосы, то без конца их поправляешь. Раньше

этого не было. Мне кажется, это как-то связано с приходом Филипа.

— Что? Что ты говоришь? — воскликнула Ребекка.

— Как однажды сказал святой Юлий, вопрос не является вопросом, если знаешь ответ, — вставил Тони.

— Почему ты не дашь Бонни самой сказать? — Взгляд у Ребекки заledenел.

Однако Тони несколько не смутился.

— Дело ясное. Филип появился в группе, и ты сразу... стала нимфо... черт... как это слово?... в общем, ты на него клюнула. Я правильно говорю, Бонни?

Бонни кивнула.

Ребекка вынула косметичку, достала бумажный носовой платок и аккуратно, чтобы не размазать тушь, принялась вытирать глаза.

— Что я вам сделала?

— Вот этого я и боялась! — воскликнула Бонни. — Пойми, Ребекка, дело вовсе не в тебе. Ты не делаешь ничего плохого.

— Да за кого вы меня принимаете? Обвинять меня *en passant* черт знает в чем и потом говорить, что дело не во мне.

— *En passant*? - переспросил Тони.

— *En passant*, - вставил Филип, — значит *на проходе*, шахматный термин, когда пешка делает первый ход на две клетки, минуя пешку противника.

— Филип, а ты понтуешься — ты это знаешь? — сказал Тони.

— Ты спросил — я ответил, — невозмутимо ответил Филип, несколько не задетый. — Если, конечно, *твой* вопрос действительно является вопросом.

— Ладно, сдаюсь. — Тони обвел глазами группу. — Я, наверное, тупею. Что-то в последнее время все чаще пролетаю. А что, мне кажется или на самом деле большие слова начали проскакивать все чаще? Может, Филип не только на Ребекку подействовал, а?

Джулиус решил, что пора прибегнуть к старому испытанному приему — переключить внимание с содержания на процесс, то есть перевести разговор с конкретных слов на отношения между спорящими:

— Да, друзья мои, обстановка накалилась. Может, прервемся на минутку и попробуем взглянуть на ситуацию? Для начала ответьте мне на такой вопрос: что, по-вашему, происходит сейчас между Бонни и Ребеккой?

— Сложно сказать, — отозвался Стюарт, всегда первым отвечавший на вопросы Джулиуса. Профессиональным медицинским тоном он прибавил: — Я лично не понимаю, чего именно хочет Бонни.

— То есть? — спросила Бонни.

— То есть я не могу понять, какую цель ты преследуешь. Тебе хочется поговорить об отношениях с мужчинами и о соперничестве между женщинами или ты просто хочешь уколоть Ребекку?

— Мне кажется — и то и другое, — заметил Гилл. — Я понимаю Бонни — это задевает ее старые болячки, и в то же время я понимаю Ребекку — она ведь могла автоматически поправлять волосы. Я лично вообще не вижу здесь ничего особенного.

— И вашим и нашим, Гилл. Поздравляю, — сказал Стюарт. — Как всегда, пытаешься примирить всех — особенно женщин. Ты поосторожнее. Кто часто ставит себя на место женщины, может лишиться собственного голоса. На прошлой неделе Филип правильно об этом говорил.

— Протестую. Женоненавистническое замечание, Стюарт, — откликнулась Ребекка. — Кто-кто, а уж врач должен это понимать. Все эти разговоры про «место женщины» просто смешны.

Бонни подняла обе руки и сделала «Т».

— Тайм-аут. Все, больше не могу. Это важный вопрос, но сейчас он не к месту — я больше не хочу об этом говорить. Как мы можем вести себя как ни в чем не бывало, когда Джулиус только неделю назад объявил нам, что умирает? Это моя вина: я не должна была поднимать эту тему — все это чепуха. Все чепуха по сравнению... — Наступило молчание. Все опустили глаза, а Бонни продолжила: — Все, беру свои слова назад. Мне нужно было начать не с этого, а со сна, который я видела неделю назад. Мне кажется, Джулиус, это касается тебя.

— Слушаю тебя, — сказал Джулиус.

— Была ночь. Я стояла на темной платформе... Джулиус прервал ее:

— В настоящем времени, Бонни.

— Да, пора бы мне уже привыкнуть. В общем, ночь, я стою на темной платформе и хочу сесть в поезд, который уже тронулся. Я иду быстрее, чтобы успеть, вижу — мимо проезжает вагон-ресторан, а в нем хорошо одетые люди, они едят и пьют вино. Я не знаю, как мне сесть. Поезд движется быстрее, и вагоны становятся все хуже и хуже, окна у них заколочены досками. Последний служебный вагон — просто голый каркас, который чуть не разваливается на части, и я вижу, как он уносится от меня, и слышу, что поезд дает гудок, такой громкий, что я просыпаюсь — четыре часа утра, сердце колотится со страшной силой, я обливаюсь потом. Больше я так и не заснула.

— Ты до сих пор видишь перед собой этот поезд? — спросил

Джулиус.

— До мельчайших подробностей. Как он мчится по рельсам. Мне до сих пор так страшно. Просто мороз по коже.

— Знаешь, что я думаю? — сказал Тони. — Я думаю, что поезд — это наша группа и из-за болезни Джулиуса она скоро развалится.

— Точно, — заметил Стюарт. — Поезд — это группа, она увозит тебя куда-то и дает тебе пищу — те люди в вагоне-ресторане.

— Да, но ты так и не села в него. Ты бежала? — спросила Ребекка.

— Нет, я как будто знала, что не смогу сесть.

— Странно. Ты хотела и в то же время не хотела сесть в поезд? — сказала Ребекка.

— Я даже не пыталась.

— Может, ты боялась? — предположил Гилл.

— Я когда-нибудь признавался вам, что влюблен? — неожиданно спросил Джулиус.

Наступила полная тишина. Джулиус лукаво взглянул на вытянувшиеся от удивления лица.

— Да, влюблен. В эту группу — особенно когда она работает как сегодня. Отлично. Просто молодцы. Вы великолепно справились со сном Бонни. Я тоже хочу внести свое предположение. Мне кажется, Бонни, что поезд означает и меня. От него несет ужасом и темнотой. И, как точно заметил Стюарт, он дает пищу. Так вот, я думаю так... Ты боишься его — как, должно быть, ты боишься меня или того, что ждет меня впереди. А этот последний служебный вагон, от которого остался один каркас, разве он не означает того, что скоро должно со мной случиться?

Бонни встала, подошла к коробке с салфетками, вытатила одну, вытерла глаза и, заикаясь, ответила:

— Я... ох... я даже не знаю, что сказать, — все это так странно... Джулиус, ты просто убиваешь меня тем, что так спокойно говоришь о смерти.

— Мы все однажды умрем, Бонни. Просто я знаю свой срок лучше других, — ответил Джулиус.

— Именно это я и хотела сказать, Джулиус. Мне всегда нравилась твоя легкость, но сейчас, в этой ситуации, мне кажется, мы ведем себя так, будто что-то замалчиваем. Я помню, однажды — это было в выходной, когда Тони отбывал свое наказание, и мы не стали говорить об этом, — ты сказал, если что-то важное не обсуждается в группе, тогда нечего говорить и про остальное.

— Я хочу сказать две вещи, — сказала Ребекка. — Первое, Бонни, мы

как раз и говорили о важном — о нескольких важных вещах. А второе — боже мой, чего еще ты хочешь от Джулиуса? Он *и так* об этом говорит.

— Он даже, — добавил Тони, — шипел на Филипа за то, что тот рассказал нам об этом раньше.

— Вот именно, — согласился Стюарт. — Так чего ты хочешь от него, Бонни? Он делает все, что может. Он даже привлек свою группу поддержки.

Джулиус решил, что пора вмешаться, — дело заходило слишком далеко.

— Я ценю вашу заботу, друзья мои, но, когда здесь становится слишком жарко, я начинаю беспокоиться. Может быть, это не к месту, но знаете, когда Лу Гериг решил, что пора уходить? Когда однажды после игры команда стала расхваливать его за то, что он взял самый обычный мяч. Может быть, и со мной так — вы считаете, я слишком слаб и не могу за себя постоять?

— Так что же нам делать? — спросил Стюарт.

— Во-первых, я скажу тебе, Бонни, что ты поступила мужественно, когда подняла этот вопрос и сказала то, что никто до тебя не осмеливался сказать. Больше того, ты абсолютно права: я сам немного... нет, *сильно* провоцировал отрицание в группе. В общем, я вам скажу, а вы смотрите. В последнее время мне плохо спится, так что у меня было достаточно времени подумать обо всем, в том числе и о пациентах, о нашей группе. Видите ли, у меня нет опыта... ни у кого из нас нет опыта умирания — мы все сталкиваемся с этим только раз в жизни. Учебников на эту тему не написано, так что приходится импровизировать. Сейчас передо мной стоит один вопрос — что делать в оставшееся мне время? Сами подумайте, каковы варианты? Отказаться от пациентов и закрыть группу? Я к этому не готов — у меня есть по крайней мере год, да и моя работа слишком много для меня значит. Она помогает мне — и очень помогает. Уйти с работы значит добровольно заточить себя в четырех стенах. Я видел много смертельно больных людей, которые говорили мне, что одиночество — худшее, с чем им пришлось столкнуться. К тому же это, так сказать, двойное одиночество: во-первых, сам больной отдаляется от всех, потому что не хочет никого втягивать в свое несчастье, — могу сказать, что это одна из причин, по которым мне не хотелось обсуждать это в группе, — и во-вторых, остальные избегают его, потому что не знают, о чем говорить с тяжелобольным человеком, — или не хотят иметь дело со смертью... В общем, если я закрою группу, это не принесет мне ничего хорошего — да и вам тоже. Я встречал немало тяжелобольных людей, которые очень

менялись, становились мудрее, глубже и могли многому научить других. Мне кажется, именно это сейчас и происходит со мной, и я уверен, что в ближайшие месяцы я многое смогу вам рассказать. Но если мы останемся работать вместе, вам придется нелегко: вы будете наблюдать приближение моей смерти и, значит, станете задумываться о своей. Все, точка. Может, отложим это на потом, а пока займемся другими вопросами?

— Я не хочу откладывать это на потом, — сказала Бонни. — Я люблю нашу группу, люблю тебя, Джулиус, и всех остальных, и я хочу заниматься столько, сколько будет возможно.

Когда все единодушно ее поддержали, Джулиус сказал:

— Спасибо за этот вотум доверия, но правило групповой терапии предупреждает нас об опасности давления со стороны группы. Трудно идти против течения. Каждому из вас нечеловеческих усилий стоило бы сказать сегодня: «Прости, Джулиус, но с меня хватит».

Лучше я пойду и найду себе другого терапевта, кого-нибудь поздоровее, чтобы он мог как следует обо мне позаботиться». Так что давайте не будем спешить. Отложим это и займемся каждый своим делом, а через несколько недель посмотрим, кто и что думает. Бонни правильно сказала — опасность в том, что ваши собственные проблемы начинают казаться вам слишком мелкими, поэтому нам придется подумать, как заставить вас над ними работать.

— Мне кажется, ты уже это делаешь, — заметил Стюарт, — тем, что просто держишь нас в курсе.

— Тогда отлично. А теперь давайте вернемся к вам, друзья мои.

Продолжительное молчание.

— Так, значит, мне все-таки не удалось вас успокоить. Тогда попробуем иначе. Будь добр, Стюарт, или кто-нибудь еще, перечислите наши вопросы — что у нас на повестке?

Стюарт был неофициальным архивариусом группы: он обладал такой феноменальной памятью, что Джулиус всегда обращался к нему, если требовалось вспомнить то, что происходило на занятиях. Он старался не злоупотреблять даром Стюарта, который пришел в группу, чтобы научиться общению с другими, а вовсе не для того, чтобы вести протоколы занятий. Талантливый педиатр, Стюарт всегда терялся, выходя за рамки своей профессии. Даже на занятиях он не расставался с привычным реквизитом, который вечно торчал у него из нагрудного кармана: ложечка, ручка с фонариком, леденцы на палочке, образцы лекарств. Вот уже год бессменный участник группы, Стюарт совершил настоящий прорыв в том, что сам называл «плановой гуманизацией». И все же способность к

сопереживанию оставалась в нем на таком низком уровне, что он всегда с наивным прямотушием перечислял все, что случилось в группе.

Откинувшись в кресле и закрыв глаза, Стюарт задумался вслух:

— Так, давайте вспомним... Мы начали с Бонни и ее желания поговорить о детстве. — Бонни была неизменным оппонентом Стюарта, и, прежде чем продолжить, он бросил на нее короткий взгляд, ища согласия.

— Нет, не совсем так, Стюарт. Факты верные — тон неверный. Ты говоришь так, будто это шуточки. Это очень тяжелые воспоминания, и они мучают меня. Чувствуешь разницу?

— Не уверен, что чувствую. Я же не сказал, что это шуточки. Ты как моя жена — та тоже все время на это жалуется. Так, продолжим... Потом была Ребекка — она обиделась и рассердилась на Бонни, которая обвинила ее в том, что она красуется и пытается произвести впечатление на Филипа. — Стюарт даже не взглянул на Ребекку, которая при этих словах хлопнула себя по лбу и пробормотала «Боже мой», и продолжил: — Потом был Тони, который сказал, что мы бросаемся заумными словами, чтобы поразить Филипа. А потом Тони сказал, что Филип хвастун, и Филип резко ему ответил. Дальше было мое замечание Гиллу, что он так боится расстроить женщин, что теряет собственное мнение. Так, что еще?... — Стюарт обвел глазами комнату. — Да. Филип — не то, что он сказал, а то, чего не сказал. Мы совсем не говорим про Филипа, как будто его здесь вовсе нет. Если вдуматься, мы даже не говорим о том, что мы *не* говорим о нем. Ну и, конечно, Джулиус. Но это мы проработали. Только Бонни очень беспокоилась и старалась его защитить, но она всегда так себя ведет по отношению к Джулиусу. По сути, тема Джулиуса началась вместе со сном Бонни.

— Впечатляет, Стюарт, — отметила Ребекка. — Полный список. Только ты упустил одну деталь.

— Какую же?

— Себя. То, что ты снова работал камерой и фотографировал все, что происходит, вместо того чтобы участвовать самому.

Группа часто обвиняла Стюарта в излишней беспристрастности. Несколько месяцев назад он рассказал, что видел кошмарный сон, в котором его дочь попадает в зыбучие пески и он не успевает ее спасти, только потому что вытаскивает из рюкзака фотоаппарат, чтобы заснять эту сцену. После этого Ребекка и прозвала его «фотокамерой».

— Ты права, Ребекка. Подожди, я выключу свою камеру и скажу, что абсолютно согласен с Бонни: ты действительно красивая женщина. Но это для тебя не новость — ты и так это знаешь. Ты даже знаешь, что я это

знаю. Конечно же, ты красовалась перед Филипом, когда распускала и поправляла волосы — это очевидно. Как я к этому отношусь? Немножко ревную. Нет, сильно ревную — передо мной ты никогда не красовалась. Никто никогда не красовался передо мной.

— Я начинаю чувствовать себя грязной преступницей, — отозвалась Ребекка. — Терпеть не могу, когда мужчины за мной следят. Я что, подопытный кролик? — Она резко бросала каждое слово, не в силах справиться с накопившимся раздражением.

Джулиус вспомнил, как в первый раз увидел Ребекку: десять лет назад, задолго до того, как прийти в группу, она целый год у него лечилась. Это было утонченное создание с очаровательной фигуркой Одри Хепберн, нежным личиком и огромными глазами. А ее, первая фраза? «С тех пор как мне исполнилось тридцать, я замечаю, что, когда я вхожу в ресторан, никто не прекращает есть, чтобы взглянуть на меня. Это меня просто убивает».

В своей работе с ней Джулиус руководствовался двумя авторитетными источниками: во-первых, Фрейдом, который, рассуждая о красивых женщинах, прежде всего советовал врачу вести себя по-человечески: не сдерживать себя, но и не наказывать пациентку только за то, что она хороша собой. Вторым авторитетом была брошюрка под названием «Красивая пустышка», которая попала к нему на глаза еще в университете. В ней утверждалось, что красивая женщина настолько избалована вниманием и любовью окружающих, что просто не чувствует необходимости развиваться в других направлениях. Однако ее уверенность в своей неотразимости вовсе не имеет под собой надежного основания, и стоит ее красоте увянуть, как она тут же начинает сознавать, что на самом деле ей нечего предложить людям: она не потрудилась развить в себе ни искусства быть интересной собеседницей, ни особого внимания к другим.

— Я высказываю замечания — меня обзывают камерой, — тем временем гудел Стюарт, — а когда я говорю то, что чувствую, меня обвиняют в попытке кого-то прижать. Что вы от меня хотите?

— Я не совсем понял, Ребекка, — вмешался Тони. — О чем, собственно, сыр-бор? Что ты так взбеленилась? Стюарт просто повторяет то, что ты сама всегда говорила. Сколько раз ты признавалась, что знаешь, как вертеть мужчинами, что для тебя это совершенно естественно? Вспомни свои рассказы — как ты веселилась в колледже. А в адвокатской конторе, где ты всех мужчин свела с ума?

— Сделали из меня какую-то шлюху. — Ребекка резко развернулась в кресле и обратилась к Филипу: — Ты тоже считаешь, что я шлюха?

Филип, не отрываясь от своей излюбленной точки на потолке, тут же

ответил:

— Шопенгауэр считал, что очень красивая женщина, как и очень умный мужчина, осуждены на одиночество. Он говорил, что окружающие часто бывают ослеплены завистью и отвергают тех, кто лучше их. По этой причине у таких люди обычно не бывает близких друзей среди представителей того же пола.

— А вот это неправда, — возразила Бонни. -

Возьмите Пэм — ее сейчас с нами нет, — она тоже красивая, но у нее полным-полно подруг.

— Да, Филип, — присоединился Тони, — что же, по-твоему, нужно быть тупым уродом, чтобы тебя любили?

— Вот именно, — отозвался Филип. — Но мудрый человек не станет тратить жизнь на то, чтобы гоняться за чужой любовью. Любовь окружающих — вовсе не признак ни добра, ни истины. Как раз наоборот — она нивелирует и отупляет. Гораздо важнее искать цель и смысл внутри самого себя.

— А как насчет *твоих* целей и смысла? — спросил Тони.

Если Филип и уловил в голосе Тони язвительные нотки, то никак на это не отреагировал и спокойно ответил:

— Лично я, как и Шопенгауэр, хочу одного — желать как можно меньше и знать как можно больше.

Тони лишь молча кивнул, очевидно, не зная, что ответить.

В разговор вступила Ребекка:

— Филип, ты или Шопенгауэр — вы абсолютно правы насчет друзей. По крайней мере, я согласна на все сто. У меня действительно никогда не было близких подруг. А если у людей одинаковые интересы и одинаковые способности — как ты думаешь, может быть между ними дружба?

Не успел Филип ответить, как Джулиус вмешался в разговор:

— К сожалению, наше время подходит к концу. Я хотел бы узнать, что вы думаете об этих последних минутах?

— Пустая болтовня. Темный лес, — сказал Гилл. — Мы все время лезем в какие-то дебри.

— А мне очень понравилось, — сказала Ребекка.

— Не-а, забиваем себе головы, вот и все. — Это был Тони.

— Согласен, — откликнулся Стюарт.

— Простите, я не знаю, что со мной такое... — неожиданно сказала Бонни. — Я сейчас взорвусь или закричу или не знаю что... — Она поднялась, схватила сумочку и куртку и решительным шагом вышла из комнаты. Через секунду Гилл подскочил и вылетел за дверь. Наступила

неловкая пауза. Несколько мгновений все прислушивались к удалявшимся шагам. Вскоре Гилл вернулся и доложил:

— В порядке. Сказала, что просит прощения, но сейчас ей нужно побыть одной — хочет выпустить пар. Она все объяснит на следующей неделе.

— Что это еще за фокусы? — возмутилась Ребекка. Вынув очки и ключи от машины, она громко защелкнула сумочку. — Меня просто бесит, когда она выкидывает такие штучки. Кошмар какой-то.

— Есть какие-нибудь мнения? — спросил Джулиус.

— ПМС косит наши ряды... — проворчала Ребекка. Тони заметил, как Филип недоуменно поднял брови, и пояснил:

— ПМС — предменструальный синдром.

Филип кивнул. Тони сложил руки и, подняв вверх оба больших пальца, торжествующе воскликнул:

— Ага, ага, вот и я тебя чему-то научил.

— Нам пора закругляться, — сказал Джулиус, — поэтому я хотел бы дать свою версию того, что произошло сейчас с Бонни. Давайте вспомним список Стюарта. Помните, как Бонни начала встречу? Она говорила про маленькую толстушку, которую никто не любит и которая чувствует себя хуже всех — особенно красивых девочек? Вам не кажется, что именно это и произошло сегодня? Бонни начала встречу, но очень скоро все про нее забыли — ради Ребекки. Короче, то, о чем она хотела сказать, повторилось в мельчайших подробностях — и сделал это не кто-нибудь, а мы с вами, друзья мои.

Глава 18. Пэм в Индии (2)

Его ничто уже больше не может удручать, ничто не волнует, ибо все тысячи нитей хотения, которые связывают нас с миром и в виде алчности, страха, зависти, гнева, влекут нас в непрерывном страдании туда и сюда, — эти нити он обрезал. Спокойно и улыбаясь, оглядывается он на призраки этого мира, которые некогда могли волновать и терзать его душу, но которые теперь для него столь же безразличны, как шахматные фигуры после игры... [\[49\]](#)

Несколько дней спустя Пэм лежала без сна, вглядываясь в ночную темноту. Слава богу, ее аспирантка Марджори заранее договорилась о VIP-апартаментах, и ее разместили в двухместной комнатке в крошечной беседке по соседству с общей женской спальней. К сожалению, стены беседки не спасали от шума, и до Пэм беспрепятственно доносилось сонное дыхание остальных 150 учениц випассаны. Протяжный свист воздуха напомнил ей родительский дом в Балтиморе, где ночью в комнатке под крышей она часто просыпалась под стук оконной рамы под мартовским ветром.

Она быстро привыкла к суровой жизни в ашраме — подъем в четыре, скудный вегетарианский стол раз в сутки, бесконечные многочасовые медитации, молчание, спартанская обстановка, — и только бессонница не давала ей покоя. Механизм засыпания совершенно вылетел у нее из головы. Как она это делала раньше? Нет, нельзя задавать этот вопрос, говорила она себе, потому что засыпание — одна из тех вещей, которые не поддаются сознанию, оно должно происходить само собой. Неожиданно ей в голову пришел поросенок Фредди, гениальный сыщик из детской книжки, о которой Пэм не вспоминала вот уже лет двадцать пять. Однажды к Фредди пришла Сороконожка, которая пожаловалась ему, что не может больше ходить, потому что ноги перестали ее слушаться. Фредди долго думал и, наконец, решил эту задачу: он посоветовал Сороконожке не смотреть на свои ноги — даже не думать о них. Фокус состоял в том, чтобы выключить сознание и позволить телу действовать автоматически. То же и с засыпанием.

Пэм пробовала заснуть с помощью техники, о которой говорилось на занятиях: очистить сознание и позволить мыслям уплыть прочь. Гоенка, смуглый, круглолицый, педантичный, необыкновенно серьезный и важный гуру, начал урок с объяснения: прежде чем освоить ви-пассану, ученик должен научиться успокаивать свое сознание (Пэм приходилось скрипя зубами терпеть это навязчивое присутствие мужского рода: волны феминизма еще не успели докатиться до берегов Индии).

Первые три дня Гоенка учил *анапанасати* - сосредоточению внимания на дыхании. А дни были долгими: если не считать ежедневной лекции и короткой серии вопросов-ответов, единственным развлечением с четырех утра до половины десятого вечера была сидячая медитация. Чтобы достичь полного овладения дыханием, Гоенка советовал ученикам внимательно следить за своими вдохами и выдохами.

— Вслушивайтесь. Вслушивайтесь в звучание своего дыхания, — говорил он. — Следите за продолжительностью и температурой. Обращайте внимание на прохладу вдоха и тепло выдоха. Будьте как часовой на воротах — сконцентрируйте все внимание на ноздрях — в том месте, где воздух входит и выходит. Скоро, — продолжал Гоенка, — ваше дыхание будет становиться все тише и тише, пока вам не покажется, что оно совсем исчезло, но, если вы прислушаетесь к себе, вы почувствуете, каким оно стало легким и нежным. Если вы будете точно следовать моим инструкциям, — говорил он, возводя глаза к потолку, — если будете стараться, практика *анапанасати* успокоит ваше сознание. Вы устраните все препятствия на пути к овладению сознанием: беспокойство, злобу, сомнения, чувственные желания и сонливость. Вы войдете в живое, спокойное и радостное состояние.

Успокоенное сознание — вот ее желанная цель, то, за чем она приехала в Игатпури. Уже несколько недель ее душа была полем боя, где, истерзанная, истекая кровью, Пэм вела неравную битву то с неотвязными мыслями о муже Эрле, то с безумными фантазиями о любовнике Джоне. Эрл был ее гинекологом. Пэм познакомилась с ним семь лет назад, когда решила сделать аборт. Отцу ребенка она тогда ничего не сказала — это была случайная связь, продолжать которую она не собиралась. Эрл оказался необычайно милым и интеллигентным человеком. Он очень профессионально выполнил операцию, а потом проявил неожиданную заботу, дважды позвонив ей домой, чтобы справиться о здоровье. Вот, подумала она тогда, и кто только распространяет слухи о том, что на свете не осталось заботливых и внимательных врачей? Чего только не придумают. А потом, через несколько дней, он позвонил ей в третий раз и

пригласил вместе пообедать. За обедом он как-то ловко и незаметно переквалифицировался из лечащего врача в ухажера, и, когда позвонил в четвертый раз, она, не без тайной радости, согласилась съездить с ним на медицинскую конференцию в Новый Орлеан.

Их знакомство стремительно набирало обороты: никто не мог понять ее так хорошо, не умел так ее поддержать, не знал каждого закоулка ее души и не доставлял ей большего удовольствия в постели, чем Эрл. Но при всех его многочисленных достоинствах — интеллигентный, красивый, обходительный — она (как она теперь начинала понимать) слишком поспешила наделить его героическими чертами. Чрезвычайно польщенная тем, что среди толп экзальтированных девиц, ежедневно осаждавших кабинет Эрла в поисках его целительного прикосновения, именно она оказалась счастливой избранницей, Пэм по уши втрескалась в него и через несколько недель дала согласие на свадьбу.

Вначале их семейная жизнь была сама идиллия, но к середине второго года Пэм неожиданно обнаружила, что выскочила замуж за человека на двадцать пять лет старше себя: Эрл нуждался в отдыхе, его тело было телом шестидесятипятилетнего мужчины, и седина на голове пробивалась вопреки самой стойкой греческой краске для волос. После того как он случайно вывернул запястье, им пришлось отказаться от воскресного тенниса, а после трещины на коленном хряще — и от лыж (Эрл выставил на продажу их домик в Тахо, даже не посоветовавшись с ней). Шила, бывшая соседка по студенческому общежитию и близкая подруга Пэм, с самого начала уговаривала ее не выходить замуж за человека старше себя, а теперь убеждала не поддаваться и не спешить стареть вместе с мужем. Пэм ощутила прилив решительности. Стремительное старение Эрла питалось ее молодостью. Каждый вечер он приползал домой совершенно обессиленным, способным лишь высосать три своих мартини и свалиться перед телевизором.

Но хуже всего было то, что он ничего не читал. Как гладко, как уверенно он когда-то рассуждал о литературе. Как свел ее с ума восторгами по поводу «Миддлмарча» и «Даниэля Деронда» [\[50\]](#). И какой это был удар — узнать, что она обманулась, приняв обертку за содержание: что не только все его литературные ремарки были вызубренными наизусть чужими мыслями, но и список известных ему книг был не просто скуден, но и абсолютно неизменен. Для Пэм это оказалось настоящим потрясением. Как могла она влюбиться в человека, который ничего не читает? Она, чьи самые дорогие и верные друзья жили на страницах Джордж Элиот, Вирджинии Вулф, Айрис Мёрдок, Элизабет Гаскелл и

Антонии Байетт?

Вот тут-то на сцене и появился Джон, рыжий помощник профессора с ее факультета в Беркли, с охапками книг в руках и элегантной длинной шеей с выпирающим кадыком. Хотя преподавателей литературы традиционно относят к самой читающей массе, Пэм на собственном опыте имела возможность убедиться, как редко среди них встречаются смельчаки, отваживающиеся выйти за рамки специальности и пуститься в бурное море литературных новинок. Но Джон читал все. За три года до этого она поддержала его кандидатуру, совершенно очарованная его работами: одна называлась «Шахматы: эстетика жестокости в современной литературе», а другая «Нет, сэр, или Андрогинная героиня в британской литературе конца XIX века».

Семена их дружбы прорастали в известной романтической обстановке академической среды: на общих и факультетских собраниях, на вечеринках преподавательского клуба, на ежемесячных публичных выступлениях очередной литературной знаменитости. Пускали корни и расцветали в совместных испытаниях, таких как общее преподавание литературы XIX века или взаимный обмен лекциями. Их связь крепла и закалялась в пылу сражений на заседаниях ученого совета, в перепалках за учебные часы и битвах за жалованье, в кровопролитных боях за научные звания. Вскоре они настолько привыкли доверять вкусу друг друга, что редко обращались к кому-то еще, если требовался свежий литературный отзыв. Их электронная почта ломилась от глубокомысленных литературных и философских рассуждений. Оба интуитивно сторонились как литературных изысков с их вящей декоративностью, так и неуклюжих умствований, лишенных эстетизма, ничто так не цenia, как ясное совершенство — безупречную форму в сочетании с вечной мудростью. Оба терпеть не могли Фицджеральда и Хемингуэя и обожали Дикинсон и Эмерсона. По мере того как росли стопки обоюдно любимых книг, отношения переходили на все более высокий уровень. Обоих трогали одни и те же места в книгах, оба приходили в восторг от одного и того же — в общем, эти два преподавателя английской литературы влюбились друг в друга.

«Ты бросаешь свою семью, а я — свою». Кто первый это сказал? Ни один точно не помнил, но на втором году совместного преподавания они пришли к этому роковому соглашению. Пэм была готова, но Джон, у которого росли две малолетние дочери, естественно, требовал больше времени на раздумье. Пэм терпеливо ждала: слава богу, ее возлюбленный — не какой-то там низкий негодай и знает, что такое моральные страдания, связанные с нарушением супружеского долга. А Джон действительно

страдал — страдал оттого, что бросает детей и жену, чья единственная вина состояла в том, что за несколько лет семейной жизни она успела наскучить супругу, превратившись из пылкой возлюбленной в серую домашнюю клушу. Снова и снова Джон уверял Пэм, что держит вопрос под контролем, что он «в процессе» и ему нужно лишь немного времени, чтобы собраться с духом и найти подходящий момент, чтобы начать действовать.

Но шли месяцы, а подходящий момент все не наступал. Пэм подозревала, что Джон, подобно многим недовольным супругам, пытается избежать угрызений совести, старался переложить бремя ответственности на жену, добиваясь, чтобы она первая приняла решение о разводе. Он стал к ней холоден, перестал с ней спать и при каждом удобном случае критиковал ее — то вслух, то молча. Короче, знакомая песня: «Я не могу ее бросить, но, клянусь, скоро она сама меня бросит». Однако, как выяснилось, Джон избрал неверную тактику — жена оказалась крепким орешком и на происки мужа поддаваться не желала.

В конце концов, Пэм решила действовать самостоятельно. К этому ее подтолкнула пара телефонных звонков, которые начинались словами: «Дорогуша, думаю, тебе следует знать...» Две пациентки Эрла, делая вид, будто оказывают ей одолжение, предупредили ее о сексуальных домогательствах мужа. А когда через некоторое время подоспела и повестка в суд вместе с новостью, что уже третья пациентка возбуждает против Эрла дело по поводу нарушения профессиональной этики, Пэм возблагодарила свою счастливую звезду за то, что не успела завести детей, и набрала номер своего адвоката.

Мог ли ее поступок подтолкнуть Джона? Пэм в любом случае рассталась бы с мужем, но в неожиданном порыве самоотречения убедила себя, что делает это ради Джона, и принялась бомбардировать его именно этой версией. Однако Джон продолжал тянуть — он все еще не был готов. Наконец, он все-таки отважился на последний шаг. Это случилось в июне, в последний день занятий, после очередной страстной любовной сцены в их привычном будуаре — в кабинете Джона, на расстеленном голубом матрасике, в свободное время хранившемся за письменным столом (в кабинетах преподавателей английской литературы не было диванов: факультетские львы не успевали отбиваться от обвинений в охоте на молоденьких студенток, так что диваны были под строжайшим запретом). Застегнув молнию на штанах, Джон скорбно взглянул на Пэм и сказал:

— Пэм, я люблю тебя, и потому я на это решился. Ты не заслуживаешь такого, и я должен снять с тебя эту тяжесть — с тебя в первую очередь, но и с себя тоже. Я решил, что нам не стоит больше встречаться.

Пэм была убита наповал. Она едва слышала его слова. Несколько дней она ходила, ощущая внутри их свинцовую тяжесть, слишком большую, чтобы переварить, и слишком увесистую, чтобы выплюнуть. Ее разъедали противоречивые чувства — она то ненавидела Джона, то страстно любила и хотела его, то желала ему смерти. В ее голове проносился один сценарий за другим: то Джон с семьей погибает в автомобильной катастрофе, то жена Джона разбивается в самолете и Джон появляется — иногда с детьми, иногда один — на пороге ее дома; то она падает в его объятия; то они вместе рыдают; то она делает вид, что не одна, и захлопывает дверь прямо перед его носом.

За два предыдущих года занятий, индивидуально и в группе, Пэм сделала большие успехи, но здесь психотерапия оказалась совершенно бессильна: она просто не могла противостоять чудовищной силе больного воображения. Джулиус сражался героически. Как ловкий фокусник, он извлекал один прием за другим. Вначале он попросил Пэм следить за собой и отмечать, сколько времени она тратит на мысли о Джоне. Оказалось, двести-триста минут в день. Поразительно. Самое главное, это абсолютно не поддавалось ее контролю — эти навязчивые мысли обладали поистине демонической силой. На следующем этапе Джулиус попытался справиться с этим, систематически сокращая время, которое Пэм тратила на свои фантазии. Когда и эта тактика потерпела поражение, он решил, что клин клином выбивается, и порекомендовал Пэм нарочно каждое утро по часу предаваться самым излюбленным фантазиям о Джоне. Но, хотя Пэм старательно выполняла все инструкции, тяжелые мысли упорно не хотели сдаваться и по-прежнему заполняли ее сознание. Джулиус предложил еще несколько техник: Пэм то несколько дней подряд кричала «нет!» своему сознанию, то шлепала себя резиновым жгутом по запястьям.

Джулиус попытался ей помочь, объясняя глубинный смысл ее состояния:

— Навязчивая идея, — говорил он, — это отвлекающий маневр, она защищает тебя от мыслей о чем-то другом. Что это другое? Если бы не было этих навязчивых мыслей, о чем бы ты думала?

Но и это не помогало.

Тогда группа решительно взялась за дело. Она делилась воспоминаниями о собственных навязчивых состояниях; добровольно дежурила на телефоне, чтобы Пэм могла позвонить в тяжелую минуту; она убеждала ее наполнить жизнь новым смыслом, завести друзей, ни минуты не сидеть без дела, найти мужчину и в конце концов покончить со своим одиноким положением — Тони даже однажды рассмешил ее, предложив

себя в качестве кандидатуры. Ничего не помогало. В борьбе с чудовищной болезнью все эти приемы оказались бестолковы, как детское ружье в охоте на носорога.

Затем произошла случайная встреча с Марджори — аспиранткой с сияющими глазами и новопосвященной випассаны по совместительству, которая пришла к Пэм посоветоваться по поводу своей диссертации. Дело было в том, что Марджори, потеряв интерес к влиянию любовных идей Платона на работы Джуны Барнс, неожиданно увлеклась Ларри, главным героем романа Моэма «Лезвие бритвы», и теперь хотела писать на тему «Истоки восточной религиозной идеи в произведениях Моэма и Гессе». В разговорах с Марджори Пэм неожиданно задела излюбленная фраза Марджори (и Моэма заодно): «успокоение сознания». Эта фраза казалась такой манящей, такой соблазнительной. Чем больше она об этом думала, тем яснее понимала, что именно успокоенное сознание ей и нужно. И поскольку ни индивидуальные занятия, ни группа так и не смогли ей помочь, Пэм решила последовать настоящему совету Марджори: она заказала билет на самолет в Индию и отправилась на другой конец света к Гоенке, главному специалисту по успокоению сознания.

Постепенно жизнь в ашраме действительно начала приносить ей некоторое успокоение: ее мысли все реже возвращались к Джону, но, как выяснилось, бессонница похуже любых навязчивых состояний. Она лежала без сна, прислушиваясь к ночи — либретто храпов, вздохов и свистов под аккомпанемент ритмического сонного дыхания учеников випассаны. Каждые пятнадцать минут ее подбрасывало от пронзительных полицейских свистков, доносившихся с улицы.

Но почему она не могла заснуть? Наверняка это из-за ежедневных двенадцатичасовых медитаций. Из-за чего еще? Но ведь сто пятьдесят остальных учеников спокойно пребывали в объятьях Морфея. Если бы она могла задать этот вопрос Виджаю. Однажды, когда она украдкой высматривала его в комнате для медитаций, Манил, помощник Гоенки, расхаживавший взад и вперед по рядам, ткнул ее бамбуковой палкой и приказал: «Смотри в себя, никуда больше». А когда она увидела наконец Виджая в дальнем конце мужской части комнаты, он показался ей совершенно отрешенным. Он сидел в позе лотоса, неподвижно, как Будда. Должно быть, он тоже ее заметил: из трехсот человек она одна сидела на стуле. Этот стул казался ей унижительным, но от многих часов сидения у нее так разболелась спина, что ей ничего не оставалось делать, как попросить Манила позволить ей это послабление.

Манил, высокий и стройный индеец, изо всех сил старавшийся

изображать невозмутимость, был явно недоволен ее просьбой. Не сводя глаз с какой-то точки на горизонте, он сказал:

— Спина? Что такое ты делала в прошлых жизнях, что у тебя болит спина?

Вот так сюрприз. Ответ Манила в одну секунду опроверг все клятвенные заверения Гоенки о том, что его метод не имеет никакого отношения к религии. Пэм уже научилась видеть зияющую пропасть, разделяющую нетеистические воззрения истинного буддизма и суеверные взгляды толпы. Даже помощник учителя не преодолел стремления к магии, тайнам и власти.

Однажды она заметила Виджая за завтраком в одиннадцать утра и, пробившись сквозь толпу, под села к нему. Она услышала, как он глубоко вдохнул, будто пытался вобрать ее аромат; но он так и не взглянул на нее и не проговорил ни слова. Здесь вообще никто не говорил: Гоенка требовал, чтобы закон возвышенного молчания соблюдался превыше всего.

На третье утро приключился нелепый эпизод, несколько разнообразивший монотонное течение дня. Во время медитации кто-то громко пустил газы, и двое учеников хихикнули. Их хихиканье было таким заразительным, что вскоре уже несколько человек катались по полу, не в силах сдержать смех. Гоенка недовольно поджал губы и через несколько секунд в сопровождении жены величественно выплыл из комнаты. Вскоре появился один из его помощников и строго объявил, что учитель оскорблен и отказывается продолжать занятия, пока нарушители не покинут ашрам. Провинившиеся собрали вещи и вышли из зала, но медитация еще несколько часов не могла войти в привычное русло, поскольку изгнанники то и дело заглядывали в окна и громко ухали совой.

Больше о происшедшем не было сказано ни слова, но Пэм подозревала, что ночью в ашраме была произведена чистка: на следующее утро сидячих будд в комнате заметно убавилось.

Беседовать разрешалось только в середине дня, когда ученики могли задавать вопросы помощникам учителя. На четвертый день Пэм спросила Манила про свою бессонницу.

— Тебе не надо об этом заботиться, — ответил он, глядя куда-то мимо нее, — тело само знает, сколько ему спать.

— Хорошо, — не унималась Пэм, — тогда не могли бы вы сказать, почему полицейские свистят у меня под окнами всю ночь?

— Забудь про это. Думай только об *ананасати*. Просто следи за дыханием. Когда ты полностью на этом сконцентрируешься, такие пустяки больше не будут тебя волновать.

Пэм так наскучила дыхательная медитация, что она не знала, как выдержит эти десять дней. Кроме медитаций, единственным развлечением в ашраме были еженочные усыпляющие проповеди Гоенки, который, сидя в ослепительно белых одеждах, пытался поразить слушателей своим красноречием, что редко удавалось из-за откровенного доктринерства, которое упорно лезло наружу. Его лекции состояли из скучнейших повторяющихся длиннот, в которых он на все лады расписывал достоинства випассаны — техники, которая, будучи исполняема по всем правилам, ведет к душевному оздоровлению, просветлению, спокойной и гармоничной жизни, искоренению психосоматических расстройств и устранению трех главных причин страданий: желания, отвращения и невежества. Регулярная практика випассаны, в его изложении, была подобна регулярной работе в саду, во время которой ученик методически выдергивает из головы сорняки нечистых мыслей. Мало того, повторял Гоенка, випассана как универсальная техника дает преимущества в повседневной жизни: в то время как остальные бесцельно тратят время, поджидая, к примеру, автобуса на остановке, практикующий випассану может с пользой провести несколько минут, выдернув еще несколько сорняков из своего сознания.

Випассана изобиловала правилами, которые на первый взгляд казались вполне понятными и разумными. *Но их было слишком много.* Не красть, не убивать живых существ, не врать, не заниматься любовью, не принимать наркотиков, не писать, не конспектировать, никаких плотских развлечений, ручек, карандашей, никакого чтения, музыки, радио, телефонов, пышных перин, никаких украшений на теле, нескромных одежд, никакой еды после полудня — исключение делалось только для новичков, которым в пять вечера были позволены чай и фрукты. Наконец, ученикам запрещалось просить учителя о советах и помощи, они должны были соблюдать дисциплину и медитировать так, как им было сказано. Только при таком послушании, говорил Гоенка, ученик может рассчитывать достичь просветления.

В душе Пэм, как могла, оправдывала его: в конце концов, это самоотверженный человек, всю свою жизнь посвятивший пропаганде випассаны. Естественно, он был продуктом своей культуры. А кто из нас иной? Сколько веков Индия страдала под тяжестью религиозных доктрин и жесткой сословности. Кроме того, ей нравился великолепный голос Гоенки. Каждую ночь она как замороженная слушала, как он зычно и протяжно распевает на древнем пали священные буддистские тексты. Они действовали на нее, как раннехристианские песнопения, в особенности

византийские литургии, или же канторы в синагогах. Несколько лет назад она была в турецкой деревушке, и ее поразил чарующий голос муэдзина, по пять раз в день созывавшего народ на молитву.

Хотя Пэм старалась, как могла, первые дни ей никак не удавалось подолгу следить за дыханием; не проходило и пятнадцати минут, как она вновь возвращалась к привычным мыслям о Джоне. Однако через несколько дней все начало меняться. Фантастические сценарии, преследовавшие ее прежде, начали сливаться в одну картинку: откуда-то — то ли по телевизору, то ли по радио, то ли из газет — она узнает, что семья Джона погибла в авиакатастрофе. Снова и снова она видела перед собой эту картинку. Пэм от нее уже тошнило. Но она продолжала проигрывать этот сценарий.

По мере того как накапливались усталость и скука, Пэм неожиданно начала ощущать странный интерес к хозяйственным делам. В первый свой день, регистрируясь в офисе (и тогда же, к своему удивлению, узнала, что за десять дней в ашраме ей не придется заплатить ни цента), она заметила маленькие пакетики стирального порошка в местном ларьке. На третий день она купила один пакетик и после этого проводила все свободное время, стирая и перестирывая свое белье и развешивая его на веревке за общежитием (это была первая бельевая веревка, которую она видела со времен своего детства). Каждый час она выходила проверить, как идет сушка. Какой бюстгальтер или трусы показывают лучший результат? Сколько часов ночной сушки равны одному часу дневной? Сушка в тени против сушки на солнце? Выжатое белье против невыжатого?

На четвертый день произошло долгожданное событие: Гоенка начал учить випассане. Техника оказалась простой и незатейливой: ученик должен был начать медитировать, сначала думая о коже головы, пока не произойдет «нечто» — почесывание, пощипывание, жжение или ощущение легкого дуновения ветерка на коже.

Как только это «нечто» произошло, ученику остается только наблюдать за ним, и ничего больше. Концентрация на ощущении. Какое оно? Куда оно следует? Сколько длится? Как только оно исчезнет (а это рано или поздно случается), медитирующий должен мысленно переместиться на следующий участок тела — лицо и ждать появления ощущения — щекотания в носу или почесывания века. После того как оно появится, станет нарастать и вновь спадет, ученик переходит к шее, плечам, и так далее, пока все части тела вплоть до подошв ног не будут исследованы, и тогда следует двигаться в обратном порядке — к голове.

Вечерние проповеди Гоенки предлагали разумное объяснение этой

технике. Основная идея лежала в *анитья* - невечности, непостоянстве. Как только человек полностью осознает временность любых физических раздражителей, для него не составит большого труда перенести этот принцип на жизнь со всеми ее радостями и тревогами; все когда-нибудь проходит, и обрести спокойствие можно, только став наблюдателем, невозмутимо взирающим на мимолетное течение жизни.

Через пару дней випассаны занятия перестали казаться Пэм такими утомительными, она быстро набиралась опыта, и ей требовалось все меньше времени на то, чтобы сосредоточиться на своих ощущениях. На седьмой день, к ее изумлению, процесс вообще перешел в автоматический режим, и она «полетела» — именно так, как предсказывал Гоенка. Как будто ей опрокидывали на голову горшок с медом и он тягуче приятно струился по телу к ее ногам. Она ощущала во всем теле какой-то волнующий, почти возбуждающий гуд, похожий на приглушенное жужжание шмелей, который медленно обволакивал ее, по мере того как мед стекал к ее ногам. Часы пролетали незаметно. Вскоре она отказалась от стула и присоединилась к тремстам остальных последователей Гоенки, восседающим в позе лотоса у ног учителя.

Следующие два дня «полета» были удивительно похожи друг на друга и промелькнули очень быстро. Девятую ночь она вновь лежала без сна: ей по-прежнему не удавалось заснуть, но теперь она об этом не беспокоилась: ей удалось узнать от одной из помощниц Гоенки, женщины-бирманки (она отказалась от надежды добиться правды у Манила), что бессонница во время випассаны очень распространенное явление, возможно, связанное с тем, что продолжительные медитации резко сокращают потребность в сне. Та же бирманка прояснила ей и загадку ночных свистков: оказалось, что ночные сторожа в южной Индии, обходя территорию, время от времени подают сигналы, чтобы отпугивать воришек — что-то вроде красного огонька на панели автомобиля, предупреждающего о включенной сигнализации.

Иногда мы замечаем свои навязчивые мысли, лишь когда они исчезнут; именно это и открыла Пэм, однажды с удивлением обнаружив, что вот уже два дня не думает о Джоне. Джон испарился. Бесконечная вереница фантазий растворилась в воздухе, уступив место сладкому, медовому жужжанию «полета». Как странно было вновь ощущать себя хозяйкой собственного сознания, которое, подчиняясь ее желаниям, могло теперь вновь наполнять ее тело счастливыми эндорфинами. Теперь она понимала, почему люди «подсаживаются» на медитации, посвящая месяцы, а иногда годы, уединенным размышлениям.

Однако даже теперь, когда ее сознание очистилось, она почему-то не особо радовалась. Напротив, какая-то мрачная тень преследовала ее, смутное чувство, как-то связанное с удовольствием «полета», не давало ей насладиться победой. Однажды, размышляя над этой загадкой, она не заметила, как провалилась в легкую, призрачную дремоту и через короткое время вновь очнулась от странного сна, который молнией промелькнул в ее мозгу: это была звезда на коротеньких ножках, в цилиндре, с тростью, которая отбивала чечетку на подмостках ее сознания. Танцующая звезда. Она знала, что означал этот сон: из всех афоризмов они с Джоном больше всего любили фразу Ницше из «Заратустры»: «Нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду» [\[51\]](#).

Ну, конечно же. Теперь она поняла, почему випассана вызывала у нее такое недоверие. Гоенка выполнил свое обещание: он дал ей то, что она хотела, — невозмутимость, спокойствие, или, как он сам любил говорить, равновесие. Но какой ценой? Если бы Шекспир практиковал випассану, разве появился бы на свет «Король Лир»? А другие шедевры западной культуры? Ей в голову пришло двестише Чапмена:

Перо для вечности трудиться не захочет,
Коль не опущено оно в волненья ночи.

Опущено в волненья ночи - вот в чем загадка истинного творчества. Погрузиться в пучину ночи, овладеть ее мрачными тайнами ради высокого озарения. Как еще могли бы величайшие певцы ночи — Кафка, Достоевский, Вирджиния Вулф, Гарди, Камю, Плат, По — осветить великую трагедию человеческого бытия? Уж конечно, не отстранившись от жизни и невозмутимо наблюдая, как она проходит мимо.

Хотя Гоенка и бил себя в грудь, заявляя, что его учение не имеет отношения к религии, буддизм все равно лез из всех щелей. В своих еженедельных «рекламных акциях» Гоенка никогда не мог удержаться от того, чтобы не назвать випассану излюбленным методом Будды, который он, Гоенка, только заново открывает миру. Пэм ничего не имела против: она мало что знала о буддизме, но в самолете ей попала на глаза брошюрка, которая поразила ее своей удивительной силой. В брошюрке излагались четыре благородные истины Будды:

1. Жизнь есть страдание.
2. Страдание имеет свою причину в привязанностях (к вещам, идеям, другим людям, к самой жизни).
3. Страдание можно устранить: надо прекратить испытывать желания, отказаться от привязанностей, от самого себя.
4. Есть особый путь, ведущий к освобождению от страданий:

восьмеричный путь к просветлению.

Однако теперь она задумалась об этом иначе. Озираясь и видя отрешенные лица учеников, бесстрастных помощников, изможденных аскетов, ютящихся в пещерах на склонах гор, с головой ушедших в «полет» випассаны, она задавала себе вопрос: так ли уж истинны эти четыре истины? Может, Будда что-то не так понял? Не оказалось ли лекарство хуже болезни? Однажды на рассвете, наблюдая за группой женщин-джайнисток, направлявшихся на купание, она ощутила новый прилив сомнений. Джайнизм довел принцип «не убий» до абсурда: женщины двигались еле-еле, как-то по-рачьи, то и дело сметая что-то невидимое с дорожки, прежде чем сделать следующий шаг, — чтобы, не дай бог, не раздавить насекомое. Непонятно, как они вообще умудрялись дышать: их лица были стянуты марлевыми повязками, предохранявшими от случайного вдыхания невидимых микроорганизмов.

Куда она ни обращала взор, всюду были только самоотречение, жертвенность, самоограничение — одним словом, *memento mori*. Что случилось с этой жизнью? С ее радостью, желаньями, страстями, удовольствиями?

Разве жизнь так нестерпима и мучительна, что ею надо жертвовать ради спокойствия? Может быть, четыре благородные истины были верны только для своего времени? Верны 2500 лет назад в стране, изнывавшей от бедности, перенаселения, голода, болезней, несправедливостей, когда у людей не было никаких надежд на лучшее? Но так ли уж истинны они сейчас? Может, прав был Маркс и все религии, сулящие нам спасение в загробной жизни, — удел лишь бедных, больных и рабов?

Постой-постой, говорила себе Пэм (после нескольких дней возвышенного молчания она очень хорошо научилась вести беседы с самой собой), где же твоя благодарность? Нужно отдать должное: випассана помогла тебе, она успокоила твое сознание, с корнем вырвала твои навязчивые идеи. Разве она не достигла цели там, где твои собственные усилия, усилия Джулиуса и всей группы с позором провалились? Может, да, а может, и нет, отвечала она себе. Может быть, сравнение здесь вообще неуместно. В конце концов Джулиус потратил на это около восьми групповых занятий — в целом двенадцать часов, — в то время как випассана потребовала от тебя сотни — десять полных суток плюс время и силы, чтобы преодолеть расстояние в тысячи километров. Интересно, что случилось бы, если бы Джулиус с группой поработали с ней столько же времени?

Нараставшие сомнения уже мешали ей медитировать. «Полет»

закончился. Куда оно делось, это сладкое, медоточивое жужжание, доставлявшее ей такое наслаждение? День ото дня ее медитации становились все хуже и хуже. В конце концов, дошло до того, что випассана застопорилась в области макушки и упорно отказывалась направляться дальше. Слабые сигналы, такие летучие прежде, теперь упорно топтались на месте, с каждой секундой становясь все назойливее: легкое почесывание перерастало в булавочные уколы, а те в неприятное жжение, от которого никакая медитация не помогала ей избавиться.

Теперь даже *анапанасати* не давалась ей. Хрупкая запруда спокойствия, выстроенная с таким трудом долгими часами дыхательной медитации, прорвалась, и в брешь хлынул мятежный поток прежних мыслей — о муже, о Джоне, о мести и авиакатастрофах. Ну что ж, пусть себе льются, говорила она. Теперь она видела, кто из них чего стоит. Эрл — этот престарелый сосунок, чмокающий пухлыми губками в поисках случайных удовольствий. Джон — изнеженный, малодушный слабак, так и не усвоивший истину, что не бывает «да» без «нет». Виджай тоже хорош. Решил пожертвовать всем — своей жизнью, новыми знакомствами, дружбой — ради своего великого Бога, Спокойствия. Пропадите вы пропадом, думала Пэм. *Трусы*. Моральные трусы. Ни один из них ее не заслуживает. Уж она-то с ними разделается. Да, она знает, что нужно делать: вот они где, голубчики — Джон, Эрл, Виджай, — все в гигантском унитазе, подняли руки, умоляют сжалиться, визжат о помощи, но нет — она уже дернула ручку, и их крики тонут в реве слива. Вот он — образ, достойный медитации.

Глава 19

Но цветок ответил: «Ты — дурак. Неужели ты думаешь, что я цвету для того, чтобы на меня смотрели? Я цвету для самого себя, а не для других, ибо мне это нравится: моя радость, мое наслаждение в том, что я цвету и живу» [\[52\]](#).

На следующем занятии Бонни начала с извинений:

— Простите меня за то, что я выкинула на прошлой неделе. Я не должна была так уходить, но... я не знаю... я ничего не могла сделать.

— Жареный петух клюнул... — ухмыльнулся Тони.

— Очень смешно, Тони. Ну, хорошо, я знаю, чего ты добиваешься: я сделала так, потому что разозлилась. Доволен?

Тони улыбнулся и показал ей большой палец. Мягко, как всегда, когда он обращался к женщинам, Гилл сказал Бонни:

— Когда ты убежала, Джулиус сказал нам, что мы сами виноваты — никто не обращал на тебя внимания. Мы повторили то, что происходило с тобой в детстве.

— Похоже на то. Только я не разозлилась — меня задело - вот так будет точнее.

— Нет, разозлилась, — возразила Ребекка. — И разозлилась на меня.

Мгновенно помрачнев, Бонни повернулась к Ребекке:

— В прошлый раз ты сказала, что Филип правильно объяснил, почему у тебя никогда не было подруг. Но меня на это не купишь. То, что все завидуют твоей красоте, — еще не повод, чтобы у тебя не было подруг, — по крайней мере, для меня не повод. Настоящая причина в том, что тебя не интересуют женщины; во всяком случае, я — точно. Всякий раз, когда ты обращаешься ко мне, ты делаешь это только для того, чтобы обратить внимание на себя.

— Я говорю, как ты справляешься — или чаще *не справляешься* - со своей злостью, и меня же обвиняют в том, что я думаю только о себе, — ошетинилась Ребекка. — Ты хочешь или ты не хочешь знать мнение остальных? Мы разве не для этого здесь собираемся?

— Чего я хочу? Я хочу, чтобы ты высказывала свое мнение обо мне или обо мне и ком-то еще, но это всегда о тебе, Ребекка. Или о тебе и обо

мне. Но ты такая красавица, что разговор всегда уходит от меня и снова возвращается к тебе. Я не могу соперничать с тобой. Но здесь не только твоя вина — вы все ей подыгрываете, так что я хочу задать вам один вопрос. — Бонни быстро обвела взглядом всех присутствующих: — Почему никто и никогда не интересуется мной? — Мужчины все как один опустили глаза. Не дожидаясь ответа, Бонни продолжила: — И еще одно, Ребекка, то, что я сейчас сказала про твоих подруг, вовсе не новость. Я как сейчас помню, когда Пэм была здесь, вы много раз об этом говорили. — Бонни повернулась к Джулиусу: — Кстати, о Пэм — я как раз хотела спросить, какие новости? Когда она приезжает? Я очень по ней скучаю.

— Резкий поворот, — усмехнулся Джулиус. — Бонни, ты мастер быстрой смены тем. Но сейчас не буду задерживаться на этом и сначала отвечу на твой вопрос про Пэм — я как раз собирался вам сказать, что получил письмо из Бомбея. Пэм пишет, что ее курс подошел к концу и она скоро возвращается в Штаты. Она должна быть здесь на следующем занятии. — Джулиус повернулся к Филипу: — Я, кажется, говорил тебе про Пэм?

Филип ответил кратким кивком.

— Филип, а ты мастер по быстрым кивкам, — заметил Тони. — Как ты можешь вот так сидеть, глядеть в потолок и не говорить ни слова. Только посмотри, что здесь творится. Бонни с Ребеккой грызутся из-за тебя. Что ты там думаешь? Может, скажешь свое мнение о группе?

Так и не дождавшись ответа от Филипа, Тони сконфуженно поерзал в кресле. Он обвел глазами группу:

— Черт побери, что все это значит? Я что, какую-то глупость сморозил? Я чувствую себя, как идиот, который смердит во время проповеди. Я только задал ему вопрос, который тут все друг другу задают.

После некоторого молчания Филип сказал:

— Ты все сделал правильно, просто мне нужно было время, чтобы подумать. И вот что я скажу. И Бонни, и Ребекка — обе страдают по одной и той же причине: Бонни мучается оттого, что ее не замечают, а Ребекка — что ее *перестали* замечать. Обе зависят от мнения окружающих. Иными словами, счастье обеих находится в руках и в головах *других* людей. И для обеих есть только один выход: *чем больше человек имеет внутри себя, тем меньше он ждет от остальных.*

В наступившей тишине, казалось, было слышно, как закипели мозги, пытаясь переварить реплику Филипа.

— Похоже, никто пока не готов ответить Филипу, — сказал Джулиус, — так что позвольте мне исправить ошибку, которую я допустил пару

минут назад. Бонни, мне не следовало идти у тебя на поводу и отвечать на твой вопрос про Пэм — не хочу, чтобы вышло, как на прошлой неделе, когда мы все тебя оставили. Несколько минут назад ты спросила, почему никто не обращает на тебя внимания, и я подумал, что с твоей стороны это был очень смелый шаг. Но давай посмотрим, что произошло потом? Ты в одно мгновение переключаешься на Пэм, и — престо — твой вопрос тонет, растворяется, будто его и не было.

— Я тоже это заметил, — отозвался Стюарт. — Похоже, Бонни, ты нарочно заставляешь нас забыть про себя.

— Хорошее замечание. — Бонни кивнула. — Очень хорошее. Может, так и есть. Я обязательно подумаю об этом дома.

Но Джулиус не собирался отступить:

— Я ценю твой ответ, Бонни, но у меня такое чувство, что сейчас ты опять сделала то же самое. Разве то, что ты сказала, не означало на самом деле: «Все, спасибо, а теперь хватит обращать на меня внимание»? Похоже, мне придется завести специальный колокольчик под названием «Бонни» и звонить в него каждый раз, когда ты попытаешься переключить внимание на кого-то другого.

— Так что же мне делать? — спросила Бонни.

— Попробуй объяснить: почему ты не хочешь, чтобы другие обращали на тебя внимание? — предложил Джулиус.

— Мне кажется, я не стою этого.

— Но остальные имеют на это право?

— Да, конечно.

— Значит, остальные важнее, чем ты? Бонни кивнула.

— Хорошо, Бонни, давай попробуем так, — продолжал Джулиус. — Посмотри на каждого в отдельности и ответь на такой вопрос: *кто именно из группы важнее тебя и почему?* - Про себя Джулиус довольно улыбнулся: здесь он был в своей стихии. В первый раз за последнее время — с тех самых пор, как в группу пришел Филип, — он точно знал, что нужно делать. Сейчас он поступил именно так, как должен был поступить хороший психотерапевт: он перевел основную проблему пациента в плоскость «здесь и сейчас» и приготовился ее исследовать. Всегда полезнее сосредоточиться на «здесь и сейчас», чем пробираться сквозь дебри прошлого или искать причины вовне.

Поочередно взглянув на каждого, Бонни сказала:

— *Все здесь важнее меня — гораздо важнее.* — Лицо ее горело, она часто дышала, видно было, что чем больше ей хотелось обратить на себя внимание, тем скорее она готова была провалиться сквозь землю.

— Давай конкретно, Бонни, — настаивал Джулиус. — Кто именно важнее тебя? И почему?

Бонни огляделась вокруг:

— Все здесь. Ты, Джулиус, — ты всем помогаешь. Ребекка — вообще вся из себя. К тому же она успешный юрист, прекрасные дети. Гилл — финансовый директор крупной больницы и вообще красавец-мужчина. Стюарт... Стюарт отличный доктор, помогает детям, помогает пациентам, у него на лице написано, что у него все отлично. Тони... — Бонни помедлила секунду.

— Так-так. Любопытно. — Тони, как всегда, в джинсах, черной футболке и кедах, забрызганных краской, довольно откинулся в кресле.

— Во-первых, Тони, ты это ты — никакой позы, никакой игры, стопроцентная искренность. Конечно, ты поливаешь грязью себя и свою работу, но я-то знаю, что ты не обычный плотник, ты настоящий художник — я видела твой шикарный «БМВ», на котором ты рассекаешь по городу. И, конечно, ты тоже красавчик — мне очень нравится, когда ты носишь футболку в обтяжку. Ну как для начала? — Бонни обвела глазами присутствующих. — Кто еще остался? Филип? Интеллектуал. Знает все на свете, преподает в университете, готовится стать терапевтом, то, что он говорит, всех приводит в восторг. Ну, и Пэм? Пэм просто чудо. Преподает в университете, ни от кого не зависит, всегда в центре внимания, всюду была, все знает, все читала — любого за пояс заткнет.

— Реакции? Что скажете — каждый — на объяснение Бонни? — Джулиус посмотрел на сидящих.

— Я что-то ничего не понял, — сказал Гилл.

— Ты не мог бы сказать это прямо ей? — поправил Джулиус.

— Извини, но я хотел сказать — не в обиду, конечно, — Бонни, твой ответ пахнет регрессом...

— Регрессом? — Бонни недоуменно нахмурила брови.

— Ну, понимаешь, наша группа — мы все здесь потому, что мы — люди, которые пытаются относиться друг к другу по-человечески, а не сравнивать свои роли в жизни, свое положение, капиталы или шикарные «БМВ».

— Аминь, — сказал Джулиус.

— Аминь, — поддержал Тони и добавил: — Я согласен с Гиллом, и, кстати — так, к сведению собравшихся, — «БМВ» я купил подержанный, и мне еще три года за него корпеть.

— К тому же, Бонни, — продолжал Гилл, — все, что ты сказала, касается только внешних вещей — профессия, деньги, хорошие дети.

Ничего из этого не объясняет, почему ты менее важна, чем остальные. Я лично считаю тебя очень важной. Ты основная в этой группе, ты отлично со всеми ладишь, ты доброжелательная, внимательная, ты даже пригласила меня к себе пару недель назад, когда я не хотел идти домой. Ты следишь за тем, чтобы мы не отвлекались, отлично работаешь.

Но Бонни стояла на своем:

— Я для вас только обуза. Мои родители были алкоголиками, я всю жизнь их стыдилась, мне все время приходилось врать про свою семью. То, что я пригласила тебя к себе, Гилл, было для меня настоящим событием — в детстве я никогда не приглашала друзей, потому что боялась, что отец заявится пьяным. Мой бывший муж пьяница, моя дочь сидит на героине...

— Ты уходишь от ответа, Бонни, — сказал Джулиус. — Ты говоришь о своем прошлом, о дочери, о своем бывшем муже, о родителях... а *ты*, где ты сама?

— Я и есть все это, вместе взятое, чем еще я могу быть? Я скучная толстушка-библиотекарша, которая только и знает, что рыться в каталогах... я... я не понимаю, о чем ты говоришь. Не знаю, где я и кто я. — Бонни заплакала. Вытащив носовой платок, она громко высморкалась, закрыла глаза и, взмахивая руками и всхлипывая, забормотала: — Все, больше не могу, на сегодня хватит.

Джулиус решил сменить подход и обратился к группе:

— Давайте посмотрим, что случилось за последние несколько минут. Есть мнения или наблюдения? — Переключив внимание на «здесь и сейчас», он перешел к следующему этапу. В работе психотерапевта, считал он, существовало две фазы: первая состояла в общении — часто эмоциональном, и вторая — в осмыслении этого общения. Именно так и должна работать психотерапия: в последовательном чередовании эмоций и осмысления. Теперь ему предстояло перевести группу в следующую фазу, поэтому он сказал: — Давайте немного отступим назад и спокойно взглянем на то, что сейчас произошло.

Стюарт уже открыл было рот, но Ребекка его перебила:

— Сначала Бонни пыталась сказать, почему она менее важна, чем остальные, и надеялась, что мы с ней согласимся. Потом она сбилась и заревела, а потом сказала, что с нее хватит и она больше не может, — в общем, все это я уже видела тысячу раз.

Тони добавил:

— Мне тоже так кажется. По-моему, Бонни, ты слишком нервничаешь, когда разговор заходит о тебе. Тебя что, смущает, когда все обращают на тебя внимание?

Все еще всхлипывая, Бонни ответила:

— Я неблагодарная. Только посмотрите, что я тут развела. Никто из вас не стал бы так по-идиотски тратить время.

— На днях, — вмешался Джулиус, — я разговаривал с одним коллегой, и он мне рассказал про свою пациентку, которая имеет обыкновение собирать все шпильки, которые кто-то отпустил в ее сторону, и потом нарочно тыкать ими в себя. Может, это и не имеет отношения к тебе, Бонни, но я вспомнил это, когда увидел, как ты казнишь себя ни за что.

— Я знаю, что действую всем на нервы. Похоже, я так и не научилась работать в группе.

— Ты же прекрасно знаешь, что я на это отвечу, Бонни. Кому конкретно ты действуешь на нервы? Посмотри внимательно вокруг. — Не было случая, чтобы Джулиус упустил возможность задать этот вопрос, и группа слишком хорошо это знала: едва кто-то заикался о чем-то в этом роде, Джулиус, словно коршун, бросался на него, требуя конкретных имен и объяснений.

— Ну, мне кажется, Ребекка хотела бы, чтобы я замолчала.

— Что?... Почему обязательно я...

— Подожди-подожди, Ребекка. — Сегодня Джулиус был непривычно настойчив. — Продолжай, Бонни, так что тебе показалось? Что ты заметила?

— Про Ребекку? Ну, она все время молчала, не сказала ни слова.

— И так нехорошо, и так не слава богу. Тебе не угодить. Я уж стараюсь сидеть тихо, чтобы ты опять не обвинила меня в том, что я перевожу внимание на себя. Так тебя тоже не устраивает?

Бонни уже собиралась ответить, но Джулиус снова попросил ее продолжить список тех, кому она, по ее мнению, действует на нервы.

— Не могу сказать ничего конкретного, но всегда видно, если людям что-то надоело. Я сама себе надоела. Филип ни разу на меня не посмотрел — правда, он ни на кого не смотрит. Я знаю, все хотели бы послушать, что скажет Филип. То, что он говорил про внимание окружающих, было всем интересно, а я со своим нытьем всем надоела.

— Неправда, лично мне ты совсем не надоела, — отозвался Тони, — и мне не кажется, что ты кому-то надоела вообще. А то, что говорит Филип, как раз не так уж и интересно: он занят только самим собой, так что меня лично не слишком волнуют его замечания. Я даже не помню, что он там говорил.

— Зато я помню, — возразил Стюарт. — Ты сказал, что Филип всегда в

центре внимания, хотя и говорит мало, а он сказал, что у Бонни с Ребеккой одна и та же проблема: обе слишком заботятся о мнении остальных, Ребекка чересчур надувается, а Бонни сдувается — что-то в этом роде.

— Щелк-щелк-щелк. — Тони изобразил, будто держит фотоаппарат и делает снимки.

— Ладно-ладно, поймал. Знаю. Меньше наблюдений — больше замечаний. Хорошо, я согласен, что Филип вроде основной, хотя и говорит очень мало. И все время чувствуешь, что идешь против течения, когда возражаешь ему.

— Это наблюдение и мнение, Стюарт, — заметил Джулиус. — А теперь перейди к чувствам.

— Ну, мне кажется, я немного ревную Ребекку к Филипу. И еще мне кажется странным, что никто до сих пор не спросил Филипа, что он думает по этому поводу — хотя это не совсем чувство, да?

— Близко, — ответил Джулиус. — Двоюродный братец чувства. Продолжай.

— Я побаиваюсь Филипа — он такой умный. И еще мне кажется, он не обращает на меня внимания. Мне не нравится, когда на меня не обращают внимания.

— Вот это в яблочко, Стюарт. Ты делаешь успехи, — сказал Джулиус. — Ну, так какие у тебя вопросы к Филипу? — Джулиус изо всех сил старался сохранять вежливый и невозмутимый тон: сейчас ему нужно было, чтобы группа признала Филипа, а не давила и не отстранялась от него под предлогом, что он ведет себя как-то странно. Вот почему он ввел в игру податливого Стюарта вместо агрессивного Тони.

— Да, сейчас... Только Филипу трудно задавать вопросы.

— Он прямо перед тобой, Стюарт. — Это было еще одно важное правило: никогда не позволяй участникам говорить друг про друга в третьем лице.

— В этом-то все и дело. Трудно говорить вот так... — Стюарт повернулся к Филипу: — Я говорю, Филип, трудно говорить с тобой, потому что ты никогда не смотришь на меня. Вот как сейчас. Почему ты не смотришь на меня?

— Я предпочитаю советоваться только с самим собой, — не сводя глаз с потолка, ответил Филип.

Джулиус приготовился в любой момент прийти на помощь Стюарту, но тот пока держался молодцом:

— Не понял.

— Когда ты что-то спрашиваешь у меня, я хочу найти ответ внутри

себя и при этом ни на что не отвлекаться, чтобы ответить тебе наилучшим образом.

— Но когда ты не смотришь на меня, мне кажется, что между нами нет контакта.

— Но ведь мои слова говорят об обратном.

— А как насчет «и говорю и слушаю»? — вмешался Тони.

— В каком смысле? — Филип удивленно повернул к нему голову — но взгляда от потолка не оторвал.

— В смысле делать и то и другое — и смотреть, и давать ответы?

— Я предпочитаю советоваться с самим собой. Когда я встречаюсь с чужим взглядом, это отвлекает меня от поиска ответа, который, возможно, кому-то нужен.

Все замолчали, обдумывая ответ Филипа. Через некоторое время Стюарт снова заговорил:

— Хорошо, тогда позволь мне спросить тебя, Филип, — все эти разговоры о том, что Ребекка красуется перед тобой, — что ты об этом думаешь?

— Знаешь что, Стюарт. — Глаза Ребекки полыхнули огнем. — Мне это начинает надоедать. Сначала Бонни придумывает какую-то чушь, а теперь все повторяют за ней, как заведенные.

Но Стюарта не так-то легко было сбить с толку:

— Хорошо, хорошо. Заменяю вопрос. Филип, что ты чувствовал, когда мы спорили по поводу тебя на прошлом занятии?

— Этот разговор был очень любопытным, и я слушал его внимательно. — Филип взглянул на Стюарта и продолжил: — Но он не вызывает во мне никаких чувств, если ты об этом хотел спросить.

— Никаких? Прости, но это невозможно, — ответил Стюарт.

— До того как прийти в группу, я прочел книгу Джулиуса о групповой терапии и был достаточно подготовлен к тому, что обычно происходит на занятиях. Я заранее предвидел, что вызову всеобщее любопытство, и что кто-то будет рад моему приходу, а кто-то нет, и что привычная иерархия будет потревожена моим приходом, и что женщины, возможно, будут относиться ко мне с симпатией, а мужчины наоборот, и что лидеры воспримут меня в штыки, в то время как менее влиятельные фигуры встанут на мою сторону. Поскольку я был к этому готов, я спокойно следил за происходящим.

Теперь пришел черед Стюарта потерять дар речи, и он, как и Тони, погрузился в тягостное молчание.

— Я разрываюсь между двумя желаниями, — сказал Джулиус. Выждав

несколько секунд, он продолжил: — С одной стороны, нам очень важно продолжить обсуждение с Филипом, а с другой — меня волнует Ребекка. Ау, Ребекка, где ты? Ты выглядишь очень несчастной, я вижу, ты хочешь что-то сказать.

— Я чувствую себя немного не у дел сегодня, все меня позабыли-позабросили — Бонни, Стюарт.

— Продолжай.

— На меня здесь много вылили грязи — что я эгоистка, что не хочу иметь подруг, кокетничаю с Филипом. Все это противно. И я с этим не согласна.

— Я знаю, что ты сейчас чувствуешь, — ответил Джулиус, — я так же реагирую на чужую критику. И знаешь, что я тогда делаю? Самое главное — научиться воспринимать чужую критику как помощь, только сначала надо разобраться, справедлива ли она. Я делаю так — смотрю на себя и пытаюсь понять: действительно ли то, что говорят другие, совпадает с моими собственными ощущениями? Есть ли в этом хоть капелька, хоть чуточка, хоть пять процентов истины? Я вспоминаю, говорил ли мне об этом кто-то раньше, пытаюсь найти людей, с которыми можно это обсудить. Думаю, может, кто-то заметил во мне что-то такое, какое-то белое пятно, которое я сам никогда раньше не замечал. Можешь ты сделать то же самое?

— Это нелегко, Джулиус. Что-то давит вот здесь. — Ребекка приложила руку к груди.

— Дай этой тяжести высказаться. Что она говорит?

— Она говорит: «Как мне смотреть в глаза другим?» Мне стыдно. Что все это всплыло, что люди видели, как я играю с волосами. У меня все сжимается внутри, мне хочется сказать: «Не лезьте не в свое дело — это мои волосы, и я буду делать с ними все, что хочу».

Несколько назидательно, будто читая лекцию, Джулиус произнес:

— Много лет назад жил на свете один психотерапевт по имени Фриц Пёрлз, который основал школу под названием гештальттерапия. Сейчас о нем мало говорят, но дело не в этом — так вот, он уделял большое внимание работе тела — скажем, «Посмотрите, что сейчас делает ваша левая рука» или «Я вижу, вы часто гладите бороду». Он всегда просил пациентов сознательно заострять эти действия: «Сожмите левую руку еще крепче» или «Продолжайте гладить свою бороду еще энергичнее и следите за тем, что ощущаете». Мне всегда казалось, что в подходе Пёрлза было много полезного, потому что наше бессознательное часто выражается через движения тела, о которых мы даже не подозреваем. И тем не менее я

никогда не пользовался этим приемом. Почему? Потому что всегда опасался того, что сейчас происходит с тобой, Ребекка. Мы часто ополчаемся против тех, кто обвиняет нас в том, что мы делаем бессознательно. Так что я очень хорошо понимаю, каково тебе сейчас. И все-таки, несмотря на это, я прошу тебя об этом подумать и попытаться понять: нет ли в этих замечаниях чего-то такого, что могло бы тебе пригодиться?

— Ты хочешь сказать «стань взрослее, стань мудрее»? Хорошо, я постараюсь. — Ребекка выпрямилась, глубоко вздохнула и с решительным видом начала: — Прежде всего, это правда, я люблю быть в центре внимания — в общем-то, я и обратилась к психотерапевту потому, что с возрастом мужчины перестали обращать на меня внимание. Так что, вполне возможно, я красовалась перед Филипом, но я делала это бессознательно. — Она оглядела группу. — Да, я виновата. Да, мне нравится, когда мной восхищаются, когда меня любят и ценят, — я люблю любовь.

— Платон, — вставил Филип, — заметил как-то, что любовь не в том, кого любят, а в том, кто любит.

— *Любовь не в том, кого любят, а в том, кто любит?* Хорошая мысль, Филип, — улыбнулась Ребекка. — Знаешь, мне нравится, когда ты делаешь такие замечания. Они заставляют по-новому взглянуть на вещи. Ты очень интересный. И привлекательный тоже. — Ребекка повернулась к группе: — И что, вы скажете, что я хочу завести с ним шашни? Как бы не так. Последний раз, когда я поддалась на эти глупости, я чуть не распрощалась со своей семейной жизнью. Нет уж, я стреляный воробей, и меня на мякине не проведешь.

— Филип, — спросил Тони, — что скажешь на это?

— Я уже сказал, что хочу одного — желать как можно меньше и знать как можно больше. Любовь, страсть, соблазнение — все это, конечно, мощные стимулы, часть биологического механизма по сохранению нашего вида — и, как Ребекка только что доказала, они часто действуют бессознательно — но, в конечном итоге, все эти стимулы рассчитаны на то, чтобы сбить с толку мой разум и помешать моим планам, так что я не хочу с ними связываться.

— Да, с тобой не поспоришь. Но ты еще ни разу не ответил на мой вопрос, — сказал Тони.

— А по-моему, он ответил, — сказала Ребекка. — Он ясно сказал, что не хочет вступать ни в какие отношения, хочет оставаться свободным и держать голову в холоде. Мне кажется, Джулиус говорил то же самое —

поэтому у нас в группе и табу на романтические отношения.

— Какое еще табу? — Тони повернулся к Джулиусу. — Никто никогда явно про это не говорил.

— Так я, конечно, никогда не выражался, но основное и единственное правило, которое я не устаю повторять, касается отношений вне занятий, и оно состоит в том, что в группе не должно быть никаких секретов — если происходят встречи после занятий, это должно выноситься на обсуждение. Когда возникают секреты, это почти всегда тормозит работу группы и мешает каждому из вас. Вот мое единственное правило. Но, Ребекка, давай не будем терять нить. Что сейчас происходит между тобой и Бонни? Твои чувства к ней?

— Бонни задела болезненную тему. Но разве это правда, что я не хочу общаться с женщинами? Совсем нет. Взять хотя бы мою сестру — мы близки с ней... довольно близки. И еще пара женщин-юристов в моей конторе... Но, Бонни, я знаю, на что ты намекаешь — что мне гораздо интереснее, гораздо больше нравится общаться с мужчинами.

— Я вспоминаю колледж, — сказала Бонни, — и как редко у меня случались свидания, и как мерзко мне было, когда кто-нибудь из подруг забивал на меня в самую последнюю минуту, если парень приглашал ее на свидание.

— Я, наверное, делала бы то же самое, — сказала Ребекка. — Да, это точно — парни, свидания, тогда все крутилось вокруг этого. Теперь все иначе.

Тони, который все это время продолжал рассматривать Филипа, попытался сделать новый заход:

— Филип, а знаешь, ты чем-то похож на Ребекку — тоже красуешься, только своими заумными фразами.

— То есть ты хочешь сказать, — отозвался Филип, закрыв глаза и сосредоточиваясь, — что, делая замечания, я руководствуюсь вовсе не тем, что кажется на первый взгляд? Что я делаю это ради себя самого — так сказать, красуюсь, чтобы, если я правильно понял, вызвать интерес и восхищение Ребекки — и всех остальных? Так?

Джулиуса так и подмывало вмешаться: что бы он ни делал, внимание неизменно возвращалось к Филипу. В нем боролись по крайней мере три противоречивых желания: во-первых, защитить Филипа от нападков группы; во-вторых, не дать Филипу этой холодностью сбить откровенный тон беседы; и, в-третьих, поддержать Тони в его попытках надрать Филипу задницу. В конце концов Джулиус все же решил подождать, потому что группа держала ситуацию под контролем. Кроме того, сейчас, на его глазах

происходило нечто очень важное: в первый раз за все время Филип отвечал кому-то прямо, даже лично.

Тони кивнул:

— Именно это я и хотел сказать. Только здесь не просто интерес и восхищение. Может, ты пытаешься соблазнить?

— Что ж, это верное дополнение — кстати, оно предполагается уже самим словом «красоваться». Итак, ты полагаешь, что мои мотивы те же, что у Ребекки, то есть я пытаюсь ее соблазнить? Что ж, это серьезная и разумная гипотеза. Давай подумаем, как нам ее проверить.

Молчание. Никто не ответил, но Филип, похоже, и не ждал ответа. После недолгого размышления он, по-прежнему не открывая глаз, произнес:

— Пожалуй, лучше всего для этого подойдет метод доктора Хертцфельда...

— Зови меня Джулиус.

— А, ну да. Итак, чтобы воспользоваться методом Джулиуса, я прежде всего должен проверить, соответствует ли гипотеза Тони моим внутренним ощущениям. — Филип помолчал, затем покачал головой: — Я не нахожу никаких доказательств этого. Много лет назад я перестал зависеть от мнения окружающих. Я абсолютно уверен, что счастливее всех тот, кто желает только одиночества. Я говорю сейчас о божественном Шопенгауэре, о Ницше и Канте. Они — и я вместе с ними — считают, что человек, имеющий внутреннее богатство, не ждет от окружающих ничего, кроме одного — чтобы его оставили в покое и не мешали его одиночеству, в котором он может спокойно наслаждаться своим богатством — интеллектуальным богатством, я имею в виду. Короче говоря, я хочу сказать, что мои замечания не имели целью соблазнить кого-то или возвыситься в чьих-то глазах. Может быть, во мне и остались обрывки прежних желаний, могу только сказать, что сознательно я их не ощущаю. Единственное, о чем я сожалею, что до сих пор только усваивал великие мысли и сам ничего к ним не прибавил.

За долгие годы ведения групп Джулиусу приходилось сталкиваться с самым разным молчанием, но молчание, наступившее после слов Филипа, не походило ни на что. Не потрясенное молчание, не молчание подавленное, растерянное или покорное; нет, то было молчание совершенно особого рода — будто группа неожиданно наткнулась на какого-то неведомого зверя, неизвестную ранее форму жизни, вроде шестиглазой саламандры с пернатыми крыльями, и теперь с крайней опаской и осторожностью, сгрудившись, ее разглядывала.

Ребекка очнулась первой:

— Быть всегда с самим собой, ничего не хотеть от других, не искать друзей — но это, наверное, так грустно и одиноко, Филип.

— Совсем наоборот, — возразил Филип. — Раньше, когда я искал общения, просил то, чего никто не хотел и не мог мне дать, — вот тогда я знал, что такое одиночество. И знал его слишком хорошо. Не нуждаться ни в ком — значит никогда не быть одиноким. Счастливое одиночество — вот к чему я стремлюсь.

— Но ты здесь, — отозвался Стюарт, — а я тебе скажу, наша группа — злейший враг одиночества. Так зачем ты сюда пришел?

— Философ должен как-то поддерживать свое увлечение: кто-то живет на преподавательское жалованье, как Кант или Гегель, у кого-то есть независимый источник существования, как у Шопенгауэра, а кто-то подрабатывает чем придется, как Спиноза, который шлифовал линзы для очков, чтобы выжить. Я выбрал философское консультирование — это моя подработка, и занятия в этой группе — часть моей подготовки к этому.

— Так, значит, — заметил Стюарт, — ты сейчас общаешься с нами, чтобы потом учить других никогда не нуждаться в общении?

Немного помедлив, Филип кивнул.

— Давай разберемся, правильно ли я понял? — сказал Тони. — Допустим, Ребекка положит на тебя глаз и включит свое обаяние на полную катушку — будет строить тебе глазки и улыбаться своей убийственной улыбкой. Ты что, скажешь, на тебя это не подействует? Ноль эмоций?

— Нет, я не говорил, что ноль эмоций. Здесь я согласен с Шопенгауэром: он пишет, что красота подобна открытому рекомендательному письму — оно мгновенно располагает наше сердце в пользу того, кто его предъявляет. Я нахожу, что созерцать красивого человека чрезвычайно приятно. Но я также говорю, что чужое мнение обо мне не может, не должно, менять мое мнение о самом себе.

— Нет, это как-то не по-человечески, — заметил Тони.

— Не по-человечески я чувствовал себя, когда позволял своему мнению скакать, как мячик, в зависимости от того, что скажут про меня другие.

Джулиус следил за губами Филипа: это было удивительно. Как точно они выражали его невозмутимое спокойствие, как методично проговаривали слово за словом, будто нанизывали бусинки на нить — одна к одной, ровные, круглые, на одной ноте. Ясно, отчего так кипятился Тони. Слишком хорошо зная его импульсивность, Джулиус решил, что пора направить разговор в более безопасное русло. Еще не время прижимать

Филипа к стенке — это лишь четвертое его занятие.

— Филип, отвечая Бонни, ты заметил, что хочешь ей помочь. Ты давал советы и остальным — Гиллу, Ребекке. Попробуй объяснить, почему ты это делал? Мне показалось, в этом было что-то сверхурочное: никто ведь не собирается приплачивать тебе за помощь.

— Я всегда стараюсь помнить, что мы все осуждены на жизнь — жизнь, которая переполнена страданиями и на которую никто из нас не решился бы, если бы знал, что ждет его впереди. В этом смысле, как говорит Шопенгауэр, мы все *товарищи по несчастью*, а потому нуждаемся во взаимной терпимости и любви, раз уж нам выпало жить бок о бок.

— Опять Шопенгауэр. Филип, я уже сыт по горло твоим Шопенгауэром — кто бы ни был этот пижон.

Я хочу слышать про тебя. — Тони говорил спокойно, словно имитируя размеренную речь Филипа, но его дыхание было частым и прерывистым. Тони быстро приходил в бешенство. Когда он только начал ходить в группу, недели не проходило без его рассказов об очередной заварушке, которую он затеял — в баре, на дороге, на работе или на баскетбольной площадке. Небольшого росточка, не слишком коренастый, он тем не менее обладал отчаянным бесстрашием, позволявшим ему выходить победителем из любого поединка, кроме одного — интеллектуального поединка с хорошо подкованным умником, каким и был Филип.

Филип, по-видимому, не собирался отвечать на выпад Тони, поэтому Джулиус нарушил затянувшееся молчание:

— Тони, ты, похоже, о чем-то всерьез задумался. О чем?

— Я думаю о том же, что и Бонни, — скучаю по Пэм. Мне ее очень не хватает. Особенно сегодня.

Джулиуса не удивило такое признание: Тони был давним протеже Пэм. Странная это была парочка — преподавательница английской литературы и простой работяга с наколками.

Джулиус решил на обходной маневр:

— Тони, тебе, наверное, непросто было сказать: «Шопенгауэр, кто бы ни был этот пижон»?

— Как тебе сказать — мы все здесь, чтобы говорить правду, — ответил Тони.

— Точно, Тони, — отозвался Гилл. — Если честно, я тоже не знаю, кто такой Шопенгауэр.

— А я знаю только, — заметил Стюарт, — что это известный философ, немец и пессимист — девятнадцатый век, кажется?

— Да, он умер в 1860-м во Франкфурте-на-Майне, — ответил Филип.

— А что касается его пессимизма, то я лично предпочитаю называть это реализмом. Может быть, Тони, я действительно слишком часто упоминаю Шопенгауэра, но, поверь, у меня есть для этого все основания. — Личное обращение Филипа, судя по всему, потрясло Тони. Филип тем временем, по-прежнему не глядя ни на кого, перевел взгляд с потолка на окно и продолжил с таким видом, будто разглядывал что-то в саду: — Во-первых, знать Шопенгауэра — значит знать меня: мы с ним всегда вместе, близнецы-братья. Во-вторых, он был моим психотерапевтом и чрезвычайно мне помог. Он стал частью меня — я имею в виду его идеи, конечно. Это как у многих из вас с доктором Хертцфельдом. Стоп — с Джулиусом, я хотел сказать. — Едва заметно улыбнувшись, Филип взглянул на Джулиуса — первый случай, когда в его голосе прозвучало что-то похожее на иронию. — И наконец, я надеюсь, что некоторые размышления Шопенгауэра смогут пригодиться кому-то из вас, как онигодились мне.

Джулиус взглянул на часы и прервал молчание, наступившее сразу после слов Филипа:

— Ну, что ж, это была очень плодотворная встреча — мне даже не хочется прерывать вас, но, к сожалению, наше время вышло.

— Плодотворная? Чем же это, интересно? — пробормотал Тони, направляясь к выходу.

Глава 20. Предвестники вселенского пессимизма

Бодрость и жизнерадостность нашей молодости зависит частью от того, что мы, взбираясь на гору, не видим смерти, которая ждет нас у подножия по другую сторону горы [\[53\]](#).

Одно из первых правил психотерапии гласит, что пациенты сами несут ответственность за свои проблемы. Опытный психотерапевт никогда не станет поддаваться на жалобы пациентов, винящих во всем своих прежних врачей, — напротив, он всегда будет помнить, что человек сам создает свое окружение и что в любом конфликте всегда есть две стороны. Что же тогда можно сказать про отношения между юным Артуром Шопенгауэром и его родителями? Естественно, тон в них задавали Генрих и Иоганна: на них лежала ответственность за рождение и воспитание сына; в конце концов, они были взрослые.

И все же нельзя сбрасывать со счетов и характер самого Артура: с момента рождения в его натуре что-то такое было — какое-то особое неистребимое упорство, которое уже с ранних лет задевало и Иоганну, и остальных окружающих. Артур никогда не умел вызывать к себе ни любви, ни великодушия, ни умиления — напротив, он почти всегда рождал в людях одну неприязнь и раздражение.

Возможно, эта черта развилась в нем вследствие бурно протекавшей беременности Иоганны, а может, сказалась дурная наследственность: генеалогия семьи Шопенгауэров отличается многочисленными случаями психического нездоровья. Отец Артура задолго до самоубийства страдал тяжелой хронической депрессией, был беспокоен, мрачен, сторонился людей и вообще был неспособен радоваться жизни. Мать отца, взбалмошная особа с весьма неустойчивой психикой, закончила жизнь в доме умалишенных. Из трех братьев отца один был умственно отсталым, другой, если верить биографу, скончался в тридцать четыре года «вследствие своей невоздержанности в полусумасшедшем образе в жалком углу среди таких же грешников, как и он сам» [\[54\]](#).

Характер Артура, обнаружившийся уже в раннем возрасте, позже

претерпит мало изменений. В письмах родителей, адресованных юному Артуру, можно встретить немало свидетельств тому, что их серьезно тревожило безразличие, какое сын демонстрировал к светским удовольствиям. Вот, к примеру, что пишет мать:

«...как ни мало внимания я сама уделяю строгому следованию этикету, все же того меньше я одобряю грубость и эгоизм, как в мыслях, так и в поступках... Ты же имеешь больше чем склонность к этому» [\[55\]](#). А вот выдержка из письма отца: «Единственное, чего я хотел бы, это чтобы вы научились быть обходительным с людьми» [\[56\]](#).

В путевых дневниках юного Артура уже обнаруживаются черты будущего взрослого человека, в них юноша, не достигший и двадцати лет, демонстрирует поразительно глубокое отношение к жизни, умение отстраниться от суеты и словно с космической высоты взглянуть на происходящее. Описывая портрет какого-то голландского адмирала, он заметит: «Рядом с картиной лежали символы его жизненного пути: его сабля, кубок, цепь доблести, которую он носил, и, наконец, пуля, которая сделала все это совершенно для него бесполезным» [\[57\]](#).

Зрелый философ, Шопенгауэр всегда будет гордиться своей особой объективностью и беспристрастностью или, как он сам будет говорить, умением «обозревать мир с другого конца телескопа». Это удовольствие быть отстраненным наблюдателем будет заметно в его ранних замечаниях, сделанных во время путешествия в горах. В шестнадцать лет он напишет: «Я нахожу, что панорама, открывающаяся с большой высоты, чрезвычайно способствует расширению внутреннего горизонта... все малое и незначительное исчезает из виду, и только важное сохраняет очертания» [\[58\]](#).

В этой фразе таится предзнаменование всей его дальнейшей жизни: Артур будет упорно развивать в себе это космическое видение, которое позволит ему, став уже зрелым философом, осмыслить мир глобально — не только в материальном и идейном, но и во временном плане. Он очень рано интуитивно постигнет принцип Спинозы «*sub species aeternitatis*» и станет рассматривать мир во всех его проявлениях с точки зрения вечности. Общие человеческие условия, заключит Артур, возможно лучше всего понять, не сливаясь с ними, а, напротив, как можно больше от них отделившись. В юности он напишет удивительные строчки, в которых пророчески предскажет свое будущее горделивое одиночество:

Философия — высокая альпийская дорога; к ней ведет лишь крутая тропа через острые камни и колючие тернии: она уединенна и становится

все пустынное, чем выше восходишь, и кто идет по ней пусть не ведает страха, все оставит за собою и смело прокладывает себе путь свой в холодном снегу... Зато скоро видит он мир под собою, и песчаные пустыни и болота этого мира исчезают, его неровности сглаживаются, его раздоры не доносятся наверх — проступает его округлая форма. А сам путник всегда находится в чистом, свежем альпийском воздухе и видит уже солнце, когда внизу еще покоится темная ночь [\[59\]](#).

Но не только тяга к заоблачным высотам будет двигать им — не обойдется и без подталкивания снизу. Со временем в характере Артура особенно заметно проступят две черты: глубокое презрение к людям и мрачный пессимизм. С какой силой его будет тянуть к высотам, к бескрайним видам и космическим перспективам, с такой же будет отталкивать от людей. Однажды после любования восхитительным восходом солнца в горах он спустится вниз, в мир людей, и, войдя в сельскую хижину, увидит следующую картину: «Мы вошли в комнату, где пировали слуги... Это было омерзительно: их животная радость обожгла нас нестерпимым жаром» [\[60\]](#).

Его путевые дневники полны презрительных и насмешливых замечаний. О службе в протестантской церкви он напишет: «От писклявых завываний толпы у меня разболелись уши, а один человечек, который все время широко разевал рот и что-то блеял, постоянно смешил меня» [\[61\]](#). А вот о еврейской службе: «Двое мальчишек, стоявших рядом со мной, окончательно вывели меня из себя: всякий раз, когда они, разинув рот и откинув головы, начинали выводить свои рулады, мне казалось, они хотят меня оглушить». Группа английских аристократок «выглядела как переодетые крестьянские шлюшки», король Англии «симпатичный старичок, но королева безобразна до неприличия». Император и императрица Австрии «оба были одеты чрезмерно скромно. Он — сухопарый человек с таким откровенно глупым лицом, что скорее можно было заключить, что он обыкновенный портняжка, чем император». Школьный приятель Артура, зная о мизантропической наклонности друга, напишет ему, когда тот будет в Англии: «Я сожалею, что твое пребывание в Англии заставило тебя презирать всю нацию» [\[62\]](#).

Вот этот-то язвительный и непочтительный юноша и превратится позже в мрачного и неуживчивого человека, который станет называть людей «двуногими» и будет согласен с Фомой Кемпийским, признававшимся: «Всякий раз, когда я выхожу к людям, я возвращаюсь все меньше похожим на человека» [\[63\]](#).

Но не могли ли эти качества помешать ему стать «светлым оком мира»? Артур предчувствовал эту опасность и записал в своем дневнике следующую памятку для самого себя: «Посмотри, не представляют ли твои объективные суждения большей частью замаскированных субъективных» [\[64\]](#). И все же, как мы увидим позже, несмотря на всю свою решимость и жесткую самодисциплину, Артур частенько будет отступать от этого прекрасного юношеского совета.

Глава 21

Счастлив тот, кому совсем не приходится сталкиваться с иными личностями [\[65\]](#).

На следующем занятии, не успела Бонни заикнуться про Пэм, как дверь распахнулась — и на пороге возникла Пэм собственной персоной. Широко раскинув руки, она воскликнула: «А вот и я!» — и все, кроме Филипа, повскакали и радостно ее окружили. Сияя своей удивительной улыбкой, Пэм обошла всех по порядку, заглянула каждому в глаза, обняла, поцеловала Ребекку и Бонни, взъерошила волосы Тони и, добравшись наконец до Джулиуса, нежно прижалась к нему и прошептала: «Спасибо, что рассказал мне по телефону. Я жутко расстроена, я так за тебя волнуюсь». Джулиус взглянул на нее: такое родное, улыбающееся лицо Пэм светилось радостью и оптимизмом.

— Добро пожаловать домой, Пэм, — сказал он. — Боже мой, я так рад снова тебя видеть. Мы скучали по тебе. Я скучал по тебе. Тут взгляд Пэм упал на Филипа, и лицо ее мгновенно омрачилось. Улыбка стерлась, добродушные морщинки вокруг глаз исчезли. Думая, что она удивлена появлением нового лица в группе, Джулиус поспешил представить:

— Это наш новичок, Филип Слейт.

— Что ты говоришь. Неужели Слейт? — воскликнула Пэм, нарочито избегая глядеть на Филипа. — А я думала, Филип Слиз Лицом-Вниз. Или Филип Слаймболл Женский-Дырокол. — Она повернулась к двери. — Извини, Джулиус, я не могу находиться в одной комнате с этим подонком.

Все остоленели от неожиданности и, застыв, молча переводили взгляды с Пэм, которая так и кипела от возмущения, на Филипа, сохранявшего полную невозмутимость. Джулиус не выдержал первым:

— Что с тобой, Пэм? Сядь, пожалуйста.

Тони внес в комнату еще один стул и хотел было его поставить, как Пэм воскликнула:

— Не сюда. — (Свободное место было только рядом с Филипом.) Ребекка немедленно поднялась и проводила Пэм к своему месту.

После паузы Тони спросил:

— Что случилось, Пэм?

— Боже мой. Я не могу поверить. Это что, чья-то шутка? Хуже этого

ничего нельзя было придумать. Снова видеть эту мразь.

— Да *что* такое? — спросил Стюарт. — Что ты такое натворил, Филип? Скажи же что-нибудь. Что здесь происходит?

Филип ничего не ответил и только слегка покачал головой, но его лицо, на котором успела выступить краска, говорило само за себя. Значит, какие-то нервы у тебя все-таки есть, отметил про себя Джулиус.

— Что происходит, Пэм? — настаивал Тони. — Скажи, здесь все свои.

— За всю жизнь ни один мужчина не обходился со мной хуже, чем это существо. Вернуться домой, в свою родную группу, чтобы оказаться с ним в одной комнате, — нет, это невероятно. Мне хочется кричать, топтать ногами, но я не стану — по крайней мере, не при нем. — Внезапно замолчав, Пэм опустила глаза, медленно качая головой.

— Джулиус! — воскликнула Ребекка. — Сделай же что-нибудь. Мне это совсем не нравится. Что творится, в конце концов?

— Очевидно, между Пэм и Филипом что-то произошло раньше, но, уверяю вас, для меня это полный сюрприз.

Немного помолчав, Пэм подняла глаза на Джулиуса и сказала: -

— Я так много думала о нашей группе, так хотела скорее вернуться, все думала, что расскажу вам про путешествие. Но извини, Джулиус, теперь я не могу. Я не хочу здесь больше оставаться.

Она встала и направилась к выходу. Тони тут же подскочил к ней и схватил за руку:

— Пэм, пожалуйста, ты не можешь так уйти. Ты так много для меня сделала. Давай я сяду рядом с тобой. Или, хочешь, мы с ним выйдем, побеседуем с глазу на глаз? — Пэм слабо улыбнулась и позволила Тони отвести себя обратно на место. Гилл пересел, освободив соседнее кресло для Тони.

— Тони прав. Я хочу тебе помочь, — сказал Джулиус. — Мы все хотим тебе помочь. Но ты должна пойти нам навстречу, Пэм. Очевидно, здесь скрывается какая-то история — и неприятная история, между тобой и Филипом. Расскажи нам, заговори об этом — иначе мы не сможем ничего сделать.

Пэм слабо кивнула, закрыла глаза, открыла рот — но не издала ни звука. Немного погодя встала, подошла к окну и, прижавшись лбом к стеклу, несколько минут постояла так. Тони хотел было подойти к ней, но она, замахав рукой, заставила его вернуться на место. Наконец она повернулась, несколько раз глубоко вздохнула и заговорила чужим механическим голосом:

— Пятнадцать лет назад мы с Молли решили побывать в Нью-Йорке.

Молли была моей соседкой и лучшей подругой, мы были знакомы с детства. Тогда мы только закончили первый курс в Амхёрсте и решили записаться на лето в Колумбию. Кроме всего прочего, мы должны были проходить античную философию — и догадайтесь, кто был нашим АП?

— АП? — переспросил Тони.

— Ассистент преподавателя, — тут же негромко отозвался Филип — это были первые слова, которые он произнес с начала занятия. — АП — это аспирант, который обычно помогает преподавателю — ведет практические занятия, проверяет контрольные и принимает экзамены.

Казалось, неожиданное замечание Филипа выбило Пэм из колеи. Тони разъяснил ей:

— Филип у нас справочное бюро. Ты спрашиваешь — он отвечает. Прости, я не должен был тебя перебивать, теперь буду держать язык за зубами. Продолжай. Может, присядешь сюда, к нам?

Пэм кивнула, вернулась на место, снова закрыла глаза и продолжила рассказ:

— В общем, пятнадцать лет назад мы с Молли оказались на летних курсах в Колумбии, и этот человек... это существо, которое сидит здесь, стал нашим АП. У Молли тогда был кризис: она только что поссорилась со своим парнем, с которым долго встречалась. В общем, не успели начаться занятия, как этот... извините, человек, — она кивнула на Филипа, — начинает к ней клеиться. Заметьте, нам было по восемнадцать, и он был нашим преподавателем — профессор появлялся только на лекции, два раза в неделю, а АП отвечал за весь курс, и он же принимал экзамены. О, это был мастер. А Молли была в расстроенных чувствах — в общем, она втюрилась в него по уши и около недели была на седьмом небе от счастья. Как-то в субботу вечером он звонит мне и просит зайти к нему по поводу моего выпускного сочинения. Я прихожу, и он начинает с места в карьер. Я была совершенной дурочкой, позволила ему собой манипулировать, и не успеваю я опомниться, как оказываюсь в чем мать родила на диване в его кабинете. Мне было восемнадцать, и **Я** была девственницей. А он был любитель грубого секса. Он повторил это еще через пару дней, а потом бросил меня — он даже перестал смотреть в мою сторону, как будто мы незнакомы, и хуже всего было то, что он даже не счел нужным объяснить, почему меня бросил. А я — я была так напугана, я боялась спросить — он ведь был учителем, от него зависели выпускные экзамены. Вот так я вошла в сказочный, волшебный мир секса. Я была уничтожена, я была в бешенстве, мне было так стыдно... и... хуже всего, я считала, что виновата перед Молли. И перестала считать себя привлекательной.

— О, Пэм! — воскликнула Бонни, качая головой. — Не удивительно, что ты сейчас в шоке.

— Погоди-погоди. Ты еще не знаешь худшего про это чудовище, — с новым жаром заговорила Пэм. Джулиус взглянул на группу: все, подавшись вперед, не отрываясь, смотрели на Пэм; один Филип сидел, закрыв глаза, с совершенно отсутствующим видом. — Они с Молли встречались еще пару недель, и потом он бросил ее — просто сказал, что она ему надоела и он уходит — и все. Бесчеловечный ублюдок. Представляете себе учителя, который говорит это студентке? Больше он не сказал ей ни слова и даже запретил ей трогать ее вещи, которые она оставила в его квартире. Напоследок показал ей список из тринадцати женщин, с которыми переспал за тот месяц, — в основном девчонки из нашей группы. Мое имя значилось первым в этом списке.

— Он не показывал ей этот список, — не открывая глаз, отозвался Филип, — она сама его отыскала, когда рылась в его вещах.

— Кто, кроме последнего извращенца, станет составлять такие списки? — парировала Пэм.

Не меняя тона, Филип невозмутимо ответил:

— Природа диктует самцу разбрасывать свои семена. Он был ни первым, ни последним, кто вел учет полей, которые сам вспахал и засеял.

Пэм только воздела руки и, покачав головой, тихо произнесла: «Слышали?», словно желая сказать: глядите, как нелепа эта жизненная форма. Демонстративно пропустив мимо ушей замечание Филипа, она продолжила:

— Начались страдания и слезы. Молли мучилась ужасно, и прошло еще много времени, прежде чем она снова смогла поверить мужчинам. Мне она так *никогда* и не поверила. Нашей дружбе пришел конец, она *никогда* не простила мне измены. Для меня это был страшный удар, и для нее, думаю, тоже. Мы, конечно, пытались сойтись снова — мы и сейчас иногда переписываемся, сообщаем друг другу новости, — но она ни разу с тех пор не заговаривала со мной о том лете.

Наступило долгое молчание — возможно, самое долгое за всю историю группы. Наконец, Джулиус сказал:

— Пэм, это действительно ужасно. Пережить такое в восемнадцать лет. То, что ты никогда не рассказывала об этом ни мне, ни группе, только доказывает, сколь серьезна была травма. Потерять лучшую подругу, и каким образом. Это действительно ужасно. Но позволь мне сказать тебе кое-что. Это *хорошо*, что ты осталась сегодня, и хорошо, что рассказала об этом. Я знаю, тебе не понравится то, что я хочу сказать, но, может быть, это

не так уж плохо, что ты и Филип — вы оба оказались здесь. Может быть, это знак того, что вам обоим нужно что-то сделать, что-то исправить — и тебе, и ему.

— Ты прав, Джулиус, мне *действительно* не понравилось то, что ты сказал. И еще мне не нравится вновь видеть это ничтожество. Он в моей любимой группе. Это меня просто убивает.

У Джулиуса закружилась голова. Мысли неслись вихрем, одна за другой. Сколько Филип будет это терпеть? Должен же быть предел даже у него. Сколько еще, прежде чем он встанет и выйдет из комнаты, чтобы никогда больше не возвращаться? Джулиус ясно представил себе эту картину, одновременно не переставая размышлять о последствиях — для самого Филипа, конечно, но главным образом для Пэм — она значила для него гораздо больше. Пэм была удивительная женщина, и он очень хотел ей помочь. Выиграет ли она что-нибудь, если Филип уйдет? Возможно, она испытает радость мщения — но это будет пиррова победа. Если бы я мог найти способ, думал он, помочь Пэм простить Филипа. Это бы исцелило ее — и, возможно, Филипа тоже.

Он чуть не содрогнулся при слове «простить»: из всех последних увлечений, потрясавших психотерапию, болтовня о «всепрощении» раздражала его больше всего. Как опытный психотерапевт, он и раньше *всегда* работал с пациентами, которые не могли расстаться со своими обидами, которые этими обидами подпитывались и не желали обрести душевного покоя; он и раньше *всегда* знал множество способов помочь людям достичь «прощения», то есть отстраниться от собственных обид. Да что говорить, у каждого уважающего себя психотерапевта есть целый арсенал приемов по «выбросу» дурных мыслей из головы. Но прежняя бесхитростная индустрия «прощения» неожиданно вышла из моды, ей на смену пришла другая, крикливая и важная, которая бросилась наклеивать новые ярлыки на традиционный аспект психотерапии, вываливая его на прилавок как принципиально новое слово науки. И пошло-поехало. Подхваченная общей волной «всепрощенчества», эта новая идея принялась расти, заговорила громче, сливаясь с общественным хором горького раскаяния по поводу тяжких преступлений человечества, вроде геноцида, рабства и колониальной эксплуатации. Даже Папа недавно покаялся за разграбление Константинополя, совершенное крестоносцами в тринадцатом веке.

Если Филип сбежит, как *Джулиус*, терапевт группы, будет себя чувствовать? Нет, Джулиус не хотел терять Филипа, хотя не слишком ему сочувствовал. Сорок лет назад студентом он однажды был на лекции Эриха

Фромм, и тот процитировал Теренция, сказавшего более двух тысяч лет назад: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Фромм тогда подчеркнул, что хороший врач должен смело входить в темную область своего сознания, сливаясь с любыми мыслями и фантазиями пациента. Вот это-то Джулиус и пытался сейчас сделать. Так, значит, Филип вел список женщин, с которыми переспал? А разве Джулиус сам в молодости не вел таких списков? Естественно, вел, как, впрочем, и большинство мужчин; с которыми ему доводилось об этом говорить.

Кроме того, напомнил он себе, ты ответствен перед Филипом — и перед его будущими клиентами тоже. Ты сам пригласил Филипа стать твоим пациентом и учеником. Нравится тебе или нет, Филип готовится стать психотерапевтом, и вышвыривать его за дверь — это плохое лечение, плохое обучение и плохой пример. В конце концов, это просто безнравственно.

Размышляя, Джулиус одновременно лихорадочно подбирал слова, с которых следовало начать. Он уже хотел воспользоваться своим излюбленным «я оказался перед непростым выбором: с одной стороны... но, с другой стороны...», но ситуация была слишком необычной, чтобы прибегать к избитым фразам, поэтому он начал так:

— Филип, в разговоре с Пэм ты называл себя в третьем лице: вместо «я» ты все время говорил «он», ты сказал: «Он не показывал ей этот список». Может ли это означать, что теперь ты считаешь себя совсем другим человеком?

Филип открыл глаза и посмотрел на Джулиуса. В глаза — какая редкость. Уж не благодарность ли в этом взгляде?

— Давно известно, — начал Филип, — что клетки тела регулярно стареют, отмирают и заменяются новыми. Несколько лет назад считалось, что только клетки мозга — ну, и женские яйцеклетки, конечно, — на протяжении жизни остаются неизменными, но исследования показали, что нервные клетки тоже отмирают и в мозгу постоянно рождаются новые нейроны — в том числе и клетки, формирующие структуру моего головного мозга, мое сознание. Думаю, будет справедливо сказать, что ни одна клетка во мне сейчас не существовала в том человеке, который носил мое имя пятнадцать лет назад.

— Господа присяжные заседатели, это был не я, — рявкнул Тони. — Чист и невиновен. Это кто-то другой, чьи-то чужие клетки мозга сделали свое грязное дело еще до того, как я прибыл на место.

— Тони, это нечестно, — вступилась Ребекка. — Мы все переживаем за Пэм, но это не значит, что мы должны наваливаться на Филипа. Чего ты

от него хочешь?

— Черт возьми. Как насчет «извини» для начала? — Тони повернулся к Филипу: — Это хотя бы можно сделать? Или боишься, что переломишься?

— Я хочу кое-что сказать вам обоим, — заметил Стюарт. — Сначала тебе, Филип. Я слежу за исследованиями головного мозга и хочу сказать, что твои сведения о регенерации клеток не совсем верны. По последним данным, стволовые клетки костного мозга, если их пересадить другому человеку, иногда обнаруживаются в виде нейронов в некоторых участках мозга, к примеру, в гиппокампе или в клетках Пуркинье в коре мозжечка, но пока нет *никаких* доказательств, что в коре головного мозга образуются новые нейроны.

— Принято, — ответил Филип. — Можешь прислать мне ссылки на свои источники? — Филип вынул визитку из бумажника и протянул ее Стюарту; тот бросил визитку в карман, даже не взглянув.

— Теперь ты, Тони, — продолжал Стюарт. — Ты знаешь, я ничего против тебя не имею. Мне нравится, что ты всегда режешь правду-матку в глаза, но сейчас я согласен с Ребеккой: мне кажется, ты ведешь себя слишком грубо — и не к месту. Когда я только пришел в группу, ты, помнится, каждый выходной ходил на отработку — чистил дороги в качестве условного наказания за сексуальные домогательства...

— Нет, это были побои. Сексуальные домогательства — чушь собачья. Лиззи потом забрала заявление. Да и побои чушь. Но к чему ты это?

— А к тому, что я никогда не слышал, чтобы *ты* извинялся или чтобы кто-то нападал на тебя за тот случай. Наоборот, я все время видел обратное — я видел только поддержку. Да, черт побери, одну поддержку. Все женщины, даже она, — Стюарт повернулся к Пэм, — смотрели сквозь пальцы на твои... твои... как это? правонарушения. Помнишь, как Пэм с Бонни возили тебе сэндвичи, когда ты собирал мусор на 101-й магистрали? Я помню, как Гилл и я, мы говорили, что нам далеко до твоего... твоего... как мы это называли?

— Тарзанства, — подсказал Гилл.

— Да-а, — ухмыльнулся Тони. — Тарзан Первобытный Человек. Это было круто.

— Ну так, может, брейк? То, что хорошо для Тарзана, не очень хорошо для Филипа. Дай ему высказать свое мнение. Я тоже сочувствую Пэм, но давай по порядку. Что ты налетел на человека? Пятнадцать лет — это тебе не фунт изюму.

— Ладно, — ответил Тони. — Тогда не про пятнадцать лет, а про

сейчас. — Он повернулся к Филипу: — Я что-то не понял, на прошлой неделе ты... Филип. Черт тебя побери. Как с тобой говорить, если ты не смотришь в глаза? Меня это просто бесит. На прошлой неделе ты говорил, что тебе по барабану, нравишься ты Ребекке или нет и что она... э-э-э... клеится?... не могу вспомнить это проклятое слово.

— Красуется! — подсказала Бонни. Ребекка обхватила голову руками:

— Боже мой. Сколько можно? Подумать только. Я распустила волосы — какой ужас. Неужели это такое страшное преступление, что срок давности на него не распространяется? Сколько я буду все это терпеть?

— Сколько нужно, — откликнулся Тони и снова вернулся к Филипу: — Ну, так как же мой вопрос, Филип? Ты тут изображаешь из себя монаха, делаешь вид, что ты выше всего этого, слишком чистенький, чтобы интересоваться женщинами, даже самыми хорошенькими...

— Теперь ты понимаешь, — заговорил Филип, обращаясь не к Тони, а к Джулиусу, — почему я был против группы?

— Ты это предвидел?

— Я тысячу раз все это проходил, — ответил Филип. — Чем меньше я общаюсь с людьми, тем лучше. Когда я пытался жить с ними, взамен получал одно беспокойство. Уйти от жизни, не хотеть, не ждать ничего, целиком посвятить себя размышлениям — вот мой путь, единственный путь к спокойствию.

— Все это прекрасно, Филип, — ответил Джулиус, — только есть одно «но». Если ты собираешься работать в группе, или вести группу, или помогать своим клиентам строить отношения с другими людьми, тебе не избежать отношений с ними.

Краем глаза Джулиус заметил, как Пэм изумленно качает головой:

— Что здесь происходит? Сумасшедший дом. Филип здесь. Ребекка с ним заигрывает. Филип собирается вести группу, поучать клиентов. Что у вас творится?

— Пэм права, нам следовало ввести ее в курс дела, — заметил Джулиус.

— Стюарт, твой выход! — выкрикнула Бонни.

— Сейчас сделаем, — ответил Стюарт. — В общем, так, за те два месяца, что тебя не было...

Но тут вмешался Джулиус:

— Нет, Стюарт, давай, на этот раз ты только начнешь. Нечестно все время заставлять тебя одного работать.

— Ладно, хотя ты знаешь, мне это совсем не трудно — я люблю делать обзоры. — Заметив, что Джулиус готовится его оборвать, Стюарт быстро

добавил: — Хорошо-хорошо, я только скажу одну вещь и замолкну. Когда ты уехала, Пэм, мне было очень плохо. Я так жалел, что мы не оправдали твоих надежд, не смогли тебе помочь. Я очень расстроился, что тебе пришлось ехать бог знает куда — в Индию — за помощью. Все, следующий.

Бонни скороговоркой произнесла:

— Самое важное было, когда Джулиус объявил о своей болезни. Ты уже знаешь об этом?

— Да. — Пэм печально кивнула. — Джулиус рассказал мне на прошлой неделе, когда я позвонила ему сказать, что возвращаюсь.

— Не совсем так, — вмешался Гилл. — Одна поправочка — только без обид, Бонни. — Джулиус нам про это не говорил. Дело было так: мы пошли в кафе — это было после первого занятия Филипа, — и он рассказал нам про это, потому что Джулиус рассказал ему об этом еще раньше при встрече. Джулиус потом сильно кипятился, что Филип его опередил. Следующий.

— Филип с нами примерно пять занятий. Он готовится стать психотерапевтом, — продолжила Ребекка, — и, насколько я поняла, много лет назад он лечился у Джулиуса.

Тони добавил:

— Мы говорили про... э-э-э... в общем, про состояние Джулиуса, про...

— Ты хотел сказать «рак». Это страшное слово, я знаю, — вмешался Джулиус, — но лучше говорить как есть, Тони.

— Ну да, рак - Джулиус, ты старый воробей, тебя не проведешь, — продолжил Тони. — В общем, мы говорили про рак Джулиуса и про то, как тяжело говорить про что-то еще, потому что все остальное кажется чепухой в сравнении.

Теперь наступила очередь Филипа, который сказал:

— Джулиус, будет лучше, если ты сам расскажешь группе, зачем я здесь.

— Я помогу тебе, Филип, но будет еще лучше, если ты расскажешь сам, когда будешь готов.

Филип кивнул.

Когда стало ясно, что Филип не собирается продолжать, Стюарт сказал:

— Значит, опять я — по второму кругу? — Все закивали, и Стюарт продолжил: — На одном из занятий Бонни стала нападать на Ребекку за то, что та строит глазки Филипу. — Стюарт помедлил, покосился на Ребекку и

поправился: — Якобы строит глазки. Еще Бонни говорила о том, как она относится к самой себе — что она считает себя непривлекательной.

— И нескладной, и неспособной соперничать с такими женщинами, как ты, Пэм, и Ребекка, — добавила Бонни.

Ребекка сказала:

— Пока тебя не было, Филип высказал много интересных замечаний.

— И ничего не сказал про себя, — добавил Тони.

— И последнее: у Гилла была серьезная размолвка с женой — он даже собирался уйти из дома, — сказал Стюарт.

— Только не думай обо мне слишком хорошо — в конце концов я все-таки струсил. Меня хватило только на четыре часа, — прибавил Гилл.

— Ну что ж, по-моему, все верно, ничего не упустили, — сказал Джулиус, поглядывая на часы. — Перед тем как закончить, я хотел бы спросить тебя, Пэм, как ты? Чувствуешь себя дома?

— Еще не знаю. Я сама не своя, но рада, что вернулась. Больше я сегодня ни на что не способна, — сказала Пэм, собирая вещи.

— Можно, я? — вмешалась Бонни. — Мне страшно. Вы все знаете, как я люблю нашу группу, но у меня такое чувство, будто мы сидим на бочке с порохом. Скажите, мы еще соберемся? Ты, Пэм? Ты, Филип? Вы придете в следующий раз?

— Прямой вопрос, — быстро ответил Филип, — поэтому я дам на него прямой ответ. Джулиус пригласил меня в группу на шесть месяцев, и я согласился. Он также пообещал мне стать моим супервизором. Так что лично я намерен сдержать слово и выполнить условия. Я никуда не уйду.

— А ты, Пэм? — спросила Бонни. Пэм встала.

— Больше я сегодня ни на что не способна.

Все засобирались, и до Джулиуса донеслись обычные разговоры про кофе. Интересно, подумал он, пригласят ли они Филипа после всего, что случилось? Он всегда говорил, что, если группа остается после занятий не в полном составе, это может неблагоприятно сказаться на общей работе. В этот момент он заметил, что Филип и Пэм одновременно приближаются к двери. Любопытно, что сейчас будет, подумал Джулиус. Неожиданно Филип тоже заметил это и, должно быть, сообразив, что дверь слишком узка для двоих, остановился и, тихо пробормотав «пожалуйста», посторонился, чтобы пропустить Пэм. Она гордо прошествовала мимо, будто Филип невидимка.

Глава 22. Женщины, страсть, любовь

Половая любовь оказывает вредное влияние на самые важные дела и события, ежечасно прерывает самые серьезные занятия, иногда ненадолго смущает самые великие умы. Ежедневно поощряет на самые рискованные и дурные дела, разрушает самые дорогие и близкие отношения, разрывает самые прочные узы... отнимает совесть у честного, делает предателем верного [\[66\]](#).

Второй после матери женщиной, сыгравшей роковую роль в жизни Артура Шопенгауэра, станет сварливая швея по имени Каролина Маркет. Мало кто из биографов Шопенгауэра упустит случай упомянуть о памятной встрече, которая произойдет в 1823 году на тускло освещенной лестнице и впервые свяжет тридцатипятилетнего Артура с сорокапятилетней Каролиной.

В тот день Каролина Маркет, жившая по соседству с Артуром, принимала у себя дома трех подруг. Совершенно выведенный из себя их шумной болтовней, Артур открыл дверь, громко обвинил четырех женщин в том, что они мешают его уединению (прихожая, где беседовали женщины, фактически была частью его квартиры), и в довольно грубой форме приказал всем четверым очистить помещение. Когда Каролина отказалась, Артур, применив грубую физическую силу, вытолкнул ее за дверь и, несмотря на ее отчаянные вопли и попытки от него отделаться, спустил с лестницы. Когда же Каролина, взбешенная такой неслыханной грубостью, упрямо попыталась взобраться наверх, он вновь низвергнул ее, еще яростнее.

Каролина подала на него в суд, заявляя, что, спустив ее с лестницы, он нанес ей тяжелые увечья, повлекшие за собой судороги и частичный паралич конечностей. Артур не на шутку испугался: прекрасно понимая, что научные труды вряд ли когда-нибудь принесут ему богатство, он с крайней бережливостью расходовал наследство, доставшееся от отца. Почуввав угрозу своему благополучию, он, по словам его издателя, «словно с цепи сорвался».

Ни секунды не сомневаясь, что Каролина Маркет ловкая и

предприимчивая симулянтка, он отбивался на суде как мог, пуская в ход все доступные средства. Тяжелый, выматывающий процесс длился шесть лет, и в итоге суд объявил Артура виновным, обязав его выплачивать Каролине Маркет по шестьдесят талеров в год до полного исчезновения симптомов — надо сказать, в те времена служанка или повар получали двадцать талеров в год и вдобавок стол и постель. Предсказание Артура о том, что плутовка будет дрожать до тех пор, пока деньги сыплются ей в карман, сбылось в полной мере: двадцать шесть лет, вплоть до самой смерти Каролины Маркет, он будет ежегодно выплачивать ей указанную сумму. Получив же наконец свидетельство о ее смерти, он небрежно неркнет на конверте: «Obit anus, abit onus» ^[67] (баба с возу — кобыле легче).

А другие женщины в его жизни? Артур так никогда и не женится, но будет далек от целомудрия: первую половину жизни он проведет особенно активно, возможно, даже будет страдать от сексуальной невоздержанности. Когда в пору ученичества Артура его приятель по Гавру Антим посетит Гамбург, оба молодых человека ночи напролет станут бродить по городу в поисках любовных приключений, подыскивая для этих целей исключительно женщин низших сословий — горничных, актрис, хористок; если же удача будет отворачиваться от них, молодые повесы станут находить утешение в объятьях «неутомимых шлюшек» ^[68].

Артур, которому никогда не доставало ни особого такта, ни обаяния, ни *joie de vivre* ^[69], был весьма неловким обольстителем и потому нуждался в советах Антима. Женщины часто отказывали Артуру, и в результате сексуальные переживания в его сознании навсегда связались с унижением. Его раздражали моменты, когда желание брало над ним верх, и позже он станет часто повторять, что животные страсти разрушительно действуют на личность. Нельзя сказать, чтобы Артуру не нравились женщины; он прямо говорил: «Я обожал их — если бы только они хотели меня» ^[70].

Пожалуй, самая печальная любовная история в жизни Шопенгауэра произойдет, когда он в сорок три года попытается ухаживать за Флорой Вайсс, очаровательной семнадцатилетней девушкой. Однажды вечером, катаясь с ней в лодке, он поднесет ей гроздь винограда и признается в любви. Когда же он обратится к ее родителям с просьбой ее руки, отец Флоры от неожиданности воскликнет: «Но ведь она еще совсем дитя!» В конце концов он позволит дочери самой принять решение. Предприятие закончится полным провалом, когда Флора категорически заявит, что терпеть не может Шопенгауэра.

Несколько десятилетий спустя племянница Флоры Вайсе станет

расспрашивать тетюшку про ее встречу со знаменитым философом и запишет в своем дневнике такой ответ: «Ах, оставь меня в покое с этим противным старикашкой Шопенгауэром». Когда же племянница будет упрашивать ее, Флора Вайсе перескажет ей эпизод с виноградом и воскликнет: «Мне не хотелось никакого винограда. Мне был отвратителен этот виноград, потому что старик Шопенгауэр к нему прикасался, так что я тихонько, чтобы он не заметил, опустила его за спиной в воду» ^[71].

По-видимому, Артур ни разу не вступал в связь с женщиной, которую бы уважал. Его сестра Адель, получив однажды от него письмо, в котором он сообщал, что «пережил две любовные истории без любви», в ответном письме робко заметит по поводу личной жизни брата: «Молю бога, чтобы, общаясь с низкими и порочными представительницами нашего пола, ты не утратил способность ценить женщину, и молю небеса однажды послать тебе ту, с которой тебя могло бы связать нечто большее, чем низкая страсть» ^[72].

В тридцать три года Артур заведет связь с молоденькой берлинской хористкой Каролиной Рихтер-Медон, славившейся тем, что имела по несколько любовников одновременно, и эта связь продлится с перерывами десять лет. Артур не возражал против столь легкомысленного поведения подружки: «Для женщины в краткий период ее расцвета ограничивать себя одним мужчиной противоестественно. С какой стати женщина должна беречь для одного то, что он не в силах использовать, в то время как многие хотели бы получить?» ^[73] Но идея моногамности мужчин раздражала его не меньше: «Мужчина сначала имеет слишком много, а потом слишком мало... первую половину жизни он распутник, вторую половину — рогоносец» ^[74].

Когда Артур решит перебраться из Берлина во Франкфурт, он пригласит с собой Каролину, предъявив ей условие оставить своего незаконнорожденного сына, которого он упорно не соглашался признавать своим. Каролина откажется бросить сына, и после непродолжительной переписки их связь оборвется навсегда. Тем не менее тридцать лет спустя, в семьдесят один год, Артур в приписке к завещанию оставит пять тысяч талеров Каролине Рихтер-Медон.

Презрительно отзываясь о женщинах и об институте брака вообще, он тем не менее будет время от времени задумываться о женитьбе, всякий раз, впрочем, предупреждая себя об опасности: «Все великие поэты были несчастливы в браке, и все великие философы вполне обходились без этого: Демокрит, Декарт, Платон, Спиноза, Лейбниц, Кант. Единственным

исключением был Сократ, но и тот тяжело поплатился за это, взяв в жены сварливую Ксантиппу... Большинство мужчин соблазняются внешней красотой, которая только скрывает женские пороки. Они женятся в молодости и жестоко расплачиваются в старости, когда их жены превращаются в дерзких и своенравных истеричек» [75].

С возрастом надежда обзавестись семьей будет постепенно угасать, и в сорок лет он окончательно оставит эту затею. Жениться в зрелом возрасте, скажет он, значит походить на человека, который прошагал пешком три четверти пути и затем решил раскошелиться на дорогой билет, чтобы оплатить всю поездку [76]. Ни одна из ключевых проблем человеческого существования не укроется от его взгляда, и половая страсть — предмет, тщательно избегаемый его предшественниками, — не станет исключением.

Он начнет размышления на эту тему с замечательного наблюдения о силе и мощи сексуального влечения:

Она (половая любовь) после любви к жизни является самой могучей и деятельной из всех пружин бытия, где она непрерывно поглощает половину сил и мыслей молодого человечества, составляет конечную цель почти всякого человеческого стремления, оказывает вредное влияние на самые важные дела и события, ежечасно прерывает самые серьезные занятия, иногда ненадолго смущает самые великие умы... Половая любовь поистине является скрытым механизмом любого поступка и поведения, она проглядывает отовсюду, несмотря на тщательно брошенные на нее покровы. Она является причиной войн и предметом мира... неистощимым источником остроумия, ключом ко всем намекам, значением таинственных фраз, невысказанных замечаний и брошенных украдкой взглядов; она предмет неустанных фантазий и молодых, и старых, неизменный призрак умов порочных и неотвязный спутник воображения целомудренных [77].

Конечная цель почти всякого человеческого стремления? Скрытый механизм любого поступка? Причина войн и предмет мира? Но к чему эти преувеличения? Не следствие ли это сексуальной озабоченности автора? Или ловкий прием, рассчитанный на то, чтобы привлечь внимание читателя?

Если мы подумаем об этом, то невольно захочется нам воскликнуть: к чему весь этот шум? К чему вся суета и волнение, все эти страхи и горести? Разве не о том лишь идет речь, чтобы всякий Иван нашел свою Марию? Почему же такой пустяк должен играть столь серьезную роль и беспрестанно вносить раздор и смуту в стройное течение человеческой жизни? [78]

Ответ Артура на этот вопрос на полторы сотни лет предвосхитит открытия эволюционной психологии и психоанализа. Он станет утверждать, что причины нашего поведения не есть *наша* собственная необходимость, но *необходимость нашего биологического рода*. «Конечной целью любви, хотя стороны могут и не подозревать об этом, является рождение ребенка, — скажет он. — Следовательно, то, что руководит мужчиной, на самом деле является инстинктом, направленным на поиски наиболее подходящей пары, тогда как сам он воображает, что хочет доставить себе наибольшее удовольствие» [\[79\]](#).

Он будет тщательно разбирать принципы, руководящие выбором сексуального партнера («каждый любит то, чего ему не хватает»), и не устанет повторять, что выбор на самом деле совершается гением биологического рода. «Одержимый духом рода, он (человек) всецело подпадает его власти и не принадлежит больше самому себе... ибо в сущности влюбленный преследует не свои интересы, а интересы кого-то третьего, который должен еще только возникнуть» [\[80\]](#).

Он будет повторять, что сила сексуального влечения велика и непреодолима. «Так как человек находится под влиянием импульса — сродни инстинкту насекомых, — который заставляет его добиваться своей цели не раздумывая, вопреки всем доводам разума... человек не может противостоять ему». И разум здесь бессилен: часто мы желаем именно того партнера, которого наш собственный разум настоятельно советует избегать. Но голос разума не способен противостоять силе инстинкта. В качестве примера Шопенгауэр приводит слова римского комедиографа Теренция: «Бессилен разум над тем, что само по себе лишено всякой разумности».

Принято считать, что три открытия основательно пошатнули наше представление о себе как о непревзойденном венце творения: сначала Коперник доказал нам, что Земля отнюдь не является центром Вселенной; затем пришел Дарвин, и мы узнали, что вовсе не являемся чем-то особенным, а, как и все прочие существа, происходим от других форм жизни; и, наконец, Фрейд продемонстрировал, что мы не являемся хозяевами в собственном доме и часто не управляем своим поведением, обусловленным силами, лежащими вне нашего сознания. Нет никаких сомнений в том, что в этом революционном открытии непризнанным соавтором Фрейда был Артур Шопенгауэр, задолго до рождения Фрейда постулировавший, что нами управляют глубинные биологические импульсы и мы заблуждаемся, полагая, что, поступая так или иначе,

действуем совершенно сознательно.

Глава 23

Если я скрою свою тайну, она — моя пленница; если я ее выпущу, я — ее пленник. На древе молчания растет его плод — мир [\[81\]](#).

Бонни волновалась напрасно: на следующее занятие все не только явились в полном составе, но даже раньше обычного — все, за исключением Филипа, который поспешно вошел в комнату и занял свое место ровно в половине пятого.

Недолгое молчание в самом начале занятия вещь обычная: пациенты рано узнают, что не стоит спешить с первой фразой, так как первому обычно достается больше всего внимания. Однако Филип, как всегда бесцеремонно, нарушил это молчание. Ни на кого не глядя, он заговорил своим холодным неживым голосом:

— Я хочу дополнить то, что сказала о моем списке вновь прибывший член нашей группы...

— По имени Пэм, — подсказал Тони. Филип кивнул, не поднимая глаз:

— То, что сказала Пэм. В этом списке были не только имена женщин, с которыми я переспал за тот месяц, но и номера телефонов...

— Ах, неужели номера телефонов? Да, прости, это совершенно меняет дело, — перебила его Пэм.

Не обращая на нее внимания, Филип продолжил:

— В этом списке также было краткое описание сексуальных предпочтений каждой женщины...

— Сексуальных предпочтений? — переспросил Тони.

— Да, то, что любит каждая женщина при половом акте. Например, любит сзади... или шестьдесят девять... или продолжительные игры в начале... начать с поглаживания спины... массажное масло... заводится от шлепков... любит, чтобы ей целовали соски... любит наручники... звереет, если привязать к кровати...

Джулиус похолодел. Что он вытворяет? Он что, собирается обнародовать предпочтения Пэм? Нет, так дело не пойдет.

Однако не успел он вмешаться, как Пэм сама перешла в наступление:

— А ты действительно мерзкий подонок. Просто отвратительный. —

Пэм наклонилась вперед, очевидно собираясь встать и выйти из комнаты.

Но Бонни удержала ее за руку и, повернувшись к Филипу, сказала:

— Я — за Пэм. Филип, ты что, спятил? С чего ТЫ вздумал хвастаться такими вещами?

— Вот именно, — прибавил Гилл. — Я что-то тебя: не понимаю, парень. Нарываешься на неприятности. Ес| ли честно, не хотел бы я оказаться на твоём месте. Что ты делаешь? Ты же подливаешь масла в огонь. Ты что, хочешь сказать: «Давайте, палите меня к чертовой матери», так, что ли? Не обижайся, Филип, но, по-моему, ты перегибаешь палку.

— Я тоже так считаю, — сказал Стюарт. — На твоём месте, Филип, я бы не лез на рожон.

Джулиус попытался успокоить страсти:

— Филип, что ты сейчас чувствуешь?

— Я хотел сделать кое-какие пояснения и сделал это — так что теперь я чувствую себя вполне нормально.

Но Джулиуса не устроило такое объяснение. Стараясь говорить как можно мягче, он сказал:

— Филип, несколько человек только что высказали тебе свои замечания. Что ты думаешь по этому поводу?

— А вот на это ты меня не купишь, Джулиус. Потому что это путь в никуда. Будет лучше — гораздо лучше, если я останусь при своём мнении.

Здесь Джулиусу пришлось сменить оружие и пустить в ход старый испытанный метод условного наклонения:

— Филип, давай мысленно поэкспериментируем — философы делают это каждый день. Я понимаю твоё желание сохранить спокойствие, но все-таки попытайся представить себе, что было бы, если бы *ты захотел что-то почувствовать* из-за того, что сказали другие. *Что бы ты почувствовал?*

Несколько секунд Филип молча раздумывал, потом, слегка улыбнувшись, кивнул, должно быть, уступив изобретательности Джулиуса.

— Поэкспериментировать? Ну что ж, давай попробуем. Если бы я *хотел* почувствовать, я сначала бы испугался Пэм — она так злобно на меня набросилась. Представляю, с каким удовольствием она разорвала бы меня на мелкие кусочки.

Пэм хотела возразить, но Джулиус сделал ей знак не мешать.

— Потом была Бонни. Она спросила, зачем я хвастаюсь. Дальше Гилл со Стюартом спросили, зачем я предаю себя аутодафе.

— Ауто — чего? — переспросил Тони.

Пэм уже открыла рот, чтобы ответить, но Филип ее опередил:

— *Аутодафе* - публичное сожжение еретиков.

— Отлично. Мы уже на полпути к цели, — вмешался Джулиус. — Ты правильно описал все, что случилось — что именно сказали Бонни, Гилл и Стюарт. Теперь давай продолжим наш эксперимент — *если бы ты захотел что-то почувствовать после их замечаний...*

— Да, я отклонился от темы — ты, конечно, уже сделал вывод, что сработало бессознательное?

Джулиус кивнул:

— Продолжай, Филип.

— Хорошо. Я бы подумал, что меня абсолютно не поняли. Пэм я бы сказал: «Я вовсе не пытался менять дело», Бонни: «Я и не думал хвастаться», Гиллу и Стюарту: «Спасибо за заботу, но я не собирался причинять себе боль».

— Отлично, теперь мы знаем, чего ты *не делал*.

А теперь расскажи нам, что ты *делал*? У меня уже голова идет кругом, — сказала Бонни.

— Я просто анализировал то, что произошло. Следовал за доводами разума, и больше ничего.

Тут все снова погрузились в состояние, которое наступало после каждой реплики Филипа. Он звучал так рационально, так отстраненно, что все терялись и недоуменно смотрели в пол. Тони покачал головой.

— Я понял все, что ты сказал, — начал Джулиус, — кроме последнего — вот этой последней фразы «и больше ничего». Этого я совершенно не могу понять. Для чего ты выбрал именно эту тему — именно сегодня, в этой ситуации, при таких отношениях, которые сложились в группе? Ты ведь спешил это сделать. Тебе не терпелось. Я же видел, как ты торопился все это выложить. Несмотря ни на что, ты был настроен начать именно сегодня. Попробуй объяснить, почему? Чего ты хотел добиться?

— Это-то как раз несложно, — ответил Филип. — Я знаю абсолютно точно, зачем я это сделал.

Молчание. Все замерли в ожидании.

— Черт побери, — первым не выдержал Тони. — Филип, ты что, испытываешь нас? Сколько это может продолжаться? Мы что, должны выпрашивать у тебя каждое слово?

— Что ты сказал? — спросил Филип, недоуменно наморщив лоб.

— Ты все время заставляешь нас ждать, — помогла Бонни. — Это что, нарочно?

— Может, ты думаешь, нам все равно? Не интересно, что ты скажешь? — подхватила Ребекка.

— Нет-нет. Ни то ни другое. — ответил Филип. — К вам это не имеет никакого отношения — просто мое внимание рассеивается, и я ухожу в себя.

— А вот это мне кажется очень важным, — вмешался Джулиус. — Думаю, за этим скрывается что-то такое, что влияет на твои отношения в группе. Если твое сознание действительно ведет себя так капризно — как этот дождик за окном, тогда есть повод серьезно задуматься. Почему ты периодически уходишь от разговора и погружаешься в себя? Я думаю, дело в том, что неожиданно ты начинаешь тревожиться. В нашем примере потеря внимания имела отношение к тому, с чего ты начал встречу. Давай попробуем выяснить, что это было?

Филип молчал, размышляя над тем, что сказал Джулиус.

Для общения с коллегами у Джулиуса имелись особые рычаги воздействия:

— И еще одно, Филип. Если в будущем ты собираешься принимать клиентов или вести группы, потеря; внимания и уход в себя станут серьезной помехой в работе.

Это был точный удар — Филип немедленно очнулся:

— Я сказал это, чтобы обезопасить себя: Пэм видела список, и я боялся, что в какой-то момент она про него расскажет. Поэтому я решил сделать это сам — выбрал из двух зол меньшее. — Филип замялся, глубоко вздохнул и продолжил: — И кое-что еще. Я не ответил Бонни — она обвинила меня в хвастовстве. Дело в том, что я вел этот список, потому что тот год был особенно активным. Три недели с Молли были исключением: обычно я спал с кем-нибудь один раз и потом бросал — возвращался, только если не мог найти никого нового. Так вот, если я встречался с женщиной во второй раз, мне требовалось освежить память, чтобы заставить ее поверить, что я действительно ее помню. Если бы она узнала правду, узнала, что она была одной из многих, ничего бы не вышло. Так что никакого хвастовства — эти записи предназначались только для меня. Но у Молли был ключ от моей квартиры — она ворвалась, открыла ящик стола и похитила список.

— Ты что, хочешь сказать, — вмешался Тони, во все глаза глядя на Филипа, — у тебя было столько женщин, что тебе даже приходилось вести записи, чтобы их не перепутать? То есть — как много? Сколько именно? Как у тебя это получалось?

Джулиус неслышно застонал: дело и так запутывалось с каждой минутой, не хватало еще, чтобы Тони лопался от зависти. Отношения между Пэм и Филипом накалились до предела, нужно срочно вмешиваться,

но как? Неожиданная помощь подоспела в лице Ребекки, которая внезапно направила разговор в совершенно другое русло.

— Я прошу прощения, но мне очень нужно ваше внимание, — сказала она. — Я всю неделю об этом думала. Я хочу рассказать то, чего еще никому не рассказывала — даже тебе, Джулиус. Это мой самый страшный секрет. — Ребекка помедлила и обвела глазами группу. Теперь все взгляды были обращены к ней. — Ну, нормально?

Джулиус повернулся к Пэм и Филипу:

— Как вы оба? Или у вас слишком много накопело?

— Я не против, — ответила Пэм. — Мне нужно передохнуть.

— А ты, Филип? Филип кивнул.

— А я так с удовольствием, — добавил Джулиус, повернувшись к Ребекке. — Особенно если ты объяснишь, почему решила рассказать об этом именно сегодня.

— Нет, уж лучше я так расскажу, пока не передумала. В общем, слушайте. Пятнадцать лет назад, за две недели до нашей с Джеком свадьбы, меня послали в Лас-Вегас — там была компьютерная выставка, и я должна была представлять наш новый продукт. Я уже написала заявление об уходе, так что эта командировка была для меня последней — я даже думала, последней в жизни: я была на третьем месяце, мы с Джеком планировали свадебное путешествие, после чего я собиралась целиком посвятить себя дому и нашему будущему ребенку. Тогда я еще и не думала о юриспруденции — даже не знала, буду ли работать вообще. Так вот, в Вегасе со мной вдруг начали происходить странные вещи. Однажды вечером, сама не знаю как, я оказалась в «Цезарь Палас» — сажусь, заказываю выпить, и тут ко мне подсаживается мужчина, приличный такой, и начинает клеиться. Сначала то да се, а потом спрашивает меня, работаю ли я сегодня. Я тогда не знала, что это значит, — говорю «работаю». Не успела я заикнуться про работу, как он спрашивает, сколько я беру. У меня глаза на лоб, смотрю на него — симпатичный такой мужчина — и говорю «сто пятьдесят долларов». Он соглашается, и мы поднимаемся к нему в комнату. На другой вечер я пошла в «Тропикану» и сделала то же самое, за ту же плату. А в последнюю ночь я уже сделала это бесплатно. — Ребекка глубоко вздохнула и с шумом выдохнула воздух. — Ну вот. Вы первые, кому я это рассказала. Я несколько раз думала признаться Джеку, но так и не решилась. Зачем? Он бы только расстроился, а мне все равно не легче, так что... Тони... Тони. Ну что ты делаешь? Черт тебя побери, Тони, это не смешно.

Тони, вытащив кошелек, пересчитывал деньги. Услышав возгласы

Ребекки, он поднял глаза и лукаво улыбнулся:

— Хотел тебя развеселить.

— Не нужно меня веселить. Для меня это настоящая трагедия. — И Ребекка сверкнула одной из своих удивительных улыбок, которые появлялись на ее лице, когда она того хотела. — Вот мое чистосердечное признание. — Она повернулась к Стюарту, который не раз называл ее фарфоровой куколкой. — Ну, что *ты* скажешь? Ребекка больше не кажется тебе чистенькой, беленькой куколкой?

Стюарт ответил:

— Я думал не об этом. Знаешь, что я вспоминал, пока ты рассказывала? Один фильм, я его смотрел несколько дней назад, «Зеленая миля». Там была одна великолепная сцена, где осужденный ест в последний раз перед казнью. Так вот, я подумал, может быть, в Лас-Вегасе перед свадьбой ты тоже в последний раз позволила себе немного лишнего?

Джулиус кивнул:

— Мне тоже так показалось. Очень похоже на то, о чем мы когда-то с тобой говорили, Ребекка. — Повернувшись к группе, Джулиус пояснил: — Много лет назад мы с Ребеккой целый год работали над ее сомнениями, выходить ей замуж или нет. — Снова повернувшись к Ребекке, он продолжил: — Помню, несколько недель подряд мы обсуждали твои страхи: ты боялась потерять свободу, и тебе казалось, что твоей карьере приходит конец. Думаю, Стюарт прав, именно это и случилось с тобой в Лас-Вегасе.

— Знаешь, Джулиус, что мне особенно тогда запомнилось? Однажды ты рассказал мне про одну книгу — кто-то разговаривает с мудрецом, и тот говорит *либо - либо*, на каждое «да» есть свое «нет».

— Я знаю эту книгу. Это «Грендель» Джона Гарднера! — воскликнула Пэм. — Это Грендель, чудовище, искал мудреца.

— Да, мир тесен, — ответил Джулиус. — А ведь это Пэм первая познакомила меня с этой книгой. Пэм ходила ко мне примерно в то же время, что и ты, Ребекка, так что, если эти слова тебе помогли, скажи спасибо Пэм.

Ребекка благодарно улыбнулась:

— Ты заочно меня вылечила, Пэм. Я даже приклеила эти слова на зеркало: «Либо — либо». Это так хорошо объясняло, почему мне трудно было сказать Джеку «да», хотя я и знала, что люблю его. — И снова Джулиусу: — Еще я помню, ты сказал — чтобы стареть красиво, нужно смириться с тем, что наши возможности ограничены.

— Задолго до Гарднера, — вставил Филип, — Хайдеггер, — тут он

повернулся к Тони, — знаменитый немецкий философ первой половины прошлого века...

— И заодно известный нацист, — добавила Пэм. Не обращая внимания на Пэм, Филип продолжил:

— ...Хайдеггер говорил о том, как справляться с ограниченностью наших возможностей. Он связывал это со страхом смерти. Смерть, говорил он, есть *невозможность дальнейшей возможности*.

— *Невозможность дальнейшей возможности?* — повторил Джулиус. — Сильная мысль. Может быть, я приклею эти слова на свое зеркало. Спасибо, Филип. Друзья мои, у нас накопилось много вопросов, включая и твои, Пэм, но сначала еще одно замечание тебе, Ребекка. Этот случай в Лас-Вегасе — он должен был произойти, как раз когда мы с тобой встречались, но ты ни разу мне об этом не говорила. Из этого я заключаю, что тебе действительно было очень стыдно.

Ребекка кивнула.

— Да, я думала закопать его и забыть. — Она замялась, решая, сказать или нет, и наконец произнесла: — Хотя, знаешь, Джулиус... Мне, конечно, было стыдно тогда, но... я знаю, это ужасно... но я еще долго об этом вспоминала: у меня было такое ощущение, что это был настоящий взлет, не сексуальный, конечно, — хотя нет, *не только* сексуальный, — но взлет. Это было так здорово — забыть про все, оторваться и делать то, что хочешь. И знаешь, — Ребекка повернулась к Тони, — это именно то, что меня всегда привлекало в тебе, Тони, — твоя судимость, твои потасовки, твое отношение к законам. Но эта твоя последняя выходка с деньгами — это уже переходит все границы.

Тони не успел ответить, как в разговор вмешался Стюарт:

— Ты молодец, Ребекка. Знаешь, я тоже решил рассказать кое-что, о чем еще никому не рассказывал - ни Джулиусу, ни своему предыдущему доку, никому вообще. — Он помолчал, заглядывая каждому в глаза. — Пытаюсь определить степень безопасности. Немного страшновато. Я верю каждому из вас, кроме тебя, Филип, — я еще слишком мало тебя знаю. Надеюсь, Джулиус предупреждал тебя о конфиденциальности?

Молчание.

— Ты ставишь меня в неловкое положение, Филип. Я к тебе обращаюсь. — Стюарт повернул голову и в упор посмотрел на Филипа. — Да что с тобой такое? Почему ты молчишь, Филип?

Филип поднял глаза:

— Я не знал, что требуется мой ответ.

— Я сказал «надеюсь, Джулиус предупредил тебя о

конфиденциальности» и повысил интонацию в конце предложения. Разве это не подразумевает, что я задаю вопрос? Кроме того, из контекста было ясно, что я жду от тебя ответа.

— Я понял тебя, — ответил Филип. — Да, Джулиус говорил мне про конфиденциальность, и я обещал соблюдать все условия, включая конфиденциальность.

— Отлично, — ответил Стюарт. — Знаешь, Филип, я начинаю менять свое мнение о тебе — сначала я думал, что ты выскочка, но теперь я начинаю понимать, что тебя просто не приучили к миске — к людям, я хотел сказать. Да, и это не требует ответа — это так, к сведению.

— Первый класс, Стюарт, — ухмыльнулся Тони. — Ты задираешься, старик, — это по-нашему.

Стюарт кивнул.

— Я не хотел тебя обидеть, Филип, но мне нужно рассказать одну историю, и я хотел удостовериться, что все в порядке. В общем, так. — Он глубоко вздохнул. — Начнем. Тринадцать или четырнадцать лет назад — в то время я как раз закончил практику и готовился приступить к работе — я отправился на Ямайку на съезд педиатров. Вообще-то формально такие съезды проводятся, чтобы держать медицину в курсе последних событий, но многие ездят туда по другим причинам: так, присмотреть себе новое место или новый научный проект... ну, и вообще расслабиться и кого-нибудь трахнуть. Что касается меня, то я пролетел по всем пунктам, и вдобавок на обратном пути в Майами мой самолет задержали, и в результате я пропустил свою пересадку в Калифорнию, так что мне предстояло всю ночь провести в гостинице при аэропорте — как вы понимаете, я был в самом скверном настроении.

Все напряженно молчали — никто не ожидал услышать от Стюарта такое.

— Я пришел в гостиницу в половине двенадцатого ночи, поднялся на лифте на седьмой этаж — странно, что я до сих пор помню все до мельчайших подробностей, — и пошел по длинному коридору к своему номеру. Было очень тихо, и вдруг одна из дверей открылась, и из нее выскочила какая-то растрепанная женщина в ночной сорочке — довольно привлекательная, с шикарным телом, лет на десять-пятнадцать старше меня. Она схватила меня за руку — от нее сильно пахло перегаром — и спросила, не заметил ли я кого-нибудь в коридоре. «Никого, а что?» — ответил я. Тогда она принялась рассказывать мне какую-то длинную и запутанную историю о том, что рассильный якобы только что выманил у нее шесть тысяч долларов. Я посоветовал ей позвонить администратору

или в полицию, но она, как ни удивительно, ничего предпринимать вроде бы и не хотела. Затем она пригласила меня в номер. Мы поговорили, и я попытался ее успокоить, хотя мне с самого начала было ясно, что никакого ограбления не было и все это ей показалось. Слово за слово — и вскоре мы очутились у нее в постели. Я несколько раз спросил ее, хочет ли она этого, то есть хочет ли она, чтобы мы занялись любовью. Она сказала, что хочет, и мы это сделали, а через час или два, когда она уснула, я ушел в свой номер, где проспал несколько часов, а затем вылетел ранним утренним рейсом. До того как сесть в самолет, я позвонил в гостиницу и анонимно сообщил, что, возможно, их гостя из 712-го номера нуждается в медицинской помощи. — Через несколько секунд в полной тишине Стюарт прибавил: — Вот и все.

— И *все*? - спросил Тони. — В стельку пьяная смазливая шлюшка приглашает тебя в свой номер, и ты даешь ей то, о чем она тебя просит? Старик, черта с два я бы упустил такой случай.

— Нет, не *то*, - возразил Стюарт. — Я хотел сказать, что я, врач, встречаю больную женщину, с начальной — а может, даже запущенной — стадией алкогольного галлюциноза, и затаскиваю ее в постель. Это же нарушение клятвы Гиппократ, профессиональное преступление. Я никогда себе этого не прощу. Этот случай до сих пор не идет у меня из головы. Он не дает мне покоя.

— Ты слишком строг к себе, Стюарт, — ответила Бонни. — Эта женщина, ей наверняка было одиноко, да к тому же она была выпивши — она выходит в коридор, видит симпатичного молодого человека и тянет его в постель. Она получила то, что хотела, может быть, даже то, что ей было необходимо. Ты сделал ей хорошо. Может, она до сих пор вспоминает это как свою самую счастливую ночь.

Остальные — Гилл, Ребекка, Пэм — тоже собирались что-то сказать, но Стюарт их перебил:

— Спасибо за ваши слова, ребята, — если бы вы знали, сколько раз я себя в этом убеждал. Но, честно говоря, я рассказал вам это совсем не для того, чтобы получить вашу поддержку. Мне просто хотелось признаться, вытащить этот мерзкий случай наружу, освободиться от него — вот и все.

Бонни ответила:

— Вот это правильно. Молодец, Стюарт. Только ты опять отказываешься принять нашу помощь. Ты всегда помогаешь другим, но не хочешь, чтобы помогали тебе.

— Может быть, это врачебный рефлекс, — отозвался Стюарт. — Видишь ли, в университете нас не учили быть пациентами.

— А у врачей что, не бывает выходных? — спросил Тони. — Мне кажется, в ту ночь в Майами ты не был врачом. Ночь с девицей, которая сама тянет тебя в теплую постельку, — брось, старик, расслабься, лови кайф, пока можно.

Стюарт покачал головой:

— Недавно я слушал беседу далай-ламы с буддистскими священниками. Так вот, один из них пожаловался на аскетический образ жизни и спросил, почему они не могут время от времени устраивать себе выходные. То, что ответил далай-лама, было просто поразительно: «Выходной? — сказал он. — Представьте себе, Будда говорит: «Извините, у меня сегодня выходной». К Иисусу подходит страждущий, и он отвечает: «Извини, брат, у меня выходной». Далай-лама все время хихикает, но эта мысль так его рассмешила, что он хохотал до колик.

— Неубедительно, — ответил Тони. — Знаешь, Стюарт, мне кажется, ты просто прикрываешься своим дипломом от реальной жизни.

— То, что я сделал тогда в гостинице, было очень плохо, и никто не сможет убедить меня в обратном.

Джулиус сказал:

— Четырнадцать лет, и ты до сих пор не можешь об этом забыть. Какие последствия были у этого случая?

— Ты хочешь сказать, кроме самобичевания и отвращения к себе? — спросил Стюарт.

Джулиус кивнул.

— Могу только сказать, что все это время я изо всех сил старался быть хорошим врачом и больше никогда, ни на йоту не нарушил профессиональной этики.

— Стюарт, я торжественно заявляю, что ты уплатил долг, — сказал Джулиус. — Объявляю дело закрытым.

— Аминь, — послышалось со всех сторон. Стюарт улыбнулся и осенил себя крестным знаменiem:

— Это напоминает мне воскресные мессы моего детства. Я чувствую себя так, словно только что вышел из исповедальни, где мне отпустили все грехи.

— Хочу рассказать, вам одну историю, — сказал Джулиус. — Много лет назад в Шанхае я как-то зашел в церковь. Я атеист, но люблю заходить в храмы — там хорошо думается. Так вот, я походил по церкви, а потом сел в кабинку для исповеди, на место священника, и там вдруг понял, что завидую исповеднику. Какой властью он обладает, подумал я. Я даже попробовал произнести: «Отпускаю грехи твои, сын мой. Дочь моя». Я

представил себе, как, должно быть, прекрасно чувствовать себя сосудом, который, освобождая чью-то душу от тяжести, наполняется чужими грехами и вместе с прощением возносится куда-то вверх. То, что я делаю, показалось мне таким ничтожным. Но потом, когда я вышел из церкви, я понял, что все не так уж плохо — по крайней мере, я живу в согласии с разумом и не дурачу других, выдавая желаемое за действительное. После паузы Пэм заметила:

— Знаешь, Джулиус, а ты изменился. Ты был другим до моего отъезда. Ты рассказываешь про свою жизнь, говоришь о религии. Раньше этого не было. Не знаю, может быть, дело в твоей болезни, но мне это определенно нравится. Мне нравится, что ты стал более открытым.

Джулиус кивнул:

— Спасибо, Пэм. Из наступившего молчания я заключаю, что оскорбил чьи-то религиозные чувства?

— По крайней мере, не мои, — отозвался Стюарт. — Меня просто бесит, когда говорят, что девяносто процентов американцев верят в бога. Лично я перестал ходить в церковь еще подростком, и если бы не сделал этого раньше, то сделал бы сейчас наверняка — после всего, что выплыло наружу про наших священников с их педофильскими наклонностями.

— И не мои, — добавил Филип. — Вы с Шопенгауэром похоже смотрите на религию. Он считал, что церковь наживается на врожденной потребности человека в метафизике, дурачит людей и к тому же тонет в собственной лжи, отказываясь признать, что сознательно замаскировала истины в своих аллегориях.

Джулиусу показалось любопытным это замечание, но до конца оставалось несколько минут, поэтому он поспешил вернуться к делу:

— Сегодня мы отлично поработали. Было сделано много смелых признаний. Какие впечатления? Кое-кого мы почти не слышали сегодня. Пэм? Филип?

— Лично я считаю, — быстро ответил Филип, — все, что мы услышали сегодня и что причинило столько ненужных страданий мне и остальным, — все это следствие мощной власти полового влечения, которое, как учил меня мой психотерапевт Артур Шопенгауэр, является врожденным или, как бы мы сейчас сказали, встроенным свойством человека. Я знаю наизусть многие из его высказываний — я часто цитирую их на лекциях. Взять хотя бы вот это: «Половая любовь — это самое сильное, самое действенное из всех побуждений... Оно почти всегда является конечной целью всех человеческих усилий. Оно... ежечасно вмешивается в самые важные занятия и порой ставит в тупик...

величайшие умы человечества». «Любовь бесцеремонно лезет со своими пустяками и мешает... ученым занятиям»...

— Филип, это, конечно, очень важно, но, прежде чем мы закончим, я бы хотел знать твои собственные ощущения, а не ощущения Шопенгауэра, — прервал его Джулиус.

— Я попробую, но сначала дай мне закончить — еще одно, последнее высказывание: «Ежедневно она поощряет на самые рискованные и дурные дела, разрушает самые дорогие и близкие отношения, разрывает самые прочные узы... отнимает совесть у честного, делает предателем верного». — Филип замолчал. — Вот все, что я хотел сказать. Я кончил.

— А где же чувства? — с ухмылкой заметил Тони, радуясь возможности напасть на Филипа.

Филип кивнул:

— Скорблю о том, что мы, простые смертные и товарищи по несчастью, становимся жертвами собственной биологии и отравляем себе жизнь виной за простые и естественные акты — такие, как совершили Стюарт и Ребекка. И что перед каждым из нас стоит цель освободиться от рабства половой любви.

После привычной паузы, последовавшей за репликой Филипа, Стюарт обратился к Пэм:

— Мне бы хотелось знать твое мнение. Что ты думаешь о том, что я сегодня рассказал? Когда я говорил, я думал о тебе: я думал, что ставлю тебя в неловкое положение — ведь ты не сможешь простить меня без того, чтобы заодно не простить и Филипа.

— Я не перестала уважать тебя, Стюарт. Ты знаешь, это моя больная тема. Меня ведь тоже использовал доктор: Эрл, мой муж, с которым я сейчас развожусь, был моим гинекологом.

— Да, я знаю, — заметил Стюарт, — и это только усложняет дело. Как ты сможешь простить меня, не простив их обоих — Филипа и Эрла?

— Не совсем так, Стюарт. Ты глубоко нравственный человек, и сегодня я еще раз в этом убедилась. Твоя история с гостиницей меня несколько не впечатлила — читал «Страх полета»? — Стюарт покачал головой, и Пэм продолжила: — Очень рекомендую. Эрика Йонг сказала бы, что ты просто «кайфово оттянулся»: случайное совокупление по взаимному согласию, ты вел себя порядочно, никого не обидел, проследил, чтобы с девицей все было в порядке, и это стало для тебя моральным уроком на всю жизнь. Но Филип... Что можно сказать о человеке, который молится на Хайдеггера с Шопенгауэром? Самых жалких ничтожеств во всей философии. Филип поступил бессовестно, предательски, он так грязно...

Но тут вмешалась Бонни:

— Постой, Пэм. Помнишь, когда Джулиус хотел остановить Филипа, но Филип все-таки процитировал еще одну фразу — о том, что секс лишает разума и разрушает человеческие отношения? Мне кажется, это был жест раскаяния. Может, он говорил это для тебя?

— Если Филип хочет мне что-то сказать, пусть скажет мне лично. Я не желаю слышать это от Шопенгауэра.

— Дайте мне сказать, — вмешалась Ребекка. — В прошлый раз я так переживала за вас обоих — и за всех нас, включая Филипа, которого, давайте взглянем правде в глаза, мы просто втоптали в грязь. Дома я вспомнила слова Иисуса — кто без греха, пусть первый бросит в меня камень — в общем, все это связано с тем, что я сегодня рассказала.

— Нам нужно заканчивать, — сказал Джулиус, — но хочу сказать тебе, Филип: именно это я и имел в виду, когда спрашивал, что ты чувствуешь.

Филип в недоумении покачал головой.

— Ты заметил, что Ребекка и Стюарт сегодня сделали тебе подарок?

Филип, по-прежнему качая головой, ответил:

— Не понимаю.

— Хорошо, вот тебе задание на дом, Филип: подумай о том, что подарили тебе сегодня Стюарт с Ребеккой.

Глава 24

Если не хочешь стать добычей в руках мошенника и объектом насмешек для глупца, помни главное правило — всегда будь холоден и сдержан [\[82\]](#).

Выйдя от Джулиуса, Филип несколько часов бесцельно бродил по городу. Миновав полуразрушенную колоннаду Дворца изящных искусств, он дважды обошел пруд, любуясь лебедями, которые гордо патрулировали свою территорию, затем долго брел вдоль причала, пока не достиг моста Золотые Ворота. О чем Джулиус просил его подумать? Кажется, о том, что Стюарт и Ребекка как-то ему помогли, но прежде чем он успевал над этим задуматься, мысли сами собой улетучивались. Снова и снова он пытался очистить сознание, отталкиваясь от успокаивающих образов — водная дорожка от лебедей, скачущие волны под мостом, — но мысли упорно не хотели настраиваться на нужный лад.

Он прошел сквозь Пресидио, бывшую военную базу, с которой открывался захватывающий вид на устье залива, и повернул на Клемент-стрит с ее нескончаемыми азиатскими ресторанчиками впритык друг к другу. Выбрав скромную вьетнамскую закусочную, он уселся за столик и, когда принесли суп, в котором плавали какие-то бычьи жилы, несколько минут посидел, не двигаясь, наслаждаясь ароматом лимонного сорго, поднимавшимся от бульона, и любуясь горкой блестящей рисовой лапши. Уже после нескольких ложек он попросил сложить остатки в пакет для собаки.

Вообще не внимательный к еде, Филип свел прием пищи к несложной механической привычке: завтрак из кофе и гренок с мармеладом, обед в студенческой столовой и скромный ужин из супа или салата. Ел он всегда в одиночку — и временами расплывался в широкой улыбке, вспоминая, как Шопенгауэр, обедая в клубе, всегда платил за два места, чтобы никто случайно не подсел к нему за столик.

Наконец, он повернул домой. Крохотный домик, в котором он жил, располагался на территории одной из вилл в Пасифик-Хайтс, неподалеку от дома Джулиуса. Хозяйка виллы, одинокая вдова, сдавала этот домик за скромную плату: она нуждалась в дополнительном доходе и, цenia свое уединение, тем не менее нуждалась в чем-нибудь ненавязчивом

присутствии. Филип как нельзя лучше подходил для этого, так что они с вдовой вот уже несколько лет жили бок о бок, не нарушая одиночества друг друга.

Радостное приветственное повизгивание, лай, виляние хвостом и акробатические трюки Регби, обычно доставлявшие Филипу столько удовольствия, на сей раз ни капли его не тронули. Ни вечерняя прогулка с Регби, ни привычные занятия не принесли ему успокоения. Он покурил трубку, послушал Четвертую симфонию Бетховена, рассеянно почитал что-то из Шопенгауэра и Эпиктета — только одна фраза из Эпиктета на некоторое время задержала его внимание:

Если ты имеешь серьезное намерение заняться философией, приготовься к граду презрительных насмешек. Помни, что если ты будешь настойчив, те же люди, что когда-то смеялись над тобой, станут впоследствии восхищаться тобой... Помни, что если ради того, чтобы доставить удовольствие кому-то, ты увлечешься внешним, это верный признак того, что ты изменил избранному пути» [\[83\]](#).

И все же беспокойство не проходило — то же самое беспокойство, которое когда-то каждый вечер толкало его на поиски приключений и которое, как ему казалось, он успел забыть. Он побрел в кухню, убрал со стола оставшуюся от завтрака посуду, включил компьютер и предался своей давней единственной страсти — шахматным блицам в сети. Три часа он в полном молчании анонимно разыгрывал пятиминутные партии. В основном выигрывал. Если проигрывал — большей частью из-за рассеянности, — злился недолго, тут же набирал «ищу новую игру», и глаза его по-детски разгорались, едва на экране вновь возникала доска.

Глава 25. Дикобразы, гений и житейские советы мизантропа

К тридцати годам я уже был сыт по горло необходимостью относиться как к равным к существам, которые таковыми на самом деле не являлись. Кошечки играют бумажными шариками, которые им бросают; они катят их, гонятся за ними, двигают их лапками и т.д., потому что они принимают их за нечто себе подобное, нечто живое. Когда же кошечка подрастет, иллюзия исчезнет и кошечка уже больше не станет играть шариками, так как знает, что они не то же, что она, — кошечка оставляет их в покое [\[84\]](#).

Притча о дикобразах, одно из самых известных мест в трудах Шопенгауэра, как нельзя лучше передает его мрачный взгляд на человеческое сообщество:

Стадо дикобразов легло в один холодный зимний день тесною кучей, чтобы, согреваясь взаимной теплотой, не замерзнуть. Однако вскоре они почувствовали уколы от игл друг друга, что заставило их лечь подальше друг от друга. Затем, когда потребность согреться вновь заставила их придвинуться, они опять попали в прежнее неприятное положение, так что они метались из одной печальной крайности в другую, пока не легли на умеренном расстоянии друг от друга, при котором они с наибольшим удобством могли переносить холод. Так потребность в обществе, проистекающая из пустоты и монотонности личной внутренней жизни, толкает людей друг к другу; но их многочисленные отталкивающие свойства и невыносимые недостатки заставляют их расходиться [\[85\]](#).

Вывод ясен: терпи близость другого, пока это необходимо, и избегай ее, где только можешь. Любой современный психотерапевт тут же, не колеблясь, порекомендовал бы человеку с подобными взглядами пройти полный курс лечения. Психотерапия как раз и адресована людям с проблемами общения, и объектом ее внимания являются самые

разнообразные человеческие комплексы: аутизм, замкнутость, фобии всех мастей, шизоидные реакции, асоциальное поведение, нарциссизм, неспособность любить, мания величия, самоуничижение и прочее и прочее.

Согласился бы с этим Шопенгауэр? Считал ли он пороком такое отношение к людям? Вряд ли. Его взгляды были для него так естественны, так глубоко укоренились, что ему и в голову не приходило взглянуть на них как на возможное заблуждение. Напротив, он относил мизантропию и добровольное одиночество к своим безусловным достоинствам. Вот что, к примеру, он пишет в заключительной части своей притчи про дикобразов: «У кого же много собственной, внутренней теплоты, тот пусть лучше держится вдали от общества, чтобы не обременять ни себя, ни других» [\[86\]](#).

Шопенгауэр был убежден, что человек, обладающий внутренней силой и внутренними достоинствами, не нуждается в участии других — такой человек становится самодостаточным, целиком зависит от самого Себя. Такое убеждение и непоколебимая вера в собственный гений всю жизнь будут диктовать ему сторониться близости с людьми. Он часто будет повторять, что его принадлежность «к высшему разряду человечества» [\[87\]](#) обязывает его не растрчивать свой талант на праздное общение, а, напротив, употреблять его на общее благо. «Мой интеллект, — пишет он, — принадлежит не мне, но миру» [\[88\]](#).

Его многочисленные нескромные высказывания в пользу собственного величия, пожалуй, можно было бы принять за безудержное самовосхваление, если бы не одно обстоятельство — все это было не более чем трезвой оценкой собственных возможностей. Стоило Артуру окончательно ступить на ученое поприще, как его таланты не замедлили раскрыться во всем своем блеске, приводя в несказанный восторг учителей.

Гёте, единственный представитель девятнадцатого века, которого Артур будет почитать за равного себе, в конце концов будет вынужден признать его талант. В начале их знакомства, встречая Артура, тогда еще только готовившегося к поступлению в университет, в салоне у Иоганны, Гёте будет демонстративно его не замечать. Когда же Иоганна попросит Гёте написать сыну рекомендательное письмо, необходимое для поступления в университет, Гёте мастерски уклонился от оценки и напишет в записке к своему старинному приятелю, университетскому преподавателю греческого языка: «Юный Шопенгауэр за все это время сменил немало увлечений, чего он достиг и в какой дисциплине, ты быстро оценишь сам, если, по старой дружбе, уделишь ему немного своего бесценного времени» [\[89\]](#).

Однако уже через несколько лет Гёте прочтет докторскую диссертацию двадцатилетнего Артура и будет настолько покорен его талантом, что станет регулярно присылать за ним своего слугу и вести с ним продолжительные беседы с глазу на глаз, когда Артур в следующий раз прибудет в Веймар. Гёте нуждался в толковом собеседнике, способном компетентно высказаться по поводу его старательно разрабатываемой теории цветов, и хотя Шопенгауэр мало разбирался в предмете, Гёте рассудил, что столь редкостный врожденный ум не может не оценить его работу. Как оказалось, в конце концов он получит даже больше, чем рассчитывал.

Шопенгауэр, чрезвычайно польщенный вниманием великого Гёте, так напишет своему берлинскому профессору: «Ваш друг, наш великий Гёте, очень милый, спокойный и доброжелательный человек, да прославится его имя во веки веков» ^[90]. Однако уже через несколько недель между ними возникнут первые разногласия. Артур будет считать, что Гёте сделал весьма любопытные наблюдения по поводу механизма зрения, но ошибся в нескольких существенных вопросах и в результате не сумел создать всеобъемлющую теорию цвета. Забросив свои занятия, Артур целиком погрузится в разработку собственной теории цветов, во многих отношениях принципиально отличавшейся от работы Гёте, которую и опубликует в 1816 году. Заносчивость и высокомерие Шопенгауэра в конце концов подорвут дружбу двух великих людей. В своем дневнике Гёте так опишет свой разрыв с ним: «Мы были во многих вопросах согласны друг с другом, однако, в конце концов, определенное расхождение оказалось неизбежным. Это было подобно тому, как двое друзей, пройдя вместе значительную часть пути, решают наконец расстаться,жимают друг другу руки, один отправляется на север, другой на юг, и очень скоро оба теряют друг друга из виду» ^[91].

Артур будет оскорблен внезапной холодностью Гёте, но навсегда сохранит к нему благодарность за признание своего таланта и всю жизнь будет превозносить его имя и охотно цитировать его труды.

В своих работах Артур посвятит немало страниц размышлениям о разнице между талантом и гением. Он станет говорить, что талант похож на стрелка, попадающего в цель, которая недостижима для других, тогда как гений похож на стрелка, попадающего в цель, которую другие не в состоянии даже видеть. Он будет повторять, что талантливые люди вызываются к жизни потребностями своего времени и своими трудами удовлетворяют эти потребности, но их делам вскоре суждено исчезнуть,

так что будущие поколения даже не вспомнят о них (возможно, говоря об этом, он имел в виду работы собственной матери). «Гений же вторгается в свое время, словно комета — в круг бесчисленных светил, которых стройному порядку совершенно чуждо ее эксцентрическое движение... Он не может поэтому войти в колею уже существующего, исторически-нормального развития своей эпохи — нет, свои творения бросает он вперед, на путь грядущих столетий... и на этом *пути* должно настигнуть их время» [\[92\]](#).

Его знаменитая притча о дикобразах, в частности, говорит о том, что человек одаренный, а тем более гений, не нуждается в чужом тепле. Но есть и другой, более мрачный аспект этой притчи: люди суть неприятные и отвратительные создания, которых следует избегать. Эта идея красной нитью проходит через все работы

Шопенгауэра, пестрящие презрительными замечания в адрес своих собратьев. Взять хотя бы начало его блистательного трактата «Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа»: «Когда в обыденной жизни кто-нибудь из многочисленных людей, желающих знать, ничему не учась, предлагает вопросы относительно загробного существования, то наиболее подходящим и правильным ответом является следующий: „после своей смерти ты будешь тем, чем был до рождения“» [\[93\]](#).

В этой работе Шопенгауэр приводит блистательные доказательства невозможности двух видов небытия и подводит читателя к совершенно неожиданному взгляду на проблему смерти. Но к чему было начинать с такого оскорбительного выпада — «кто-нибудь из многочисленных людей, желающих знать, ничему не учась»? К чему марать высокие идеи такими мелочными придирками, такой низкой бранью? Это соединение несоединимого типично для творчества Шопенгауэра. Как странно видеть перед собой мыслителя, одаренного столь высоким гением и одновременно столь далекого от людей, наделенного божественным даром предвидения и так безнадежно ослепленного собственной гордыней.

Упоминая о своем общении с другими людьми, он никогда не упустит случая пожалеть о потраченном времени. «Лучше вообще не уметь говорить, чем вести бесплодные и утомительные беседы, какие неизменно случаются между двуногими» [\[94\]](#).

Он будет горько сокрушаться о том, что всю жизнь искал «истинное человеческое существо», но встречал лишь «несчастливых созданий с низкими помыслами, дурным нравом и убогих по уму» [\[95\]](#) (исключение здесь составит только Гёте, которого Артур всегда будет подчеркнуто

освобождать от подобных обвинений).

В автобиографических записках Артур станет утверждать, что «почти каждая встреча с людьми есть грязь и скверна. Мы спустились в мир, населенный жалкими, презренными созданиями, к которым мы не принадлежим. Мы должны чтить и возносить тех немногих лучших; мы рождены, чтобы наставлять остальных, но не смешиваться с ними» [\[96\]](#).

Если взять его труды и отсеять все лишнее, вполне можно составить себе своеобразный манифест мизантропа — можно только догадываться, как с таким манифестом Артур преуспел бы на занятиях современной групповой терапии.

- «Чего не должен знать твой враг, того не говори своему другу» [\[97\]](#).
- «На все наши личные дела следует смотреть как на тайны; надо оставаться совершенно неизвестным для своих знакомых... осведомленность их в невиннейших вопросах может когда-нибудь при случае оказаться для нас весьма невыгодной» [\[98\]](#).
- «Ни любить, ни ненавидеть» — такова первая половина житейской мудрости; вторая ее половина: «Ничего не говорить и никому не верить» [\[99\]](#).
- «Недоверие — мать спокойствия» [\[100\]](#) (излюбленная французская поговорка).
- «Забыть какую-либо скверную черту человека — это все равно что выбросить трудом добытые деньги. Таким образом мы избежим глупой доверчивости и неразумной дружбы» [\[101\]](#).
- «В жизни превосходство может быть приобретено лишь тем, что человек ни в каком отношении не будет нуждаться в других и открыто станет показывать это» [\[102\]](#).
- «Чем меньше уважаешь других, тем больше они будут уважать тебя» [\[103\]](#).
- «Если среди нас есть человек действительно выдающихся достоинств, то не полагается говорить ему этого, словно это какое-то преступление» [\[104\]](#).
- «Лучше позволить людям быть тем, что они есть, чем принимать их за тех, кем они не являются» [\[105\]](#).
- «Злобу или ненависть нельзя обнаружить иначе, как действием... Ядовитыми бывают лишь животные, имеющие холодную кровь» [\[106\]](#).
- «Немного вежливости и дружелюбия способны сделать людей уступчивыми и услужливыми. Таким образом, вежливость для человека то же, что для воска тепло» [\[107\]](#).

Глава 26

Мало столь верных способов привести людей в хорошее настроение, как если мы расскажем им о каком-нибудь недавно постигшем нас значительном горе или также если мы откровенно обнаружим перед ними какую-нибудь личную слабость [\[108\]](#).

На следующем занятии Гилл плюхнулся в кресло так, что оно жалобно заскрипело, и, дождавшись, когда все усядутся, начал первым:

— Если никто не возражает, я хотел бы продолжить упражнения с «секретами».

— В таком случае я хочу сделать одно заявление, — отозвался Джулиус. — Не думаю, что стоит превращать это в обязательное упражнение. Конечно, хорошо, что каждый из вас полностью раскрывается, но гораздо важнее, чтобы все шло естественно, без напряжения, чтобы ничто на нас не давило.

— Я понял, — ответил Гилл, — но на меня и так ничего не давит. Я действительно хочу вам рассказать одну историю, и кроме того, мне не хочется, чтобы Ребекка и Стюарт оставались в гордом одиночестве. Нормально? — Дождавшись нескольких одобрительных кивков, Гилл продолжил: — Моя «страшная» история произошла, когда мне было тринадцать. Я тогда еще был прыщавым пацаном и только-только начал созреть, а моя тетка Вэлери, младшая сестра отца — ей было где-то под тридцать или немного больше, — в общем, она часто гостила у нас, у нее постоянно что-то не клеилось с работой. Мы отлично ладили и все время играли, пока предков не было дома, — ну, знаете, боролись, щекотали друг друга, играли в карты. Так вот, однажды мы играли в карты на раздевание, и я сшельмовал и заставил ее раздеться догола, и тут у нас пошло... в общем, какая там щекотка, мы начали щупать друг друга. Я был неопытным, гормоны взыграли — короче, я даже точно не знал, что я такое делаю, а тут она мне говорит: «Вставляй это сюда». Я отвечаю «да, мэм» и продолжаю следовать инструкциям. В общем, мы начали делать это каждый раз, когда оставались одни, пока через пару месяцев мои старики не заявили домой пораньше и не застукали нас за этим делом, — в общем, как говорится, нас поймали на месте преступления — *flagrant*...

flagrant... как там?

Гилл покосился на Филипа, тот открыл было рот, но его опередила Пэм, которая выпалила:

— *Flagrante delicto*.

— Ух ты. Здорово... Я и забыл, что теперь у нас два профессора, — пробормотал Гилл и продолжил свой рассказ: — Ну, тут такое началось. Отец, правда, не слишком кипятился, но зато мать встала на дыбы, и тетя Вэл больше никогда к нам не приезжала — мать даже злилась на отца за то, что он с ней не порвал. -

Гилл замолчал и, оглядев всех, добавил: — Я, конечно, понимаю, почему мать так разозлилась на тетю Вэл, но в том, что случилось, была и моя вина.

— Твоя вина? Это в тринадцать-то лет? Да брось ты, Гилл, — откликнулась Бонни. Остальные — Стюарт, Тони, Ребекка — закивали.

Еще до того как Гилл успел ответить, неожиданно заговорила Пэм:

— Я хочу кое-что сказать тебе, Гилл. Наверное, это будет не совсем то, что ты ждешь, но все-таки... Я давно хотела тебе сказать — еще до того, как уехала в Индию... Не знаю, Гилл, как бы это сделать помягче, так что не буду даже пытаться и просто скажу, что думаю. В общем, твоя история меня не трогает, и ты сам, Гилл, *ты меня не трогаешь*. Даже когда ты говоришь, что признаешься в страшной тайне, как Стюарт или Ребекка, я не верю, что ты говоришь *про себя*. Я знаю, ты очень привязан к группе, ты всегда активно работаешь, помогаешь другим, и, если кто-то выскакивает за дверь, ты первый бежишь на помощь. Но на самом деле только кажется, что ты открываешь какой-то секрет, — это только видимость, а ты сам прячешься. Да, именно — прячешься, прячешься, прячешься. Твой рассказ про тетушку — типичный пример: на первый взгляд *кажется*, что он про тебя, но это не так. Это такой трюк, фокус, потому что это не *твоя* история, это история тети Вэл. *Естественно*, группа поднимется на твою защиту, и все хором запоют: «Как же так, Гилл! Ты же был ребенком. Тебе было только тринадцать. Ты стал жертвой!» А что еще они могут сказать? А твои истории про семейную жизнь — они всегда только про Роуз и никогда про тебя. В результате всегда одно и то же: ты рассказываешь, а мы тебе подпеваем: «Ах, бедный Гилл. Как же ты все это терпишь?» Знаешь, когда я до посинения медитировала в Индии, я много думала о нашей группе — вы даже не представляете, как много я думала. Я думала о каждом, о каждом в отдельности — кроме тебя, Гилл. Мне неприятно об этом говорить, но я *ни разу тебя не вспомнила*. Когда ты что-то говоришь, я никогда не знаю, к кому ты обращаешься — к стене? к полу? — по крайней мере, у меня

никогда не бывает чувства, что ты обращаешься *лично* ко мне.

Наступила тишина. Все ошеломленно молчали, не зная, что сказать. Наконец Тони очнулся и, присвистнув, сказал:

— Добро пожаловать домой, Пэм.

— Нет смысла тут сидеть, если не говорить все, что думаешь, — отозвалась Пэм.

— Ну, что скажешь, Гилл? — спросил Джулиус.

— Да... Это удар под дых. Задыхаешься, и во рту горечь. Надеюсь, *это* хотя бы про меня, Пэм? Погоди-погоди, ничего не говори. Я не это хотел сказать. Я знаю, ты сказала, что думаешь, и в глубине души я с тобой согласен.

— Немного подробнее об этом, Гилл, — о том, что ты согласен с Пэм, — подсказал Джулиус.

— Да, я согласен. Я мог бы сказать кое-что еще, я знаю. У меня действительно есть что сказать.

— Кому, например? — спросила Бонни.

— Хотя бы *тебе* - ты мне очень нравишься, Бонни.

— Очень приятно, Гилл, но это все еще не про себя.

— Ну, мне было очень приятно, когда ты назвала меня красавцем-мужчиной. И я совсем не считаю, что ты некрасивая и в подметки не годишься таким, как Ребекка. Мне всегда нравились — может быть, после тети Вэл — женщины постарше. И уж если на то пошло, у меня даже были кое-какие сальные мыслишки, когда ты пригласила меня переночевать после ссоры с Роуз.

— Так что ж ты зевал? — спросил Тони.

— Да были кое-какие проблемы...

Когда стало ясно, что Гилл не намерен распространяться дальше, Тони спросил:

— Ну, не хочешь об этих проблемах рассказать? Некоторое время Гилл сидел молча, его лысина блестела от испарины, затем, собравшись с духом, ответил:

— Хорошо, давайте, я обойду всех по порядку и расскажу, что я думаю. — Он начал со Стюарта, сидевшего по соседству с Бонни. — К тебе, Стюарт, я не испытываю ничего, кроме восхищения. Если бы у меня были дети, я был бы счастлив, если бы у них был такой врач. И то, что ты рассказал на прошлой неделе, совсем не изменило моего отношения к тебе... Ты, Ребекка — если честно, я боюсь тебя. Ты слишком правильная, слишком хорошая — в общем, без сучка без задоринки. Твои дела в Лас-Вегасе ничего не меняют — для меня ты такая же чистая и безупречная, и

такая же уверенная, в себе. То ли я разволновался, то ли что, но я даже не помню, как ты попала в группу. Стюарт называет тебя фарфоровой куколкой — это правда; может быть, ты слишком хрупкая, а может, у тебя есть острые края, о которые можно обрезать, — не знаю... Ты, Пэм, настоящий борец за правду, ты всегда говоришь, что думаешь. Ты была у нас самой умной, до того как пришел Филип — здесь он даст тебе фору. Я немного побаиваюсь вас обоих. Но я хочу сказать, Пэм, тебе нужно менять свое отношение к мужчинам. Твои друзья, конечно, наломали дров, но ведь и ты хороша — ты же ненавидишь нас, всех нас. Рубишь всех подряд — и правых, и виноватых... Филип — ты где-то там, далеко-далеко, в каком-то другом мире или... на другой планете. Ты для меня полная загадка. Интересно, у тебя когда-нибудь были друзья? Даже не могу представить, чтобы ты посидел с кем-нибудь, поболтал, раздавил бутылочку. Мне кажется, ты никогда не расслабляешься и тебе никто не *нравится*. Знаешь, о чем бы я хотел спросить тебя: *как это тебе не скучно в жизни?*... Тони, я тобой восхищаюсь. Ты работаешь руками, делаешь реальные вещи, а не набиваешь цифры на машинке, как я. Мне бы хотелось, чтобы ты не стеснялся своей работы. Ну, вот, пожалуй, и все.

— Нет, не все, — возразила Ребекка и взглядом указала на Джулиуса.

— Джулиус? Он от группы, а не в группе.

— Что значит «от группы»? — спросила Ребекка.

— Не знаю, просто симпатичное выражение... хотелось блеснуть. Джулиус... он здесь для меня, для всех, он выше нас. То, как он...

— Он? — переспросил Джулиус, делая вид, что ищет кого-то в комнате. — Кто этот «он»?

— Хорошо, я хотел сказать ты, Джулиус, то, как ты переносишь болезнь... я хочу сказать, это впечатляет. Я все время думаю об этом.

Гилл замолчал. Все взгляды были по-прежнему *обращены* на него, но он только выдохнул с громким свистом, огляделся вокруг, словно говоря «все, больше не могу», и откинулся в кресле с видом полного изнеможения, потом вынул носовой платок и вытер лицо и лысину.

Ребекка, Стюарт, Тони и Бонни разразились единодушным: «Молодец, Гилл!», «Вот это правильно!», «Смелый шаг!», Филип и Пэм хранили молчание.

— Ну как, Гилл? Доволен? — спросил Джулиус. Гилл кивнул:

— Сегодня я превзошел самого себя. Надеюсь, никого не обидел.

— А ты, Пэм? Довольна?

— С меня хватит. Я уже поработала сегодня заводилой.

— Я хочу спросить тебя кое о чем, Гилл, — сказал Джулиус. — Давай

представим себе шкалу честных признаний. На одном конце «одно очко» — это самое легкое признание, так, болтовня на лужайке; на другом «десять очков» — самое трудное и самое страшное, на которое только можно решиться. Представил?

Гилл кивнул.

— А теперь взгляни на то, что ты только сказал, и ответь — какую оценку ты бы себе поставил?

Продолжая кивать, Гилл, не задумываясь, ответил:

— Я бы поставил себе «четыре», может — «пять».

Быстро, чтобы не дать Гиллу как-нибудь перед собой оправдаться или ускользнуть от ответа, Джулиус перешел в наступление:

— А теперь скажи, Гилл, что бы ты сделал, чтобы набрать очко-другое?

— Чтобы набрать очко-другое, — без запинки ответил Гилл, — я бы сказал, что я алкоголик и каждый вечер напиваюсь до потери сознания.

Наступила жуткая тишина. Все были поражены, и Джулиус в том числе: до того как он привел Гилла в группу, тот два года лечился у него индивидуально, и ни разу — *ни единого разу* - Джулиус не слышал, чтобы Гилл жаловался на проблемы с алкоголем. Как это могло случиться? Джулиус всегда безгранично верил своим клиентам, он был одним из тех неисправимых оптимистов, которых совершенно выводит из себя малейшее двуличие. Пол заходил у него под ногами. Как он ни бился, новый Гилл никак не укладывался у него в голове. Пока он мысленно ругал себя за наивность, в который раз удивляясь внешней обманчивости жизни, общее настроение группы успело перемениться, и на место ошеломленного недоверия пришла мрачная агрессия.

— Не может быть, Гилл, ты шутишь!

— Не верю. Как ты мог столько времени это от нас скрывать?

— Да ты никогда не пил со мной, даже пиво. О чем ты говоришь?

— Черт побери. Как подумаю, что ты все это время водил нас за нос. Сколько же времени мы потеряли зря.

— Что за шуточки? Значит, все это было вранье? Все твои басни про Роуз — какая она стерва, как отказывается спать с тобой, не хочет иметь детей — все это сказки? И ты ни слова не сказал про главное — что ты пьешь?

Едва опомнившись, Джулиус мгновенно понял, что нужно делать. Главное правило, которому он всегда учил своих студентов, гласило: *Член группы никогда не должен страдать от собственных признаний. Наоборот, его смелость должна только вознаграждаться и*

поддерживаться.

Поэтому он сказал:

— Я понимаю ваше возмущение, друзья мои, но давайте не забывать об одной важной детали: *сегодня Гилл рассказал правду, он поверил нам.* - Говоря это, Джулиус покосился на Филипа, надеясь, что тот сделает соответствующий вывод о тактике групповой терапии, и вновь вернулся к Гиллу: — Я хочу спросить тебя, Гилл, *что помогло тебе рискнуть именно сегодня.*

Гилл, все еще не решаясь смотреть на остальных, покорно ответил, не сводя глаз с Джулиуса:

— Мне кажется, я сделал это, потому что... сначала Пэм и Филип, потом Ребекка и Стюарт... они были так откровенны в последнее время. Если бы не они, я бы никогда не смог...

— Давно? — прервала его Ребекка. — Давно это с тобой?

— Это накатывает постепенно, никогда не знаешь...

Я всегда был любитель поддаться, но, думаю, зашкаливать начало лет пять назад.

— А какой ты алкоголик? — спросил Тони.

— Ну, любимая отравка — виски, каберне, «Черный русский», но не откажусь и от водки или джина — в этом смысле я не гордый.

— Нет, я имел в виду, когда и сколько? — переспросил Тони.

Гилл уже перестал запираться и отвечал с готовностью:

— Обычно после работы. Начинаю с виски, когда приду домой — или раньше, если Роуз выкидывает фокусы, — и потом накачиваюсь. За вечер бутылка или две, пока не отрублюсь перед телевизором.

— Как же Роуз это терпит? — спросила Пэм.

— Когда-то мы любили поддаться вместе, даже выстроили винный погреб за две тысячи баксов... ездили на аукционы. Но сейчас она не одобряет моих увлечений — разве что выпьет бокал вина за обедом, ну, и на вечеринках — она устраивает дегустации для своих друзей.

Джулиус снова попытался вернуть разговор в плоскость «здесь и сейчас»:

— Я пытаюсь представить, Гилл, как ты должен был себя чувствовать, всякий раз приходя сюда и не говоря ни слова.

— Это было нелегко, — признался Гилл, качая головой.

Джулиус всегда учил своих студентов отличать *вертикальное* признание от *горизонтального*. Сейчас группа, как это чаще всего бывает, настаивала на *вертикальном*: ее интересовала история, включая мелкие подробности, вроде любимых напитков или продолжительности болезни,

тогда как *горизонтальное* признание, то есть *признание о самом признании*, было куда важнее.

Да, сегодня мне подбросили великолепный материал для работы, подумал Джулиус. Нужно будет запомнить, как все пойдет дальше, — так, на будущее. И тут его пронзило током: он вспомнил, что будущего-то у него как раз и нет. Мерзкая черная бородавка на спине давно вырезана, но внутри по-прежнему обитали колонии меланомы — прожорливые микроскопические твари, желавшие жить сильнее, чем его собственные престарелые клетки. Они там, они пульсируют, жадно заглатывая кислород и пищу, лихорадочно размножаясь и набирая силу. И мрачные мысли тут же, рядом, ежеминутно просачиваются сквозь мембрану его сознания. Слава богу, оставался один способ бороться с этим ужасом: жить полной жизнью, беря от нее все, что можно, — и этот поток страстей, захлестнувший сейчас группу, был для него лучшим лекарством.

Он попытался нажать на Гилла:

— Расскажи, что происходило с тобой все эти месяцы.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Гилл.

— Ты сам сказал «это было непросто». Объясни, что это значит? Что ты чувствовал на занятиях и почему это было непросто?

— Я приходил каждый раз на взводе, но так и не мог начать — что-то меня останавливало.

— Продолжай. *Что именно* тебя останавливало? — Джулиус редко действовал с таким напором, но сейчас он точно знал, чего хочет: он должен направить разговор в единственно верное русло, на которое группа могла не выйти без его помощи.

— Я люблю нашу группу, — сказал Гилл, — это самые близкие мне люди. До этого я никогда раньше не был членом команды. Я так боялся потерять свое место, упасть в ваших глазах — в конце концов, все так и случилось. Никто не любит пьяниц... теперь меня вышвырнут из группы... пошлют лечиться, все станут меня осуждать, и никто не поможет.

Это было именно то, чего добивался Джулиус, поэтому он быстро произнес:

— Гилл, посмотри вокруг и скажи, кто именно станет осуждать тебя?

— Все будут.

— Все в равной степени? Сомневаюсь. Посмотри внимательнее, посмотри на каждого. Кто здесь главный судья?

Гилл продолжал по-прежнему глядеть на Джулиуса.

— Тони может сорваться — хотя нет, не на это — он и сам не прочь промочить горло. Ты этого хотел?

Джулиус одобрительно кивнул.

— Бонни? — продолжал рассуждать Гилл, по-прежнему обращаясь к Джулиусу. — Нет, Бонни не станет меня осуждать, она всегда винит только себя — ну и разве что Ребекку. Бонни очень ко мне добра.

Стюарт? Да, Стюарт судья. У него есть такая струнка — «я весь из себя хороший, вам не чета». Ребекка? Тоже. Я даже знаю, что она скажет: «Будь как я, будь уверенным, правильным, красивым». Вот почему я немного оттаял, когда Ребекка и Стюарт показали свои слабые места, — это подтолкнуло меня сказать правду. Осталась Пэм... Да, Пэм настоящий судья. Генеральный прокурор — без вопросов. Я знаю, что она думает про меня — что я слабак, я все врал про Роуз. Она сама сказала — во мне все не так. У меня мало шансов вырасти в ее глазах — да нет, вообще нет шансов. — Он замолчал. — Кажется, все, — сказал он, обведя глазами группу. — Ах да. Еще Филип. — Тут он неожиданно повернулся прямо к Филипу. — Дай подумать... мне кажется, ты не станешь осуждать меня, но это еще ничего не значит. Скорее всего ты просто не захочешь об меня мараться. Тебе нет до меня дела — кто я такой, чтобы обо мне думать.

Джулиус был доволен собой: он заглушил неконструктивные вопли о предательстве и снял Гилла с костра осуждения. Все остальное — дело времени: рано или поздно подробности его истории всплывут сами, а сейчас, в теперешней ситуации, это не так уж важно.

Более того, его прием горизонтального признания неожиданно принес блестящий результат: отчаянная десятиминутная атака Гилла стала настоящей удачей — богатая пища для разговоров по крайней мере на два занятия.

Повернувшись к группе, Джулиус спросил: — Реакции?

Наступила нерешительная тишина — но не потому, что нечего было сказать, а потому, что сказать нужно было слишком много. Напряжение, он знал, готово было вырваться наружу: у каждого должен быть свой взгляд и на Гилла, и на его алкоголизм, и на ту неожиданную смелость, которую Гилл только что продемонстрировал. Джулиус выжидательно молчал, еще секунда — и голосов будет хоть отбавляй.

Он заметил, что Филип смотрит на него, на мгновение их взгляды встретились. Странно, подумал Джулиус. Может, Филип восхищается тем, как ловко я справился с проблемой? Или хочет ответить на выпад Гилла? Джулиус решил рискнуть и кивнул Филипу. Никакого ответа. Тогда он спросил:

— Филип, что ты скажешь по поводу сегодняшнего занятия?

— Да я вот гадаю — не хотел бы и ты поучаствовать?

— Поучаствовать? — опешил Джулиус. — Я и без того слишком много сегодня вмешивался.

— Нет, я хотел сказать *поучаствовать в душещипательных признаниях*, - сказал Филип.

Можно ли будет, промелькнуло в голове у Джулиуса, хоть когда-нибудь предсказать, что этот человек выкинет в следующую минуту?

— Я не пытаюсь уйти от ответа, Филип, но у нас есть темы поважнее. — Он повернулся к Гиллу: — Как ты?

— На пределе. Единственное, что меня волнует, останусь ли я в группе после всего, что случилось, — сказал Гилл, и на лбу его выступила испарина.

— Мне кажется, сейчас ты больше нуждаешься в группе, чем раньше. Но меня интересует другое, Гилл, — значит ли твое сегодняшнее признание, что ты собираешься как-то менять ситуацию? Может, заняться лечением?

— Еще бы. Сразу же после занятия. Так больше продолжаться не может. И, Джулиус, ты не мог бы провести со мной индивидуальное занятие?

— Конечно, сколько угодно. — Правило Джулиуса заключалось в том, чтобы никогда не отказывать клиентам в личных встречах при условии, что они будут держать группу в курсе событий.

Джулиус повернулся к Филипу:

— Возвращаясь к твоему вопросу. Есть старая терапевтическая штучка, позволяющая красиво избежать неприятного вопроса. Нужно спросить: «Скажи, почему ты задал этот вопрос?» Именно это я и собираюсь сделать, но вовсе не для того, чтобы уйти от ответа. Я предлагаю тебе сделку: я прямо и честно отвечаю на твой вопрос, но только после того, как ты объясняешь мне, почему ты его задал. Ну как, по рукам?

Филип немного подумал и ответил:

— Что ж, логично. Ответить, почему я задал этот вопрос, несложно: видишь ли, я пытаюсь понять твой Стиль работы и, если возможно, перенести отдельные приемы в свою практику. Лично у меня совсем иной подход: я не прибегаю к помощи эмоций, и моя цель вовсе не в том, чтобы полюбить клиента, — наоборот, я предлагаю интеллектуальную помощь, я учу своих клиентов яснее мыслить, жить в согласии с разумом. Возможно, немного запоздало, но теперь я начинаю понимать, какую цель ты преследуешь, — диалог «я и ты» в стиле Бубера...

— Кого-кого? Какого еще Бубера? — переспросил Тони. — Я не собираюсь торчать здесь и хлопать ушами.

— Ты все правильно говоришь, Тони, — отозвалась Ребекка. — Всякий раз, когда ты спрашиваешь, ты делаешь это и для меня. Я лично тоже не знаю никакого Бубера.

Остальные закивали. Стюарт сказал:

— Я где-то слышал это имя — что-то про «я и ты»... но больше ничего не помню.

Пэм поспешила объяснить:

— Бубер — немецкий еврей, философ, умер примерно полвека назад, в своих работах исследовал истинные взаимоотношения между людьми. Отношения «я и ты» — это когда оба участника вовлечены в равноправный, уважительный диалог, а «я и оно» — это когда «я» одного из участников не уважается, его используют, вместо того чтобы общаться на равных. Эта идея часто возникала здесь. Кстати, Филип поступил со мной именно как с «оно».

— Спасибо, Пэм, я понял, — сказал Тони и снова повернулся к Филипу: — Ну что, теперь все просекли?

Филип взглянул на него в полном недоумении.

— Не знаешь, что значит «просекать»? — удивился Тони. — Может, принести тебе словарь современного языка? Ты что, ящик не смотришь?

— У меня нет телевизора, Тони, — ответил Филип по обыкновению ровно, — но если тебя интересует, согласен ли я с тем, что Пэм сказала о Бубере, то мой ответ «да» — я не мог бы высказаться точнее по этому поводу.

Джулиус опешил: *Филип называет Тони и Пэм по имени? Филип одобительно отзывается о Пэм?* Что это — простая случайность или важный знак? О, как же я люблю жизнь, подумал Джулиус, — жизнь в этой группе.

— Я перебил тебя, Филип, продолжай, — произнес Тони.

— Так вот, я говорю Джулиусу... то есть, я говорю тебе, — он повернулся к Джулиусу, — правильно?

— Правильно, Филип, — ответил Джулиус. — Ты способный ученик.

— Итак, — продолжил Филип размеренным голосом математика, — суждение первое: ты стремишься установить Диалог «я и ты» с каждым клиентом. Суждение номер два: «я и ты» представляет собой абсолютно равноправные отношения — по определению они не могут иметь односторонний характер. Три: в последнее время многие здесь излили душу. Отсюда следует естественный вопрос: разве это не значит, что ты должен поступить точно так же? — Помолчав минуту, Филип добавил: — Вот такой вопрос. Я только хотел знать, как консультант твоего типа

реагирует на законное требование клиента о равноправии.

— Значит, ты хочешь проверить, насколько я последователен в своем подходе?

— Да, но проверить не *тебя* лично, а твой *метод*.

— Хорошо. Мне нравится, что твой вопрос связан с желанием лучше понять происходящее. Еще один, последний вопрос — и я тебе отвечу. Я хочу спросить, почему именно сейчас? Почему ты задал *именно этот вопрос именно сейчас*?

— Потому что только сейчас появилась такая возможность. В первый раз за все время мы отошли от привычной схемы.

— Не уверен. Думаю, за этим кроется что-то еще. Еще раз, *почему именно сейчас*?

Филип озадаченно потряс головой.

— Может быть, это не имеет отношения к делу, но мне вспомнились слова Шопенгауэра — он как-то сказал, что нет лучшего способа развеселить людей, как рассказать им про чужие беды. Он цитирует поэму Лукреция — римский поэт, первый век до нашей эры (ремарка в сторону Тони), — в которой один человек стоит на берегу моря и наблюдает, как другие борются со страшным штормом. «Для нас удовольствие, говорит он, наблюдать за несчастьями других, которые нам лично не угрожают». Разве это не одна из формул групповой терапии?

— Все это очень интересно, Филип, — ответил Джулиус, — но не имеет отношения к делу. Давай вернемся к вопросу «почему именно сейчас?».

Но Филип по-прежнему смотрел озадаченно.

— Давай, я тебе помогу, — решил подтолкнуть его

Джулиус. — Я ведь не случайно бью в эту точку — она поможет нам понять принципиальную разницу между нашими подходами. Видишь ли, то, как ты ответишь на вопрос «почему именно сейчас?», напрямую связано с твоими взаимоотношениями в группе. Сейчас я это проиллюстрирую: скажи, Филип, если в двух словах, что произошло за последние две недели?

Молчание. Филип окончательно растерялся.

Но тут вмешался Тони:

— Это же очевидно, профессор. Филип, подняв брови, взглянул на Тони:

— Очевидно?

— Хочешь, чтобы я сказал за тебя? Тогда слушай: сначала ты появляешься в группе и отпускаешь свои глубокомысленные замечания. Ты

забрасываешь свою философскую удочку, а мы на нее клюем. Некоторые начинают думать, что ты и вправду настоящий мудрец — взять хотя бы Ребекку или Бонни, да и меня тоже. У тебя на все есть ответ. Ты сам консультант и даже, похоже, можешь конкурировать с самим Джулиусом. Ты сечешь? — Тони вопросительно взглянул на Филипа, который медленно кивнул. — Но тут возвращается старушка Пэм, и что же мы видим? Она срывает с тебя покрывало. И выясняется, что у тебя паршивенькое прошлое. Весьма паршивенькое. Все узнают, что никакой ты не мистер Чистюля. Оказывается, ты бортанул Пэм и даже не задумался. И все. Ты сброшен с пьедестала. Втопан в грязь. И тут ты разозлился. Еще бы, конечно. Что же ты делаешь в ответ? Ты являешься сегодня и говоришь Джулиусу: послушай, старик, а как обстоят дела с твоими собственными тайнами? Ты хотел бы *и его* сбросить с пьедестала, чтобы все валялись в одной грязи, рядом. Сечешь? — Филип молча кивнул. — Вот так, черт возьми, я это понимаю. Ну, что скажешь?

Филип поднял глаза на Тони и ответил:

— Все, что ты сказал, не лишено смысла. — Затем он повернулся к Джулиусу: — Наверное, я должен попросить у тебя прощения. Шопенгауэр всегда предупреждает о том, чтобы мы не позволяли нашим субъективным ощущениям примешиваться к объективным оценкам.

— А Пэм? Ты забыл извиниться перед ней, — напомнила Бонни.

— Да, и перед ней тоже. — Филип бросил быстрый взгляд на Пэм, но та отвернулась.

Когда стало ясно, что Пэм не собирается отвечать, Джулиус заметил:

— Пусть Пэм тебе ответит, когда придет время, Филип, а что касается меня, то не нужно никаких извинений: ты здесь для того, чтобы понять, что ты говоришь и почему. А Тони, я думаю, абсолютно прав.

— Филип, можно, я тебя спрошу? — сказала Бонни. — Этот вопрос мне много раз задавал Джулиус — что ты чувствовал в последнее время после занятий?

— Я чувствовал себя неважно. Был растерян, даже взвинчен.

— Я так и думала. Я знала это, — сказала Бонни. — А как насчет замечания Джулиуса — помнишь, про руку помощи, которую протянули тебе Стюарт с Ребеккой?

— Я об этом не думал — я пытался, но так и не смог. Иногда мне кажется, что весь этот шум и гам только отвлекают меня от настоящего дела. Все эти рассуждения о прошлом и будущем мешают нам сосредоточиться на главном — понять, что жизнь есть лишь краткое мгновение настоящего, которое мы никак не можем поймать. К чему вся эта

суета, если знаешь об этом?

— Теперь я понимаю, что Тони имел в виду. Ты действительно не умеешь радоваться жизни. Какая тоска, — заметила Бонни.

— Я называю это реализмом.

— Хорошо. Если жизнь всего лишь мгновение, — не унималась Бонни, — то я тебя про него и спрошу — что ты думаешь сейчас, вот в это самое мгновение, о том, что тебе помогли? И почему ты перестал ходить с нами в кафе? Уже два раза тебя как ветром сдувало. Ты что, думал, тебя никто не пригласит? Нет, давай, я спрошу так: что ты думаешь сейчас, в это мгновение, о том, чтобы пойти с нами в кафе после занятий?

— Я не привык так много разговаривать — мне нужно прийти в себя. После занятий я хотел бы расслабиться.

Джулиус взглянул на часы.

— Пора заканчивать — мы и так уже засиделись. Филип, я не забыл про наш уговор: ты выполнил свою часть — я выполню свою на следующем занятии.

Глава 27

Мы должны ограничивать свои мечты, обуздывать желания и сдерживать гнев, помня о том, что человек способен достичь только бесконечно малой доли того, к чему стоит стремиться... [\[109\]](#)

После занятия группа привычно направилась в кофейню на Юнион-стрит. Поскольку Филипа не было, никто не заговаривал о нем. Вопросы, поднятые на встрече, тоже остались в стороне — вместо этого все с огромным интересом выслушали рассказ Пэм о поездке в Индию. Бонни с Ребеккой чрезвычайно заинтересовал рассказ про Виджая, таинственного попутчика с волнующим ароматом корицы, и обе наперебой убеждали Пэм не отказываться отвечать на его электронные письма, которыми он в последнее время ее забрасывал. Гилл был непривычно оживлен, не переставая благодарил всех за поддержку, обещал непременно встретиться с Джулиусом, окончательно завязать и в ближайшее время вступить в общество анонимных алкоголиков. Он даже поблагодарил Пэм за то, что она как следует его пропесочила.

— Слушайся Пэм, — сказал ему Тони. — Она плохого не посоветует — строгая, но справедливая.

Когда все разошлись, Пэм вернулась к себе домой в Беркли. Дом, где она жила, стоял на холмах, прямо над университетом. Она часто хвалила себя за то, что после свадьбы с Эрлом у нее хватило ума сохранить эту квартиру — какое-то чутье подсказывало ей, что когда-нибудь квартира пригодится. Она любила эти комнаты, обитые светлым деревом, свои тибетские коврики и теплый солнечный свет, струившийся в окна по вечерам. Ей нравилось, сидя в шезлонге, потягивать просекко и смотреть, как солнце медленно опускается в залив.

В этот вечер мысли о группе не давали ей покоя. Она вспоминала, как Тони в первый раз сбросил с себя шутовскую маску и с хирургической точностью обработал Филипа. Да, это было просто восхитительно. Жаль, у нее не было с собой магнитофона. Тони просто чудо — мал золотник, да дорог. Со временем его достоинства проступают все ярче. А как он сказал про нее — «строгая, но справедливая»? Интересно, заметили они, как много «строгости» и мало «справедливости» в ней было, когда она

накинулась сегодня на Гилла? Да, напасть на Гилла было одно удовольствие, и то, что это пошло ему на пользу, даже немного портило дело. «Генеральный прокурор» — так он ее назвал? Слава богу, у него хватило смелости хоть на это. Правда, он тут же смазал все своими льстивыми похвалами.

Она вспомнила, как в первый раз увидела Гилла — он сразу привлек ее внимание: это лицо, эти мускулы, которые угадывались под жилеткой. И как быстро потом наступило разочарование: как трусливо, как малодушно он старался угодить каждому. А его нытье, его бесконечные жалобы на Роуз — его настырную, фригидную худышку Роуз, у которой, как выясняется, все-таки хватило разума не залететь от этого пьянчужки.

Уже после нескольких занятий Гилл занял почетное место в длинном списке неудачников, с которыми сталкивала ее судьба. Возглавлял этот список ее отец — человек, позорно бросивший диплом юриста из страха перед трудностями адвокатуры и избравший безопасный путь тихого клерка. Всю жизнь он наставлял секретарш, как правильно составлять деловую корреспонденцию, не нашел в себе сил справиться с обычной пневмонией и скончался, даже не дожив до пенсии. В затылок отцу дышал Эрон, ее застенчивый прыщавый дружок, который предпочел отказаться от колледжа в Сватморе, только чтобы не покидать мамочку, и каждый день мотался на электричке в университет Мэриленда, потому что тот был поближе к дому. А Владимир, так упорно добивавшийся ее руки, — даже не удосужился получить приличное место и был навек обречен перебиваться случайными заработками, читая лекции юнцам про то, как правильно писать сочинения. А ее бывший — Эрл, с которым, слава богу, все скоро закончится, — фальшивый насквозь, от хваленой греческой краски для волос до заученных чужих мнений о книгах. Эрл, который любовно обхаживал свои закрома, кишасшие восторженными пациентками, готовыми, как и она сама когда-то, в любую минуту прыгнуть к нему в постель. А Джон? Трус, побоялся бросить жену, с которой его ничего не связывало. А ее последнее приобретение, Виджай? Ну уж нет, пусть такие, как Бонни с Ребеккой, дерутся за него, а она не собирается вздыхать по человеку, которому нужно провести сутки в трансе, чтобы справиться со стрессом от заказывания чашки чая.

Но все эти мысли приходили и уходили. По-настоящему ее занимал только один человек, Филип — этот надутый фанфарон, зомби, второй Шопенгауэр, который сидит, изрекая чужие глупости, и только притворяется человеком.

После ужина Пэм подошла к книжному шкафу и отыскиала на полках

Шопенгауэра. Одно время она собиралась всерьез заняться философией и даже готовилась написать диссертацию о влиянии Шопенгауэра на Беккета и Жида. Ей нравился его стиль — лучший философский стиль, исключая Ницше, конечно. Ее восхищала эта мощь, этот интеллект, бесстрашие, с которым он расправлялся с любыми предрассудками. Однако позже, когда она узнала побольше о нем самом, она почувствовала непреодолимое отвращение к этому человеку. Пэм сняла с полки старенький томик из полного собрания сочинений и, открыв раздел «О нашем поведении по отношению к другим», перечитала подчеркнутые места:

- «В жизни превосходство может быть приобретено лишь тем, что человек ни в каком отношении не будет нуждаться в других и открыто станет показывать это».

- «Чем меньше уважаешь других, тем больше они будут уважать тебя».

- «Немного вежливости и дружелюбия способны сделать людей уступчивыми и услужливыми. Таким образом, вежливость для человека то же, что для воска тепло».

Теперь она вспомнила, за что так невзлюбила Шопенгауэра. Так, значит, Филип профессионально консультирует людей? И Шопенгауэр его идол? А Джулиус его учитель? Все это не укладывалось в голове.

Она перечитала снова: «вежливость для человека то же, что для воска тепло». Гм-м, так он думает, из меня можно лепить все, что хочешь? Замолишь грехи жалкими комплиментами про Бубера или пропуская меня в дверь? Ну уж нет. Пусть катится ко всем чертям.

Она попыталась успокоиться — наполнила джакузи и погрузилась отмокать под монотонные записи Гоенки. Они всегда действовали на нее умиротворяюще, эти гипнотические звуки, их резкие остановки и такие же резкие начала, колебания темпа и тембра. Она даже попыталась несколько минут помедитировать в випассане, но та уже не приносила ей прежнего успокоения. Выйдя из ванны, она внимательно осмотрела свое отражение в зеркале, втянула живот, подтянула груди, исследовала профиль, погладила волосы на лобке, скрестила ноги в соблазнительной позе. Чертовски хороша для тридцати трех лет.

Внезапно события пятнадцатилетней давности замелькали в памяти: Филип, каким она увидела его в первый раз — сидя на столе, он небрежно раздавал планы лекций входящим студентам и широко ей улыбнулся. Он показался ей таким сногшибательным — красивый, умный, недостижимый, сосредоточенный на чем-то своем. Что случилось с этим человеком? Эта отвратительная сцена, его настойчивость, когда он срывал с нее одежду, накрывал ее своим телом. Не пытайся обмануть себя, Пэм, тебе это

нравилось. Ученый с блестящим знанием философии, великолепный учитель — возможно, лучший из всех, кого ты встречала. Вот почему она решила потом выбрать философию. Но этого он никогда не узнает.

Разделавшись с этими тревожными, злыми мыслями, она тихонько загрустила: смерть Джулиуса. Вот человек, достойный настоящей любви. Несмотря на приближение смерти, он продолжает работать как обычно. Как он это делает? Как ему удастся сохранять спокойствие и притом заботиться о других? А этот негодяй Филип еще смеет требовать от него каких-то признаний. И Джулиус — само терпение. Продолжает учить его как ни в чем не бывало. Разве он не видит, что Филип жалкое ничтожество, пустышка?

Она представила себе, как будет ухаживать за Джулиусом, когда ему станет совсем плохо: она будет приносить ему еду, купать его, вытирать теплым полотенцем, менять простыни и забираться ночью к нему в постель, чтобы его успокоить. С группой происходит что-то невероятное — эти бесконечные мелодрамы, разыгрываемые на фоне его смерти. Как это несправедливо, что именно Джулиус должен умереть. Внезапно Пэм затрясло от бешенства — но против кого?

Она погасила лампу. Лежа в постели и ожидая, пока снотворное сделает свое дело, она успела подумать, что, слава богу, есть хоть одна польза от этих тревог: мысли о Джоне, исчезнувшие и вновь возникшие после приезда из Индии, кажется, пропали — дай бог, чтобы навсегда.

Глава 28. Пессимизм как образ жизни

Нет роз без шипов. Но много шипов без роз [\[110\]](#).

Главный труд Шопенгауэра, книга «Мир как воля и представление», был написан, когда автору не было и тридцати. Он вышел в свет в 1818 году. Второй том был опубликован в 1844-м. В этой работе поразительной масштабности и глубины Шопенгауэр излагает свои наблюдения в самых разных областях знания — логике, этике, теории познания и восприятия, естественных науках, математике, красоте, искусствах, поэзии, музыки, метафизики, отношений человека к другим и к самому себе. Человеческое бытие рассматривается здесь в самых мрачных аспектах: смерть, одиночество, бессмысленность и страдания как неотъемлемая часть нашей жизни. Принято считать, что по объему выдающихся мыслей эта работа значительно превосходит любое другое философское сочинение, за исключением разве что трудов Платона.

Сам Шопенгауэр не раз высказывал пожелание и надежду на то, что потомки будут помнить его именно за этот грандиозный труд. Позднее он опубликует еще одну значительную работу: это будет двухтомник философских размышлений и афоризмов под названием «Parerga и Paralipomena», что в переводе с греческого означает «пропуски и дополнения».

Появившиеся на свет в то время, когда о психотерапии еще не могло быть и речи, труды Шопенгауэра тем не менее поразительно напоминают то, что мы сейчас подразумеваем под этим понятием. «Мир как воля» начинается с критики и развития теории Канта. Кант произвел переворот в философии, заявив, что человек скорее создает реальность, чем ее ощущает. Он исходил из того, что наши физические ощущения, проходя через нервный аппарат, трансформируются и затем, вновь собираясь в мозгу, представляют нам картину, которую мы называем реальностью, но которая на самом деле является химерой, фикцией, существующей только в нашем познающем и анализирующем сознании. В самом деле; такие категории, как причина и следствие, последовательность, множество, пространство и время, являются созданием нашего мозга, а вовсе не реальными сущностями мира, лежащего «вовне».

Более того, мы не можем «видеть» ничего, кроме нашей собственной

версии того, что происходит «вовне». Мы никоим образом не можем знать, что «на самом деле» находится «там», то есть постичь сущность, лежащую за пределами наших ощущений и нашего сознания. Эта первичная сущность, которую Кант назвал *Ding an sich*, «вещь в себе», будет и должна оставаться для нас непознаваемой.

В отличие от Канта Шопенгауэр — впрочем, соглашаясь с тем, что мы никогда не сможем познать «вещь в себе», — считал, что мы можем подойти к ней гораздо ближе, чем это допускает Кант. По его мнению, Кант проглядел основной источник информации о мире, данном нам в ощущениях, или феноменальном мире: *наше собственное тело*. Наше тело есть материальный объект, оно существует во времени и пространстве, и каждый из нас знает о нем достаточно много — это знание происходит не от внешнего восприятия и не от мыслительной деятельности, но от прямого знания изнутри, знания, вытекающего из ощущений.

От своего собственного тела мы получаем знание, которое мы не можем определить в понятиях и передать другим, потому что подавляющая часть нашей внутренней жизни нам неизвестна. Она вытеснена из сознания и не допускается в него, потому что знание нашей глубинной природы (ненависть, страх, зависть, сексуальные желания, агрессия, корысть) причинило бы нам больше страданий, чем мы могли бы вынести.

Звучит знакомо, не правда ли? Да ведь это же старик Фрейд с его бессознательными, примитивными процессами, с его ид, вытесненным сознанием и самообманом. Разве не очевидны здесь зачатки и первые ростки будущего психоанализа? А ведь главный труд Шопенгауэра был опубликован за сорок лет до появления

Фрейда на свет. В середине девятнадцатого века, когда Фрейд (а с ним и Ницше) еще ходили в школу, Артур Шопенгауэр был уже самым читаемым философом Германии.

Как же мы понимаем эти бессознательные силы? Как можем передать их другим? Хотя они не могут быть осмыслены, мы можем ощущать их и, по Шопенгауэру, передавать напрямую, без слов, через искусство. Вот почему Шопенгауэр более других уделял внимание искусству — в особенности музыке.

А половая любовь? Шопенгауэр однозначно заявляет, что сексуальные переживания играют определяющую роль в поведении человека. Здесь он вновь выступает как отважный первопроходец: никто из прежних философов не хотел (или не решался) посвятить себя изучению этой сферы и ее безусловной важности в жизни человека.

А религия? Шопенгауэр станет первым из значительных философов,

кто построит свою систему на позициях незыблемого атеизма. Он будет яростно и убежденно отвергать любую веру во все сверхъестественное, заявляя, что мы, напротив, живем в пространстве и времени, а потому любые нематериалистические измышления есть не что иное, как ложь и бессмыслица. Несмотря на то что многие философы — Гоббс, Юм и даже Кант — нередко проявляли склонность к агностицизму, никто из них не решался откровенно признаться в собственном неверии, и их можно было понять: их личное благосостояние целиком и полностью зависело либо от государства, в котором они жили, либо от университета, в котором работали, что, естественно, удерживало их от любых антирелигиозных высказываний. Артур же никогда ни от кого не зависел, а потому был свободен писать все, что ему вздумается. Кстати, по той же самой причине, за полтора столетия до Шопенгауэра, Спиноза отказывался от университетских должностей, предпочитая скромно шлифовать линзы.

Какие же выводы извлекает Шопенгауэр из внутреннего знания собственного тела? Внутри нас и повсюду в природе существует непрестанная, неутомимая, вечная первичная жизнь, которую он называет *волей*. «Куда мы ни взглянем, — пишет он, — мы видим это стремление, составляющее ядро и в себе каждой вещи». Что есть страдание? Это «задержка, которую это стремление терпит от преграды, возникающей между нею и ее временной целью». А что же есть счастье, благополучие? Это «достижение цели» ^[111].

Мы хотим, хотим, хотим, хотим. Десятки желаний одновременно томятся в подсознательной области каждого человеческого существа, стоящего на определенном уровне развития. Воля неустанно толкает нас вперед, и едва мы успеваем удовлетворить одно желание, как тут же ему на смену приходит другое, а за ним третье, четвертое — и так без конца.

Человеческая жизнь, по мнению Шопенгауэра, есть цепь мучительных страданий. Он сравнивает их с муками Тантала или с мифическим огненным колесом Иксиона: Иксион, царь, осмелившийся перечить Зевсу, был в наказание привязан к пылающему колесу, что вращалось вечно; Тантал за свою непочтительность к Зевсу был осужден на вечные искушения соблазнами, которые он никогда не мог удовлетворить. Человеческая жизнь, говорит Шопенгауэр, вечно вращается вокруг оси желаний, за которыми приходит насыщение. Но удовлетворяет ли нас это насыщение? Увы, лишь на время. Почти немедленно вслед за насыщением наступает скука, и мы снова приходим в движение — на этот раз чтобы избежать ее мучений.

Непосильный труд, беды и вечные тревоги — вот что суждено большинству из нас на протяжении всей нашей жизни. Но если бы все желания исполнялись, едва успев возникнуть, — чем бы тогда наполнить человеческую жизнь, чем убить время? Если бы человеческий род переселить в ту благодатную страну, где в кисельных берегах текут медовые и молочные реки и где всякий тотчас же, как пожелает, встретит свою суженую и без труда ею овладеет, то люди частью перемерли бы со скуки или перевешались, частью воевали бы друг с другом и резали и душили бы друг друга и причиняли бы себе гораздо больше страданий, чем теперь возлагает на них природа [\[112\]](#).

Но отчего скука видится нам такой мучительной? Почему мы спешим поскорее избавиться от нее? Потому что в состоянии скуки ничто не отвлекает нас от страшной, неприкрытой правды жизни — от осознания собственного ничтожества, бессмысленности существования, неумолимого приближения старости, а за ней и смерти.

Следовательно, что есть человеческая жизнь, если не непрерывный круговорот: желание — удовлетворение — скука — и снова желание? Но для всех ли живых существ дело обстоит именно так? Тяжелее всех человеку, отвечает Шопенгауэр, потому что с развитием мыслительных способностей сила страдания неизмеримо возрастает.

Так счастлив ли кто-нибудь на земле? Возможно ли счастье? Шопенгауэр полагает, что нет.

Прежде всего, никто не счастлив, но в течение всей своей жизни стремится к мнимому счастью, которого редко достигает, если же и достигает, то только для того, чтобы разочароваться в нем; обычно же каждый возвращается в конце концов в гавань претерпевшим кораблекрушение и без мачт. Так что нет разницы, быть или не быть счастливым, поскольку жизнь есть всего лишь мгновение, которое вечно ускользает от нас, вот оно есть — и вот его уже нет [\[113\]](#).

Жизнь, это неизбежное и трагическое движение вниз, не только жестока, но и непредсказуема:

Мы похожи на ягнят, которые резвятся на лугу в то время, как мясник выбирает глазами того или другого, ибо мы среди своих счастливых дней не ведаем, какое злополучие готовит нам рок — болезнь, преследование, обеднение, увечье, слепоту, сумасшествие или смерть¹.

Довели ли эти пессимистические выводы Шопенгауэра до отчаянья

или дело обстояло как раз наоборот и его собственные жизненные неудачи заставили его прийти к выводу, что жизнь — скверная штука, которой и вовсе не стоило являться? Скорее всего он и сам этого не знал и часто напоминал нам (и самому себе), что эмоции обладают свойством омрачать и искажать наше знание: что целый мир улыбается нам, когда у нас есть основания для радости, и становится мрачным и хмурым, если в душе печаль.

Глава 29

Я никогда не писал для толпы... Я посвящаю свой труд тем мыслящим индивидуумам, которые со временем будут как редкие исключения появляться на свет. Они будут ощущать себя так же, как я: как выброшенный на необитаемый остров моряк, которому след его предшественника на песке приносит больше утешения, чем все какаду и обезьяны на ветвях деревьев
[\[114\]](#).

— Начнем с того, на чем мы остановились в прошлый раз, — сказал Джулиус, открывая занятию. Твердо и решительно, будто читая по бумажке, он продолжил: — Как многие психотерапевты, я довольно откровенен с друзьями, и все-таки, признаюсь, для меня непросто вот так взять и раскрыть душу, как это сделали некоторые из вас. В общем, я хотел бы описать вам один случай, о котором я рассказывал только однажды — и то много лет назад, одному очень близкому другу.

Пэм, сидевшая рядом с Джулиусом, прервала его. Взяв его за локоть, она сказала:

— Постой-постой, Джулиус. Ты вовсе не обязан. Это Филип тебя в это втянул, но Тони вывел его на чистую воду, так что Филип взял свои слова обратно. Я, например, не хочу, чтобы ты через это проходил.

Остальные поддержали Пэм: они сказали, что Джулиус и так достаточно откровенен в группе, а своими рассуждениями про «я и ты» Филип его просто подставил.

Гилл сказал:

— Это уже ни в какие ворота не лезет. Зачем мы сюда приходим? За помощью. Взять хотя бы мою жизнь — это одна сплошная проблема, вы сами видели на прошлой неделе. Но, насколько я понимаю, у Джулиуса нет проблем с общением. Так зачем же мы будем его мучить?

— Недавно, — своим четким, ровным голосом начала Ребекка, — ты говорил, что я рассказала про себя, чтобы помочь Филипу. Может, и так — но это еще не все. Сейчас я понимаю, что еще хотела защитить его от Пэм. Так вот... к чему это я? А к тому, что когда я рассказала про Лас-Вегас, мне стало легче — я наконец-то избавилась от этого кошмара. Но ты здесь для

того, чтобы помогать мне, а мне ничуть не поможет, если ты будешь делать свои признания.

Джулиус едва не открыл рот от неожиданности: такое единодушие было несвойственно этой группе. Однако в следующую секунду он понял, в чем дело.

— Я чувствую, вы сильно обеспокоены моей болезнью — боитесь за меня, не хотите травмировать, так?

— Может, и так, — ответила Пэм, — но дело не только в этом. Не знаю, как это объяснить, но я вовсе не хочу, чтобы ты вытаскивал на свет свои темные истории.

Остальные закивали, и тогда Джулиус заговорил, не обращаясь ни к кому в особенности:

— Да, загадка получается. С тех пор как я пришел в психотерапию, я только и слышу жалобы от пациентов: «Психотерапевты бесчувственны», «Они ничего не рассказывают про себя». И вот я стою перед вами, готовый открыться, и что же я слышу? Целый хор голосов, который кричит: «Мы не желаем ничего слышать! Не надо! Не делай этого!» Что происходит?

Молчание.

— Не хотите, чтобы я портил свою репутацию? — спросил Джулиус.

Никто не ответил.

— Похоже, мы зашли в тупик, так что буду гадким и нехорошим и продолжу свой рассказ, а там посмотрим... Эта история произошла десять лет назад, когда умерла моя жена. Я знал Мириам со школы, мы поженились, когда я был студентом. Десять лет назад она погибла в автомобильной катастрофе в Мехико. Я очень страдал — по правде говоря, я от этого так и не оправился. Так вот, тогда я неожиданно стал замечать, что мои страдания принимают весьма странную форму: я вдруг почувствовал необычайный прилив сексуальности. Тогда я еще не знал, что повышенная сексуальность — довольно частая реакция на смерть: с тех пор я встречал немало людей, которые, пережив трагедию, становились возбужденнее. У меня были пациенты, пережившие серьезные сердечные приступы; они рассказывали мне, что по дороге в больницу пытались щупать медсестер. Со временем я чувствовал себя все напряженнее, мне нужно было все больше и больше, и когда знакомые женщины, замужние или незамужние, приходили, чтобы меня успокоить, я пользовался этим и затаскивал их в постель — включая и родственниц Мириам.

Все подавленно молчали. Каждому было неловко, каждый старался не смотреть в глаза другому, некоторые делали вид, что прислушиваются к щебетанью зяблика за окном, спрятавшегося где-то в багряной листве

японского клена. За много лет ведения групп Джулиус несколько раз подумывал, что неплохо бы завести помощника, — и сейчас был один из таких случаев.

Наконец, Тони, сделав над собой усилие, произнес:

— И что же было потом между вами?

— Мы расставались и больше никогда не виделись. Иногда мы случайно встречались, но никто из нас не решался об этом заговорить. Нам было очень неудобно — и стыдно.

— Извини, Джулиус, — сказала Пэм, — я не знала про твою жену, никогда не слышала про это... и, конечно, про... про эти... связи.

— Даже не знаю, что сказать, Джулиус, — добавила Бонни. — Это действительно очень неловкая история.

— Расскажи об этой неловкости, Бонни, — предложил Джулиус, чувствуя тяжесть от того, что ему приходится быть самому себе терапевтом.

— Ну, это странно. Ты впервые рассказываешь такое перед группой.

— Продолжай. Ощущения?

— Я чувствую себя не в своей тарелке. Мне кажется, это потому, что неясно: как поступить дальше? Если кто-то из нас, — она обвела рукой группу, — выкладывает что-то неприятное, мы знаем, что нужно делать, — ну, то есть мы тут же беремся за работу, даже если не знаем, что именно нужно делать... но с тобой я просто не знаю...

— А мне лично непонятно, с какой *статии* ты нам все это рассказал, — заметил Тони, подавшись вперед и щурясь на Джулиуса из-под своих лохматых бровей. — Знаешь, Джулиус, я воспользуюсь твоим же методом и спрошу тебя так же, как ты: *почему именно сейчас?* Потому что ты обещал Филипу? Но большинство из нас против — мы считаем, что это ни к чему. Или, может, ты хочешь, чтобы мы помогли тебе справиться с твоими переживаниями, оставшимися после того случая? То есть мне действительно непонятно, зачем ты об этом заговорил. Если хочешь знать мое личное мнение, то я вообще не вижу здесь никакой проблемы. Я тебе прямо скажу, я отношусь к этому так же, как к рассказу Стюарта, Гилла или Ребекки: я не вижу ничего особенного в том, что ты сделал. Я бы и сам поступил точно так же. Тебе было одиноко, тебе кого-то не хватало, и тут приходит какая-то цыпочка, чтобы тебя утешить, и ты тащишь ее в постель — ну и что здесь такого? Всем хорошо — все довольны. Да если хочешь знать, эти женщины тоже ловили свой кайф. Почему мы все время говорим про женщин так, будто мы их используем? Меня это просто бесит. Видите ли, мужчины должны, как собачки, ползать перед ними на коленях,

выпрашивая у них милости, а они будут восседать на тронах и решать, спуститься к нам или нет. Как будто они сами не получают удовольствия. — Тони обернулся: это Пэм, всплеснув руками, закрыла лицо. Ребекка тоже обхватила руками голову. — Ладно, ладно, про это забудем. Оставим только первый вопрос: *почему именно сейчас?*

— Хороший вопрос, Тони. Ты выбрал правильный путь меня разговорить. Ты знаешь, еще несколько минут назад я мечтал о том, чтобы у меня был помощник, и тут появляешься ты и делаешь все, что нужно. У тебя неплохо получается. Как у заправского психотерапевта. Так, давайте посмотрим... Ты спрашиваешь *почему именно сейчас?* Я задавал этот вопрос тысячу раз, но мне еще ни разу не приходилось на него отвечать. Прежде всего, вы абсолютно правы, когда говорите, что я не должен, связывать себя обещанием, которое я дал Филипу. И все же я не хочу от него отказываться: ведь он был прав, когда говорил про «я и ты». Как сказал бы Филип, эта идея «не лишена смысла». — Джулиус улыбнулся Филипу и, не получив ответа, продолжил: — Я хочу сказать, что, *действительно*, в отношениях между психотерапевтом и клиентом изначально заложено некоторое неравенство — это сложный вопрос... Вот это-то и заставило меня ответить Филипу. — Джулиус подождал, не будет ли замечаний; ему не нравилось, что он говорит слишком много. Повернувшись к Филипу, он спросил: — Что *ты* скажешь на это?

Филип вздрогнул от неожиданности и тряхнул головой. Немного поразмыслив, он ответил:

— Кое-кто считает, что я слишком разоткровенничался однажды, но, по-моему, это не совсем так. Просто один человек в группе рассказал о своих впечатлениях от общения со мной, и я добавил то, что считал нужным, — только для того, чтобы соблюсти фактическую достоверность.

— При чем здесь это? — спросил Тони.

— Вот именно, — добавил Стюарт. — Какую еще достоверность, Филип? Во-первых, если хочешь знать, лично я совсем не считаю, что ты слишком разоткровенничался. Но главное, я хочу сказать, что твой ответ не имеет никакого отношения к делу. Он никаким концом не касается вопроса Джулиуса.

Но Филипа эти замечания, похоже, не задели.

— Хорошо, давайте вернемся к вопросу Джулиуса. Он застал меня врасплох, потому что у меня не было никаких мыслей на этот счет. В том, что он рассказал, не было ничего, что могло бы вызвать во мне ответную реакцию.

— Вот это хотя бы по делу, — ответил Стюарт. — А то ни к селу ни к

городу.

— Боже мой. Может, хватит изображать из себя дурачка? — неожиданно взорвалась Пэм. Она хлопнула руками по коленям и с раздражением набросилась на Филипа: — Если хочешь знать, у меня есть имя. Как ты смеешь называть меня «один человек в группе»? Это глупо и унижительно.

— Ты хочешь сказать, что я симулирую слабоумие? — спросил Филип, стараясь не смотреть на Пэм, кипевшую от гнева.

— В кои-то веки! — всплеснув руками, воскликнула Бонни. — Наконец-то вы оба друг друга заметили.

Пэм пропустила мимо ушей это замечание и продолжила, обращаясь к Филипу:

— Слабоумие — это еще мягко сказано. И ты заявляешь, что у тебя нет никаких реакций на слова Джулиуса? Как *может* у человека не быть ответной реакции на Джулиуса? — Глаза Пэм сверкали от ярости.

— Какой, например? — спросил Филип. — У тебя, по-видимому, есть предложения.

— Как насчет *благодарности* за то, что он вообще отвечает на твою нелепую и беспардонную просьбу? Или *уважения* за то, что он выполнил обещание? Или *сочувствия* к тому, что пришлось этому человеку пережить? Или *удивления* или даже *раскаяния*, оттого что и с тобой случилось нечто подобное? Или *восхищения* по поводу его желания работать с тобой — со всеми нами, несмотря на его смертельную болезнь? И это только начало. — Пэм возвысила голос: — Как ты можешь ничего не чувствовать? — Пэм отвернулась от Филипа, всем своим видом показывая, что не желает больше с ним разговаривать.

Филип ничего не ответил. Он сидел неподвижно, словно Будда, выпрямившись, уставясь в потолок.

Наступила глубокая тишина, во время которой Джулиус раздумывал, как поступить. Лучше всего немного подождать: одно из его любимых правил гласило: «*Куй железо, когда остынет*».

Психотерапия, всегда считал он, есть последовательный процесс: возбуждение эмоций — и их осмысление.

На сегодня, решил он, эмоций достаточно, может быть, даже больше чем достаточно. Время двигаться к осознанию и осмыслению. Решив воспользоваться обходным маневром, он обратился к Бонни:

— Итак, что же это значило — «в кои-то веки»?

— Читаешь мои мысли, да? Как тебе это удастся? Я только что об этом подумала и пожалела, что у меня сорвалось это с языка. Наверное, было

обидно? Как будто я насмехаюсь, да? — Она взглянула на Пэм, затем на Филипа.

— Я тогда не подумала об этом, — ответила Пэм. — Но сейчас мне кажется, что да, в этом была какая-то насмешка.

— Прости, — сказала Бонни, — но вы все время грызетесь друг с другом, рычите — и я... мне сразу стало легче от того, что вы друг с другом заговорили. А ты, — она повернулась к Филипу, — обиделся на меня?

— Нет, — ответил Филип, не поднимая глаз, — я этого не заметил. Я старался не глядеть ей в глаза.

— «Ей»? — переспросил Тони.

— В глаза Пэм. — Филип повернулся к Пэм, голос его дрогнул. — Тебе в глаза, Пэм.

— Ну слава богу, старик, — отозвался Тони. — Вот это дело.

— Ты испугался, Филип? — спросил Гилл. — Не слишком-то приятно получать *такое*?

— Нет, я все время думал только о том, чтобы ее взгляд, ее мнение не беспокоили меня. То есть я хотел сказать, Пэм, *твой* взгляд, *твое* мнение.

— Ты как я, Филип, — заметил Гилл. — У меня с Пэм тоже одни проблемы.

Филип посмотрел на Гилла и кивнул — почти с благодарностью, подумал Джулиус. Когда стало ясно, что Филип не собирается продолжать, Джулиус обвел глазами группу — ему хотелось расшевелить тех, кто до сих пор отмалчивался. Он никогда не упускал случая подключить к разговору как можно больше людей: с убежденностью евангелиста он верил, что чем больше человек участвует в разговоре, тем лучше. Сейчас ему хотелось разговорить Пэм: ее гневный голос до сих пор звенел у него в ушах. Именно с этой целью он и обратился к Гиллу:

— Гилл, ты сказал, что не хотел бы попасться Пэм под горячую руку... и на прошлой неделе ты назвал ее генеральным прокурором — что ты можешь сказать по этому поводу?

— Да нет, это так... мои проблемы, что я могу сказать? Это...

Джулиус прервал его:

— Стоп. Замри здесь, на этом месте. — Он повернулся к Пэм: — Ты слышала, что сказал Гилл? Как по-твоему, это имеет отношение к тому, что ты сказала — что ты не хочешь и не можешь его слушать?

— Конечно, — ответила Пэм. — Типичный Гилл. Смотри, Гилл, что ты сейчас сказал: *«Не обращайтесь внимания на мои слова. Это не важно, я не важен, это мое личное. Я никого не хочу обидеть. Не слушайте меня»*. Мало того что это унижительно — это еще и скучно. Тоска смертная. Боже

мой, Гилл. У тебя есть что сказать? Так встань и скажи.

— Итак, Гилл, — спросил Джулиус, — *если бы ты хотел* что-то сказать, без всяких предисловий, что бы это было? — (Старое доброе сослагательное наклонение. Сколько раз ты выручало меня.)

— Я бы сказал ей — тебе, Пэм, — *ты* здесь судья, которого я боюсь. Ты судишь меня. Мне трудно — нет, мне страшно, когда ты рядом.

— Вот это истинная правда, Гилл. *Вот теперь* я тебя слушаю, — ответила Пэм.

— Итак, Пэм, — продолжил Джулиус, — вот два человека — Филип и Гилл, — которые признались, что боятся тебя. У тебя есть какие-нибудь реакции на этот: счет?

— Да — одна большая реакция: «Это их проблемы».

— А может, и твоя проблема тоже? — возразила Ребекка. — Может, и остальные мужчины в твоей жизни чувствовали то же самое?

— Хорошо, я об этом подумаю.

— Мнения? Кто хочет высказаться? — спросил Джулиус.

— Мне кажется, Пэм хочет увильнуть от ответа, — отозвался Стюарт.

— Да, у меня тоже такое чувство, Пэм, что ты и не собираешься об этом думать, — добавила Бонни.

— Может, вы и правы. Мне кажется, я все еще пытаюсь отомстить Ребекке — за то, что она хотела защитить Филипа от меня.

— Ну, что скажешь, Пэм? Вот так задачка, не так ли? — сказал Джулиус. — Только что ты отчитала Гилла за то, что он пытается уйти от ответа, но едва это коснулось тебя — оказалось, что оно ой как колет.

— Да, ты прав... так что, может быть, в конце концов, я не такая уж сильная. И знаешь, Ребекка, мне действительно было обидно.

— Извини, Пэм, — отозвалась Ребекка, — я не хотела тебя обидеть. Но ведь защищать Филипа еще не значит быть против тебя.

Джулиус выжидал, не зная, в каком направлении подтолкнуть беседу. Возможностей хоть отбавляй: во-первых, недовольство Пэм и ее склонность всех судить, во-вторых, мужская сторона, Тони и Стюарт — их что-то давно не слышно, да и соперничество между Пэм и Ребеккой тоже ждало своего разрешения. А может, прежде закончить с Бонни и ее насмешливым замечанием? Или остановиться на выпаде Пэм против Филипа? Он знал, что поспешность может все испортить. Прошло лишь несколько занятий, а процесс примирения сдвинулся с мертвой точки. Может быть, на сегодня достаточно. Трудно сказать. Вот и Филип чуть-чуть оттаял. Но тут, к его удивлению, группа сама повернула разговор в совершенно неожиданное русло.

— А вот интересно, Джулиус, — сказал Тони, — как тебе наши реакции на твоё признание?

— Мы недалеко ушли. Дайте сообразить... Сначала ты сказал, что ты думаешь, потом Пэм... потом она схлестнулась с Филипом по поводу того, что у него нет никаких реакций... Да, кстати, Тони, я так и не ответил на твой вопрос «почему именно сейчас». Давайте-ка вернемся к этому. — Джулиус помолчал, собираясь с мыслями. Он очень хорошо понимал, что его откровение, как и откровение любого психотерапевта, всегда имеет двойной результат: во-первых, отражается на нем самом, а во-вторых, на группе, которая учится на его примере. — Должен признаться, что я твердо решил рассказать вам сегодня эту историю. Помните, как вы пытались меня удержать? Но я не поддался. Это несколько нетипично для меня, и я даже не совсем понимаю, что со мной происходит, но мне кажется, за этим стоит что-то важное. Тони, ты спрашивал, чего я хотел — вашей помощи или, может, прощения? Ни того ни другого. Я уже столько раз обсуждал эту историю — и с друзьями, и со своим психотерапевтом, что успел трижды себя простить, но я знаю одно: раньше — я хотел сказать, до меланомы — я бы ни за что на свете не признался. До меланомы... — повторил Джулиус. — Да, все дело в этом. Мы все когда-то умрем — догадываюсь, как вас радуют подобные замечания, — но когда твой приговор уже подписан, и печать поставлена, и даже дата, это значит очень многое. Моя болезнь дает мне странное ощущение свободы, и оно позволило мне рассказать. Вот почему мне, наверное, следовало бы завести помощника — того, кто мог бы объективно оценить, как я соблюдаю ваши интересы. — Джулиус помолчал. — Я заметил, что вы все промолчали, когда я сказал, что вы боитесь за меня. — И после паузы прибавил: — Вы и теперь молчите. Теперь понимаете, зачем нам нужен помощник? Я всегда считал, что, если что-то важное не обсуждается в группе, не стоит говорить и про остальное. Моя работа заключается в том, чтобы устранять препятствия, и я меньше всего хотел бы стать препятствием. Мне, конечно, трудно взглянуть на себя со стороны, но мне кажется, вы избегаете меня — или, нет, вы избегаете мою болезнь.

Бонни сказала:

— Лично я хочу обсуждать, что происходит с тобой, но я не хочу причинять тебе боль.

Остальные закивали.

— А. Теперь вы заговорили. Так вот, слушайте внимательно, что я вам скажу: есть только один способ причинить мне боль — *отдалиться от меня*. Я знаю, очень трудно общаться со смертельно больным человеком. В

таких случаях люди имеют обыкновение вести себя очень осторожно и не знают, что сказать.

— Это как раз про меня, — отозвался Тони. — Я не знаю, что сказать. Но я не собираюсь бросать тебя, Джулиус.

— Я знаю, Тони.

— Возможно, — заметил Филип, — люди боятся вступать в контакт с тяжелобольными людьми, потому что не хотят раньше времени иметь дело со смертью, которая ожидает каждого из них.

Джулиус кивнул.

— Это важная мысль, Филип. Давай обсудим это. — Если бы то же самое сказал не Филип, а кто-то другой, Джулиус наверняка поинтересовался бы, как он пришел к этой мысли, но сейчас он хотел одного — поддержать своевременную реакцию Филипа. Джулиус обвел глазами группу, ожидая замечаний.

— Наверное, — сказала Бонни, — Филип прав. В последнее время меня действительно преследуют кошмары — кто-то все время пытается меня убить. И тот сон, про который я вам рассказывала, — поезд, на который я хотела сесть и который разваливался на части.

— Мне кажется, я тоже стал бояться больше обычного, — сказал Стюарт. — У меня есть знакомый дерматолог, мой приятель по теннису, так вот, я уже дважды за этот месяц просил его осмотреть мои бородавки — меланома не идет у меня из головы.

— Джулиус, — сказала Пэм, — я постоянно думаю о тебе с тех пор, как узнала про твою болезнь. Тут много говорили про мое отношение к мужчинам, и в этом есть, наверное, доля истины, но ты — исключение из правил, ты для меня самый дорогой человек. И мне все время хочется защитить тебя — особенно после того, как Филип втянул тебя в эти игры. Тогда я подумала — и сейчас думаю, — что это было жестоко и бестактно с его стороны. А что касается страха смерти — возможно, он и есть, но я его не замечаю. Знаешь, я все время думаю, как помочь тебе. Вчера я читала автобиографию Набокова и натолкнулась на любопытный отрывок, где он говорит, что жизнь — это искорка света, которая проносится между двумя равными промежутками тьмы — до нашего рождения и после смерти, и странно, говорит он, что нас так мало волнует первая и так сильно последняя. Эта мысль очень успокоила меня, и я решила, что обязательно тебе об этом расскажу.

— Спасибо, Пэм, это поразительная мысль. Не знаю почему, но она действительно успокаивает. Мне тоже гораздо больше нравится думать о первой тьме, до рождения, — она мне кажется приятнее. Может быть,

потому что она обещает что-то в будущем, которое еще только должно наступить.

— В свое время эта мысль, — неожиданно вмешался Филип, — показалась утешительной и Шопенгауэру, у кого Набоков, без сомнения, ее позаимствовал. Шопенгауэр говорит, что после смерти мы будем тем же, чем были до рождения, и далее доказывает невозможность существования двух видов небытия.

Не успел Джулиус ответить, как в разговор вмешалась Пэм. Сверкая глазами, она воскликнула:

— Вот, полюбуйте! И после этого ты собираешься быть консультантом? Это же просто смех. Мы с Джулиусом говорим про сокровенные вещи, а тебя лишь волнует, кто первым сказал то-то и то-то. Скажите, пожалуйста! Видите ли, Шопенгауэр однажды заметил нечто похожее. Подумаешь, какая важность.

Филип закрыл глаза и процитировал:

— «Неожиданно, к своему изумлению, человек замечает, что после многих тысяч лет небытия он снова живет на свете; какое-то время он существует, и потом снова наступает такой же длительный период, когда он не должен существовать» [\[115\]](#). Я многое помню наизусть из Шопенгауэра — это третий абзац трактата «К учению о ничтожности существования». Как по-твоему, это достаточно «похоже»?

— Как малые дети, честное слово. Вы оба, прекратите немедленно! — звенящим голосом воскликнула Бонни.

— Ты совсем распоясалась, Бонни. Мне это нравится, — отозвался Тони.

— Еще реакции? — спросил Джулиус.

— Лично я не хочу влезать в эту заварушку. Тут уже, похоже, в ход пошла тяжелая артиллерия, — ответил Гилл.

— Это точно, — добавил Стюарт. — Оба хороши. Филип всюду должен вставить своего Шопенгауэра, а Пэм обязательно нужно над ним посмеяться.

— Я смеялась не над ним, а над...

— Да хватит, Пэм, не придирайся. Ты же понимаешь, что я хочу сказать, — не сдавался Стюарт. — А твои наскоки из-за Набокова? К чему все это? Сначала ты поливаешь грязью его героя, а теперь расхваливаешь того, кто позаимствовал мысль у Шопенгауэра. Филип тебя поправил — ну и что? Подумаешь, какое преступление сказать, что Шопенгауэр первым до этого додумался.

— Дайте мне сказать, — вмешался Тони. — Я, конечно, как всегда в

пролете и не знаю, что это за пижоны такие — особенно этот Набо... Нобо?

— Набоков, — мягко, как всегда, когда она обращалась к Тони, сказала Пэм, — это великий русский писатель, ты наверняка слышал про его роман «Лолита».

— А, да, что-то такое было. Знаете, от таких разговоров у меня крыша едет: сначала я не понимаю, о чем идет речь, и чувствую себя полным идиотом, а потом я затыкаюсь и от этого чувствую себя идиотом вдвойне. С этим нужно кончать. — Он повернулся к Джулиусу: — Ты спрашивал, что я чувствую, — так вот, я чувствую себя полным идиотом. Теперь еще одно — помните, когда Филип спросил: «Как по-твоему, это достаточно «похоже»?» — я взглянул на его зубы — о, у него острые зубки, очень острые. И еще — насчет Пэм. — Тони повернулся к ней. — Пэм, ты моя слабость, я обожаю тебя, но я тебе скажу: *не хотел бы я встать тебе поперек дороги*.

— Я слушаю тебя, — отозвалась Пэм.

— И еще... черт! — продолжил Тони. — Забыл самое главное. Из-за этого спора мы совсем сбились с курса. Мы ведь говорили о том, как мы защищаем или избегаем тебя, Джулиус, а Пэм и Филип увели нас в сторону. Может, мы снова тебя избегаем?

— Мне так не кажется. Когда мы работаем так глубоко, как сейчас, мы просто не можем задерживаться на одном месте — мысли сами выносят нас в другое русло. Кстати, — тут Джулиус повернулся к Филипу, — я не случайно сказал «глубоко»: мне показалось, твое раздражение, которое впервые прорвалось наружу, — это признак каких-то глубинных переживаний. Я думаю, Филип, тебя очень волнует Пэм, вот почему ты на нее разозлился. — Джулиус знал, что Филип не ответит сам, и потому решил его подтолкнуть: — Филип?

Филип встряхнул головой.

— Не знаю, что тебе на это ответить. Я хотел бы сказать другое. Признаюсь, я, как и Пэм, тоже искал, чем тебе помочь. По совету Шопенгауэра, я каждый день читаю на ночь Эпиктета или Упанишады. — Филип взглянул на Тони. — Эпиктет — римский философ, второй век. Упанишады — священные древнеиндусские тексты. На днях я нашел у Эпиктета одно интересное место и размножил для каждого. Я сделал примерный перевод с латинского. — Филип вынул из портфеля какие-то листки бумаги, раздал их по кругу и, закрыв глаза, начал цитировать:

Когда корабль бросает якорь, ты идешь, чтобы принести воды, и зачерпываешь вместе с водой корешки и ракушки. Но мыслями ты должен быть на корабле, ты постоянно оглядываешься, как бы хозяин корабля не позвал тебя, он может позвать тебя в любое время, и ты должен

повиноваться этому зову и выбросить все эти посторонние вещи, чтобы на тебя не смотрели как на овец, что связаны и брошены в трюм.

Так и с человеческой жизнью. И если вместо корней и ракушек у тебя появятся жена и дети, ничто не должно помешать тебе взять их. Но когда хозяин позовет тебя, беги на корабль, брось их и не оглядывайся. А если ты стар, не уходи далеко от корабля, потому что хозяин может позвать тебя в любую минуту, а ты можешь оказаться не готов [\[116\]](#).

Филип закончил и, вытянул руки вперед, как бы говоря: «Вот так».

Группа молча погрузилась в чтение. На всех лицах застыло крайнее недоумение. Стюарт первым нарушил молчание:

— Филип, я что-то ничего не понял. Зачем это Джулиусу? Или нам?

Но Джулиус показал на часы:

— Извините, друзья мои, но нам пора заканчивать. На прощание я хотел бы сказать вот что. Я часто рассматриваю слова и поступки с двух сторон — с точки зрения *содержания* и с точки зрения *процесса*. Под словом *процесс* я понимаю *все, что сообщает нам о характере взаимоотношений*. Я тоже, Стюарт, не вполне понимаю *содержание* сообщения Филипа — мне нужно его перечитать, и, может быть, мы сделаем это темой следующего занятия, но зато я знаю кое-что о *процессе*. Я знаю, Филип, что ты, как и Пэм, думал обо мне, ты хотел сделать мне подарок, и для этого ты немало потрудился: ты заучил этот отрывок и сделал копии для группы. Какой мы можем сделать вывод из этого? Что ты заботишься обо мне. Что я чувствую? Я тронут, ценю это и хочу дождаться того времени, когда ты сам об этом скажешь.

Глава 30

Можно уподобить жизнь вышитому куску материи, лицевую сторону коего человек видит в первую половину своей жизни, а изнанку — во второй; изнанка, правда, не так красива, но зато более поучительна, так как по ней можно проследить сплетение нитей [\[117\]](#).

Комната опустела. Джулиус видел, как группа спустилась по лестнице, вышла на улицу. Они не разошлись по машинам, а зашагали вместе — без сомнения, направляясь в кофейню. С какой радостью он сейчас накинул бы куртку и сбежал вниз, чтобы к ним присоединиться. Но это был другой день, другая жизнь и другие ноги, подумал он и поплелся по коридору к компьютеру, чтобы внести записи о занятии. Неожиданно передумал и вернулся, сел, достал трубку и закурил, с удовольствием вдыхая густой аромат турецкого табака. Ни за чем — ему просто хотелось еще несколько минут погреться у тлеющих угольков закончившейся встречи.

Это занятие, как и все в последнее время, вышло чрезвычайно бурным. Он вспомнил, как когда-то, много лет назад, он занимался с группами женщин, больных раком груди, и его пациентки признавались ему, что, как только первая волна паники отступала, приходило поистине золотое времечко. Они говорили, что болезнь помогла им стать мудрее, лучше узнать себя, заставила сменить приоритеты, стать сильнее, отказаться от множества пустых и ненужных вещей и начать ценить то, что обладает истинной ценностью, — свою семью, друзей, близких. Они признавались, что впервые в жизни научились видеть красоту, наслаждаться течением времени. Как жаль, сокрушались многие, что понадобилось оказаться во власти смертельной болезни, чтобы научиться жить.

Перемены, происходившие в этих женщинах, были действительно поразительными — как верно заметила одна из них, «рак лечит от любых неврозов». Джулиус даже пару раз ловко проводил своих студентов — он описывал им перемены в поведении пациентов и потом спрашивал, о какой, по их мнению, терапии шла речь. Как же они удивлялись, когда он объявлял, что причиной была вовсе не терапия и даже не лекарства, а смертельная болезнь. Он был многому обязан этим женщинам. Какой

пример подавали они ему теперь, когда пришел его черед. Как жаль, что он не мог им об этом рассказать. Живи достойно, напомнил он себе, и будешь творить добро, сам того не подозревая.

А как ты справляешься со своей болезнью? — спросил он себя. Я досыта нахлебался паники, от которой, слава богу, начинаю потихоньку избавляться, хотя каждую ночь просыпаюсь от ужаса — ужаса, который сковывает меня, который не поддается никаким уговорам — ничему, кроме валиума, полоски зари и горячей ванны.

Изменился ли я, стал ли мудрее? Наступило ли мое золотое времечко? Наверное, я стал ближе к самому себе — может быть, в этом и есть моя главная перемена. И еще, я *знаю*, что как психотерапевт я стал лучше — мой слух стал острее. Да, я определенно изменился. Разве раньше я когда-нибудь позволил бы себе заявить, что влюблен в свою группу. Мне бы и в голову не пришло заговаривать о чем-то личном — о смерти Мириам, о своих похождениях. А как упрямо я хотел сегодня об этом рассказать. Джулиус удивленно встряхнул головой — вот уж действительно чудеса, подумал он. Похоже, у меня появилась склонность идти против течения, против собственных правил, против самого себя.

Они даже *не хотели* слушать меня. Как они воспротивились. Они не хотели знать про мои недостатки, про мои темные пятна. Но, когда я через это прошел, открылись любопытные вещи. Чего стоит один только Тони. Он вел себя как заправский психотерапевт — спросил, доволен ли я реакцией группы, пытался меня успокоить, спрашивал, «почему именно сейчас», — поразительно. У меня даже мелькнула мысль, что он мог бы вести группы, когда меня не станет. Да, это был бы номер. Психотерапевт-двоечник с бывшей судимостью. А остальные — Гилл, Стюарт, Пэм, — как они работали, как защищали меня, как следили, чтобы мы не уходили в сторону. Юнг как-то заметил, что только больной врач может лечить по-настоящему, — конечно, он имел в виду другое, но, кто знает, может быть, ради того чтобы научить пациентов работать над собой, психотерапевтам стоит иногда обнажать свои раны?

Джулиус не спеша побрел по коридору в кабинет, продолжая размышлять о встрече. А Гилл? Как он показал себя сегодня. Назвать Пэм «генеральным прокурором». Да, это удар. И удар в точку. Нужно будет помочь Пэм с этим справиться. Да, Гилл оказался прозорливее его самого. Сколько времени Пэм была его любимицей, и он даже не заметил в ней этой трещинки. Может быть, поэтому я не смог помочь ей справиться с мыслями о Джоне?

Джулиус включил компьютер и открыл файл «Сюжеты для рассказов».

Здесь хранилась несбывшаяся мечта всей его жизни: Джулиус мечтал стать писателем. Он, конечно, печатался в своей области — на его счету была пара книг и добрая сотня статей в разных психиатрических изданиях — но ему всегда хотелось писать настоящие книги. Вот уже много лет он собирал сюжеты для будущих рассказов — черпая их то из собственной практики, то из воображения. Он даже начал некоторые из них, но так и не нашел ни сил ни времени довести до конца.

Пробежавшись по столбцу названий, он остановился на строчке «Столкновение с жертвой» и перечитал два наброска. Первое столкновение противоборствующих сторон происходило на фешенебельном лайнере, курсирующем вдоль берегов Турции. Герой-психиатр входит в казино и в густых клубах дыма замечает своего бывшего пациента, который когда-то выманил у него семьдесят пять тысяч долларов. Во втором сюжете действовала женщина-адвокат: ее подзащитный обвиняется в изнасиловании, и при первом разговоре с ним в тюремной камере она начинает догадываться, что именно он изнасиловал ее десять лет назад.

Джулиус подумал и внес новую запись: «На занятии групповой психотерапии женщина встречает человека, который много лет назад был ее преподавателем, соблазнил ее и бросил». Отличная идея. Неплохая затравка для рассказа, подумал Джулиус, прекрасно зная, что никогда его не напишет. Во-первых, есть помехи этического порядка: нужно получить соответствующее разрешение от Пэм и Филипа. К тому же требовалось ждать десять лет, которых у него, увы, не было. Но и для терапии это неплохая затравка, подумал он. Он знал, что встреча Пэм с Филипом могла дать отличный результат — если, конечно, ему удастся удержать обоих в группе и найти силы, чтобы перевернуть прошлое.

Джулиус вынул листок Филипа и принялся читать, однако, сколько ни старался, так и не понял, какое отношение могла иметь к нему эта притча про моряков и море. В конце концов, он только недоуменно пожал плечами: и Филип говорит, что это должно принести ему утешение? Какое, хотел бы он знать.

Глава 31. Как Артур жил

Даже если нет особых причин для беспокойства, у меня всегда возникает какая-то тревога, которая заставляет меня озиаться, ища несуществующей опасности. Это до бесконечности раздувает во мне малейшее раздражение и делает мое общение с людьми еще несноснее [\[118\]](#).

После получения докторской степени Артур некоторое время пробудет в Берлине, недолго в Дрездене, Мюнхене и Мангейме, а потом, спасаясь от эпидемии холеры, уедет во Франкфурт, где безвыездно и проживет последние тридцать лет своей жизни, редко отлучаясь из дома дольше чем на день. Он нигде не будет работать, никогда не заведет ни собственного дома, ни домашнего очага, ни жены, ни семьи, ни близких друзей, не будет ни с кем общаться, не найдет себе приятелей, станет сторониться общества — одним словом, прослышет местным чудаком, объектом досужих насмешек. До самой старости он не получит ни признания, ни поклонников и не выручит за свои труды ни гроша. Его скромная корреспонденция будет почти целиком состоять из деловых писем.

И все же мы можем узнать о нем больше, чем о многих других философах: дело в том, что Шопенгауэр удивительно откровенен в своих работах. Уже в предисловии к «Миру как воле и представлении», главному труду своей жизни, он поражает читателя необычной для философского трактата живостью и непосредственностью языка. Четкий и ясный стиль его рассуждений явно рассчитан на то, чтобы вести прямой диалог с читателем. В первых строках предисловия он наставляет читателя, как следует читать его книгу, настоятельно рекомендуя ему прочесть ее дважды — проявив при этом необходимое терпение и выдержку. Далее он рекомендует перед чтением ознакомиться с его предыдущим сочинением «О четверояком корне закона достаточного основания», которое служит своего рода предисловием к данной книге, и обещает читателю, что тот впоследствии будет ему за это благодарен. Затем он убеждает читателя, что тот получит еще большую пользу, если предварительно ознакомится с работами великого Канта и божественного Платона. Однако, добавляет Шопенгауэр, он обнаружил у Канта серьезные ошибки, которые и

обсуждает в приложении к своей книге (оно также, по мнению автора, должно быть прочитано прежде). Кроме того, он высказывает замечание, что те из читателей, которые имели уже возможность ознакомиться с Упанишадами, будут наилучшим образом подготовлены к пониманию его книги. И, наконец, в заключение он замечает (и весьма обоснованно), что читатель, возможно, придет в негодование и почувствует нетерпение от столь дерзких просьб автора, нескромно посягающего на его бесценное время. Не странно ли после всего этого, что человек, столь откровенно и непринужденно беседующий с читателем, был так холоден и неприветлив в жизни?

Вдобавок к главной книге, многое можно почерпнуть в его автобиографических записках, которые он назовет «Εἰς ἑαυτοῦ» (в переводе с греческого «О самом себе»). История этой рукописи до сих пор покрыта тайной, и о ней известно лишь следующее.

Под конец жизни вокруг Артура собрался небольшой кружок страстных поклонников, или «евангелистов», которых великий мастер только терпел возле себя, но никогда по-настоящему не любил. «Евангелисты» нередко слышали, как их учитель упоминал некую автобиографическую рукопись под названием «О самом себе», над которой он работал на протяжении последних тридцати лет жизни. Однако после смерти мастера начнется нечто странное: рукопись исчезнет. После тщетных поисков «евангелисты» обступят Вильгельма Гвиннера, душеприказчика Шопенгауэра, и примутся расспрашивать его о пропавшем документе. Гвиннер сообщит им, что «О самом себе» более не существует, так как Шопенгауэр приказал ему сжечь ее сразу после смерти автора.

Однако через некоторое время Гвиннер неожиданно опубликует первую биографию Артура Шопенгауэра, в которой, по утверждению «евангелистов», они признают части из «О самом себе» — в одних местах прямо процитированные, а в других пересказанные издателем. Переписал ли Гвиннер рукопись, прежде чем сжечь ее? Или он вообще не сжигал ее и просто выкрал из архива, чтобы воспользоваться ею позже? Споры об этом будут вестись долгие годы, пока, наконец, другой ученик Шопенгауэра не воссоздаст рукопись по книге Гвиннера и по другим работам Шопенгауэра и не опубликует. «Εἰς ἑαυτοῦ», которая и выйдет впервые на сорока семи страницах в конце четырехтомника «Nachschlass» (посмертные произведения) Шопенгауэра. «О самом себе» представляет собой довольно странное произведение: каждый его абзац сопровождается комментариями, подчас более пространными, чем сам текст.

Как же получилось, что Шопенгауэр никогда и нигде не работал?

История его самоубийственной попытки сделать карьеру составляет еще одну яркую страницу его биографии, ныне непременно упоминаемую в любом жизнеописании великого философа. В 1820 году, в тридцать два года, Шопенгауэр получит предложение занять место приват-доцента на кафедре философии Берлинского университета — должность весьма незначительную и к тому же малооплачиваемую. Что же он? делает? Недолго думая, он таким образом составит расписание своих лекций (под общим названием «Сущность мира»), что оно будет полностью совпадать с лекциями Георга Вильгельма Гегеля, председателя факультета и самого признанного философа того времени.

В то время как две сотни восторженных студентов в первый же день набьются в аудиторию на лекцию Гегеля, послушать Шопенгауэра придут только пятеро. Он обратится к своим слушателям со страстной проповедью, в которой объявит себя мстителем, пришедшим освободить посткантианскую философию от бессмысленных парадоксов и порочного, невразумительного языка современной философии. С самого начала будет ясно, что Шопенгауэр имеет в виду не кого-нибудь, а именно Гегеля и его предшественника Фихте (помните юного пастушка, который сделался философом и прошагал через всю Европу, чтобы встретиться с Кантом?). Естественно, такие речи никак не поспособствуют ни его сближению с факультетской профессурой, ни лично с Гегелем, и, когда в следующем семестре желающих посещать занятия Шопенгауэра вообще не найдется, его краткой и безответственной академической карьере придет конец — до конца своих дней он больше не прочтет ни единой публичной лекции.

Шопенгауэр проживет во Франкфурте-на-Майне тридцать лет, вплоть до самой смерти в 1860 году, и тридцать лет будет неукоснительно придерживаться раз и навсегда заведенного распорядка — не менее строгого, чем у Канта: каждое утро три часа работы за письменным столом, затем час или два игры на флейте, и каждый день, не исключая зимних холодов, купание в холодных водах Майна. Обедать станет всегда в одном и том же клубе «Энглишер Хоф». Костюм — неизменный смокинг и белый галстук, наряд, безусловно, модный во времена его юности, но крайне нелепый для Франкфурта середины девятнадцатого века. В этом клубе ежедневно в один и тот же час каждый любопытствующий будет иметь возможность видеть чудаковатого и ворчливого философа собственной персоной.

С «Энглишер Хоф» связано немало анекдотов [\[119\]](#) про Шопенгауэра. Говорят, философ славился отменным аппетитом и ел всегда за двоих; если же кто-нибудь делал ему замечание на этот счет, он отвечал, что и думает за

двоих. Рассказывают также, что он имел обычай платить за два места, дабы никто не мог подсесть к нему за столик. Вспоминают его язвительные, но чрезвычайно меткие замечания, частые вспышки гнева, «черный список» лиц, которым он ни за что и ни при каких обстоятельствах не подавал руки, склонность обсуждать самые неприличные и шокирующие темы: так, однажды он во всеуслышание расточал восторженные похвалы в адрес нового достижения науки, позволившего ему избежать заражения венерической болезнью посредством опускания пениса в слабый раствор хлорной извести сразу после полового контакта.

Шопенгауэр обожал вести серьезные беседы, но редко находил достойного собеседника. В одно время он как-то, сядя обедать, завел привычку класть перед собой на стол золотую монету и, уходя, забирать ее с собой. Один из армейских офицеров, который часто обедал с ним по соседству, спросил его о цели подобных манипуляций. В ответ Шопенгауэр сказал, что пожертвует эту монету нищим, как только услышит, что офицеры ведут между собой умную беседу, которая не вертелась бы целиком вокруг лошадей, женщин и собак. За обедом он имел обыкновение громко разговаривать со своим пуделем Атманом, и при этом всякий раз обращался к нему на «вы» и «сударь», если тот вел себя хорошо, и «ты» и «человек», если тот чем-то хозяина огорчал.

Сохранилось немало историй ^[120], свидетельствующих о редком остроумии Шопенгауэра. Однажды один из посетителей клуба задал ему какой-то вопрос, на что Шопенгауэр ответил просто: «Не знаю». Молодой человек дерзко воскликнул: «А я-то думал, что вы большой мудрец и все знаете!» — на что Шопенгауэр тут же заметил: «Нет, знание ограничено, безгранична только глупость». Любой вопрос, заданный женщиной или о женщинах, неизменно вызывал у него язвительную насмешку. Однажды Шопенгауэр обедал в компании одной словоохотливой дамы. В продолжение обеда она в подробностях расписывала ему, как несчастна в замужестве. Шопенгауэр терпеливо выслушал ее, но когда она спросила его, понимает ли он ее, он ответил: «Нет, но очень хорошо понимаю вашего мужа».

Известен и другой любопытный диалог. Однажды Шопенгауэра спросили, хотел бы он жениться.

- Нет, потому что это принесло бы мне одни неприятности.
- Но почему непременно так?
- Я стал бы ревновать, потому что моя жена изменяла бы мне.
- Но почему вы в этом уверены?
- Потому что я бы этого заслуживал.

— Чем же вы заслуживали бы этого?

— Тем, что женился.

Доставалось от него и докторам. Однажды он заметил, что доктора имеют два почерка: один, крайне неразборчивый, для рецептов и другой, четкий и ясный, для счетов.

Один писатель, в 1846 году оказавшийся в одной компании с Шопенгауэром, так описывает его внешность:

Недурного сложения... костюм безукоризненный, но старомодный... среднего роста, коротко стриженные седые волосы... удивленные и необыкновенно пронизательные голубые глаза с крапинками... большую часть времени погружен в себя, и если говорит, то витиевато и напыщенно, чем постоянно навлекает на себя насмешки и издевательства... обедающей братии. Этот часто комичный и раздражительный человек, по сути безобидный и добродушно ворчливый, становится объектом насмешек ничтожных людей, которые постоянно — хотя и без особой злобы — над ним подшучивают.

После обеда Шопенгауэр отправлялся в длительную прогулку, во время которой вел оживленные беседы на один, а то и на два голоса, со своим пуделем, под свист и улюлюканье мальчишек. Вечера неизменно проводил дома, за книгой, и никогда не приглашал гостей. Не сохранилось никаких свидетельств о том, чтобы во Франкфурте у Шопенгауэра были какие-то романтические связи. В 1831 году, в возрасте сорока трех лет, он напишет в «О самом себе»: «Жить, не работая, имея очень скромный доход, — на это можно решиться только в безбрачии» [\[121\]](#).

Он так и не встретится больше с матерью, но через двенадцать лет после разрыва, в 1813 году, между ними завяжется деловая переписка, которая будет с перерывами продолжаться вплоть до самой смерти Иоганны в 1835 году. Однажды, во время его болезни, мать неожиданно сделает личное замечание: «Два месяца взаперти, не видя людей. Это нехорошо, сын мой, ты расстраиваешь меня. Мужчина не может и не должен изолировать себя подобным образом».

Время от времени Артур станет обмениваться письмами с сестрой Аделью, которая будет пытаться сблизиться с братом, обещая всякий раз, что ни в коем случае не станет обременять его своими заботами. Он будет неизменно сторониться ее. Адель так и не выйдет замуж и всю жизнь будет глубоко несчастна. Когда Артур сообщит ей, что из-за холеры вынужден бежать из Берлина, она ответит, что была бы только рада, если бы холера избавила ее от страданий. Артур будет стремительно удаляться от сестры, решительно отказываясь принимать участие в ее жизни и в ее страданиях.

После его отъезда из дома брат с сестрой увидятся только однажды, в 1840 году, и это будет краткое и печальное свидание. Спустя девять лет Адель скончается.

Деньги всегда будут предметом особого беспокойства Шопенгауэра. Мать завещает свое небольшое наследство Адели, а когда она умрет, от денег останутся жалкие крохи. Артур будет безуспешно пытаться зарабатывать переводами, и почти до самой смерти его собственные книги не будут ни продаваться, ни даже упоминаться в прессе.

В общем, жизнь его будет лишена тех привычных удовольствий и наград, которые утешали или даже позволяли выжить его современникам. Но как ему это удавалось? Какой ценой? Все это, как мы увидим, было тайной, которую он доверит только «О самом себе».

Глава 32

Памятники прошлого, идеи, оставленные предшественниками, подобными мне, являются для меня самой большой радостью в жизни. Если бы не было книг, я уже давно впал бы в отчаянье [\[122\]](#).

В следующий понедельник Джулиус застал странную картину в комнате для занятий: застыв в самых неожиданных позах, группа внимательно изучала листки, которые раздал Филип. Стюарт прикрепил свой листок к планшету и старательно подчеркивал какие-то места. Тони, очевидно, забыв свой экземпляр дома, заглядывал Пэм через плечо.

Ребекка с некоторым раздражением в голосе начала:

— Я прочла все это очень внимательно, — она взмахнула листком, сложила его и опустила в сумочку, — я потратила на это много времени, Филип, — даже слишком много, — и теперь я хотела бы, чтобы ты объяснил: какое отношение все это имеет ко мне, к группе или к Джулиусу?

— Думаю, будет гораздо полезнее, если вначале это обсудит класс, — отозвался Филип.

— Ах вот как. Класс? Так это была домашняя работа? Вот как ты собираешься консультировать! — воскликнула Ребекка, решительно защелкивая сумочку. — Это что, школа для переростков? Лично я пришла сюда лечиться, а не на уроки в вечерней школе.

Не обращая внимания на капризный тон Ребекки, Филип заметил:

— Между знанием и лечением нет четкой грани. Греки — Сократ, Платон, Аристотель, стоики, эпикурейцы — все считали образование и размышления лучшими средствами борьбы с человеческими страданиями. Большинство философов-консультантов считают образование основой терапии. Каждый из них мог бы подписаться под девизом Лейбница: *caritas sapientis*, что означает «мудрость и забота». — Филип повернулся к Тони: — Лейбниц — немецкий философ семнадцатого века.

— Боже, какое занудство, — не выдержала Пэм. — Ты только делаешь вид, что помогаешь Джулиусу, а сам, — она резко повысила голос, — Филип, я, кажется, с тобой разговариваю. — Филип, который до этого невозмутимо сидел, уставившись в потолок, вздрогнул и, выправившись, повернулся к Пэм. — Сначала ты раздаешь нам свои басни, как

первоклашкам, а теперь сидишь с умным видом, как будто тебя это не касается.

— Опять ты набросилась на Филипа, — сказал Гилл. — Ради бога, Пэм. Он же профессиональный консультант. Откуда он, по-твоему, должен брать примеры, как не из своей практики? Неужели так трудно понять. Что ты шипишь на человека?

Пэм открыла было рот, чтобы ответить, но так и не нашлась что сказать. Лишь удивленно уставилась на Гилла, который добавил:

— Ты сама просила говорить начистоту, так что не обижайся. Нет, нет, не думай, я не пьян. Вот уже четырнадцать дней я чист как стеклышко. Два раза в неделю я встречаюсь с Джулиусом — он как следует на меня нажал, завернул все гайки и отправил в группу анонимных алкоголиков, так что теперь я хожу туда каждый божий день, семь раз в неделю — четырнадцать занятий за четырнадцать дней. Я вам не говорил, потому что не был уверен, что выдержу.

Все присутствующие, за исключением Филипа, одобрительно закивали и заговорили разом. Бонни сказала, что гордится Гиллом. Даже Пэм выдавила: «Молодец», а Тони добавил:

— Наверное, мне скоро придется к тебе присоединиться. — И он показал на свою щеку, где красовался здоровенный синяк. — Кто бухал — тому фингал.

— А ты, Филип? Не хочешь что-нибудь сказать Гиллу? — спросил Джулиус.

Филип покачал головой:

— У него и без меня неплохая поддержка. Он не пьет, говорит то, что думает, — в общем, растет во всех отношениях. Много похвал тоже плохо.

— А разве не ты только что сказал: *caritas sapientis*, мудрость и забота, — напомнил Джулиус. — Вот я тебя и прошу не забывать про *caritas*: если Гилл заслуживает поддержки, *почему ты всякий раз должен плестись в хвосте?* И потом, никто, кроме тебя, не скажет, что ты чувствовал, когда он пришел тебе на помощь — защитил от Пэм.

— Неплохо сказано, — ответил Филип. — Но у меня сложные чувства: с одной стороны, мне приятно, что Гилл заступился за меня, а с другой — опасно расслабляться: в драке нужно надеяться только на себя, иначе мускулы атрофируются.

— Я, конечно, тут самый умный, — сказал Тони, указывая на листок. — Эта история с кораблем, Филип, — я что-то ничего не понял. В прошлый раз ты сказал, что хочешь как-то успокоить Джулиуса, но эти корабли и пассажиры — прости, я никак не врублюсь, в чем тут фишка.

— Не извиняйся, Тони, — сказала Бонни. — Я уже тебе говорила, ты читаешь мои мысли — я тоже никак не могу разобраться, при чем тут корабль и какие-то ракушки.

— Если честно, я тоже в тумане, — признался Стюарт.

— Давайте, я попробую, — сказала Пэм, — в конце концов, литанализ мой хлеб. Основное правило такое: нужно отталкиваться от конкретного материала — в данном случае это корабль, ракушки, овцы и так далее — и двигаться к абстрактному. В общем, нужно спросить себя: что может символизировать корабль, путешествие или пристань?

— Мне кажется, корабль — это смерть или путь к смерти, — сказал Стюарт, бросив взгляд на свой планшет.

— Хорошо, — ответила Пэм. — Дальше?

— Я думаю, — продолжил Стюарт, — главная мысль здесь такая: *не привязывайся к мелочам на берегу, а то пропустишь свой корабль.*

— То есть ты хочешь сказать, — перебил его Тони, — если застрянешь на берегу, даже с женой и детьми, то корабль уйдет без тебя? То есть пропустишь свою смерть? Велика важность. Вот так потеря.

— Да, ты прав, Тони, — отозвалась Ребекка. — Сначала я тоже думала, что корабль — это смерть, но теперь, когда ты это сказал, я вообще ничего не понимаю.

— Я тоже, — добавил Гилл. — Но, послушайте, ведь здесь не говорится, что пропустишь смерть, здесь говорится, что попадешь куда-то связанный по рукам и ногам, как овца.

— Какая разница? — возразила Ребекка. — Все равно никакого смысла. — Она повернулась к Джулиусу: — Это предназначалось тебе — может быть, ты скажешь?

— Могу только повторить то, что сказал на прошлой неделе. Я понимаю это так, Филип, что ты хочешь помочь мне справиться с болезнью, но боишься сказать это напрямую, поэтому и выбрал обходной путь. Я думаю, это хороший материал для будущих занятий: тебе нужно поработать над собой, чтобы научиться говорить о своих чувствах открыто. А что касается содержания, — продолжил Джулиус, — я тоже, признаюсь, немного растерялся, но моя версия такова: поскольку корабль может уйти в любую минуту — то есть смерть может призвать нас когда угодно, — мы не должны слишком сильно привязываться к земным вещам — возможно, это предупреждение, что сильные привязанности могут сделать смерть болезненнее. В этом смысл утешения, которое ты хотел мне предложить, Филип?

— Я думаю, — не дав Филипу ответить, вмешалась Пэм, — все станет

на свои места, если подумать о корабле и путешествии не как о символе смерти, а как об истинной жизни. То есть, я хочу сказать, наша жизнь приобретает истинный смысл, лишь когда мы сосредоточены на самом процессе бытия, когда размышляем над загадкой существования. Если мы сосредоточены на том, чтобы «быть», ничто не заставит нас отвлечься на внешнее — в данном случае, на разные объекты на берегу — и забыться настолько, чтобы упустить из виду само существование.

Недолгое молчание. Все головы повернулись к Филипу.

— Абсолютно верно, — не без торжества объявил он. — Именно это я и имел в виду. Идея в том, что нужно опасаться потерять себя в жизненных развлечениях. Хайдеггер называл это падением или погружением в *каждодневность* жизни. Я знаю, Пэм, ты терпеть не можешь Хайдеггера, но я считаю, что его нелепые политические убеждения не должны лишать нас удовольствия знакомиться с его философией. В общем, перефразируя Хайдеггера, падение в *каждодневность* приводит нас к несвободе — как овец. Пэм права, — продолжал

Филип, — мне тоже кажется, что эта притча предупреждает нас о том, как опасно привязываться к чему бы то ни было, и предлагает нам размышлять над загадкой бытия — не беспокоиться о том, как обстоят дела, но пребывать в изумлении, что *они вообще обстоят* — что мы вообще существуем.

— Вот теперь я, кажется, начинаю что-то понимать, — произнесла Бонни, — только это что-то такое далекое и странное. Но какое здесь может быть утешение? Для Джулиуса, для нас?

— Лично для меня огромное утешение сознавать, что смерть наполняет смыслом мою жизнь, — с необычайным воодушевлением заговорил Филип. — Меня чрезвычайно успокаивает мысль, что ничто на свете не может повлиять на мою глубинную сущность — никакие мелкие тревоги, ничтожные победы или поражения. Меня не волнует, что у меня есть, кто и что обо мне думает, кто меня любит и кто не любит. Для меня счастье — быть свободным, чтобы размышлять над сущностью бытия.

— Голос у тебя оживился, — заметил Стюарт. — Только, если честно, Филип, меня тоже не греет эта идея. А где жизнь? Это какие-то формулы. Бр-р-р. Даже мороз по коже.

Остальные сконфуженно молчали. Каждый чувствовал, что за словами Филипа скрывается что-то важное, но, как обычно, были сбиты с толку его причудливой манерой изложения.

Помолчав, Тони повернулся к Джулиусу:

— Ну, как тебе? Успокаивает? То есть, я хочу сказать, действует?

— Нет, не действует, Тони. И все же я повторяюсь, — Джулиус повернулся к Филипу, — я вижу, что ты стараешься помочь мне тем же самым способом, который когда-то помог тебе. И я помню, что ты уже во второй раз предлагаешь мне свою помощь, которой, увы, я не могу воспользоваться. Наверное, это тебя сильно расстраивает?

Филип кивнул, но не сказал ни слова.

— Второй раз? Что-то я не могу припомнить первого? — сказала Пэм. — Пока меня не было? — Она обвела группу глазами, но все лишь качали головами: никто не помнил первого раза, поэтому Пэм спросила Джулиуса: — Может, закрасим эти белые пятна?

— Это старая история между мной и Филипом, — ответил Джулиус. — Я понимаю ваше удивление, но дело за тобой, Филип, — расскажешь, когда будешь готов.

— Я готов это обсудить, — отозвался Филип. — Даю тебе карт-бланш.

— Нет, это не моя история, Филип. Выражаясь твоими же словами, *будет гораздо полезнее, если ты расскажешь об этом сам*. Твой вопрос — тебе и отвечать.

Филип вскинул голову, закрыл глаза и тем же механическим тоном, каким он цитировал отрывок, начал:

— Двадцать пять лет назад я консультировался у Джулиуса по поводу того, что теперь принято называть *сексуальной озабоченностью*. Я тогда был на грани срыва, не знал покоя, не мог думать ни о чем другом. Вся моя жизнь была погоней за женщинами — все время новыми женщинами: как только я заводил связь с одной, я тут же терял к ней интерес. Мне казалось, я существовал только в момент эякуляции, сразу после этого наступала короткая передышка, и очень скоро — иногда уже через несколько часов — мне снова нужно было выходить на поиски. Иногда у меня было по две, по три женщины за день. Я был в отчаянии, я хотел вытащить себя из этой грязи, подумать о чем-то другом, размышлять о вечном. Тогда я работал химиком, но меня всегда тянуло к себе истинное знание. Я срочно нуждался в помощи, самой лучшей и самой дорогой, какая только была возможна, — и я стал ходить к Джулиусу раз, иногда два в неделю, три года — все безрезультатно.

Филип помолчал. По комнате пробежало волнение. Джулиус спросил:

— Как ты, Филип? Хочешь продолжить или на сегодня хватит?

— Нормально, — ответил Филип.

— Когда ты закрываешь глаза, я не могу понять, о чем ты думаешь, — сказала Бонни. — Ты что, боишься, что мы тебя осудим?

— Нет, я закрываю глаза, чтобы сосредоточиться. По-моему, я уже

объяснял, что для меня важно только собственное мнение.

И вновь все уловили странную холодность в его голосе. Тони попытался развеять это ощущение, громко прошептав:

— Неплохой заход, Бонни.

Не открывая глаз, Филип продолжил:

— Вскоре я забросил ходить к Джулиусу. Как раз в это время подоспели траст-фонды моего отца, и у меня появились деньги, это позволило мне покончить с химией и всерьез заняться философией — у меня всегда был интерес к этой области, но главное, я верил, что где-нибудь в коллективной мудрости должно быть хоть какое-то средство от моей проблемы. В философии я был как рыба в воде и вскоре понял, что это и есть мое настоящее призвание. Я подал документы и был принят на философский факультет Колумбийского университета. Вот тогда-то Пэм и имела несчастье перейти ему дорогу. — Филип, все еще с закрытыми глазами, помедлил и глубоко вздохнул. Все взгляды были прикованы к нему, за исключением Пэм, которая упорно смотрела в пол. — Со временем я решил сосредоточиться на великой троице: Платоне, Канте и Шопенгауэре. Но, как выяснилось позже, из этих троих только Шопенгауэр был способен мне помочь. Я не только нашел в нем действенное лекарство, но и почувствовал странную близость к этому человеку. Как разумный человек я, естественно, не принимаю идеи о переселении душ в ее вульгарном смысле, но *если предположить*, что у меня была прошлая жизнь, то я должен был быть Артуром Шопенгауэром. Одно сознание, что этот человек когда-то существовал, уже успокоило мою боль. Несколько лет я читал и перечитывал его работы, и мои проблемы ушли сами собой. К тому времени, когда я защитил докторскую, отцовское наследство подошло к концу, и мне пришлось самому зарабатывать на жизнь. Я поколесил по стране с лекциями, несколько лет назад вернулся в Сан-Франциско и устроился преподавать в Коустел-колледж. Через некоторое время я разочаровался в преподавании — я понял, что студентов, которые были бы достойны меня и моего предмета, просто нет, и вот тогда-то, примерно три года назад, мне и пришла в голову мысль, что, раз философия вылечила меня, я мог бы лечить и других. Я закончил курсы и открыл небольшую практику, чем и занимаюсь по сей день.

— Джулиусу не удалось тебе помочь, — сказала Пэм, — и все же ты опять к нему обратился. Почему?

— Он сам обратился ко мне.

— Ну конечно. Джулиус вот так взял и ни с того ни с сего обратился к тебе, - проворчала Пэм.

— Нет-нет, Пэм, — вмешалась Бонни, — это действительно так. Джулиус сам рассказывал, когда тебя не было. Не могу тебе все объяснить, я не слишком-то поняла...

— Все верно, — вмешался Джулиус. — Давайте, я попробую помочь. Узнав про диагноз, я несколько дней ходил сам не свой — не знал, как мне с этим справиться. Однажды ночью мне стало совсем плохо, и я задумался о смысле своей жизни. Я подумал, что скоро исчезну в небытии и останусь там навсегда, а если так, какой смысл было что-то делать, к чему-то стремиться?... Сейчас уже не припомню всю цепочку этих тягостных мыслей, помню только, у меня было такое чувство, что, если сейчас, сию минуту, я не ухвачусь за любую соломинку, я захлебнусь от отчаянья. Вспоминая свою жизнь, я в какой-то момент понял, что на самом деле в ней *был* смысл, но он всегда был где-то вне меня — в том, чтобы помогать другим, учить их стать лучше, понимать себя. Я вдруг отчетливо понял, что моя работа и была главным делом моей жизни, и тогда я принялся думать о тех, кому смог помочь, — мои клиенты, старые и новые, проходили передо мной... *Я не сомневался*, что помог многим, но был ли длительный эффект от моего лечения — вот что не давало мне покоя. Я уже говорил вам до того, как вернулась Пэм, что мне так срочно захотелось найти ответ на этот вопрос, что я решил связаться с кем-нибудь из старых клиентов и узнать, как я повлиял на их судьбу, — безумие, конечно, я понимаю, но все же... Тогда, перебирая карты давнишних пациентов, я задумался о тех, кому помочь не смог. Что случилось с *ними*, думал я. Мог ли я сделать для них больше, чем сделал? И вдруг мысль, спасительная мысль, мелькнула у меня, что, может, кто-то из моих неудачников просто медленно «переваривал» и потом, позже, все-таки ощутил пользу от моей работы? Вот тогда-то мне на глаза и попала карта Филипа. Помню, я сказал себе: ты просил неудачу? вот тебе неудача. Вот человек, которому ты ничуть не *ни капельки* не помог — ты даже не сдвинулся с места. И мне неодолимо захотелось связаться с Филипом — спросить, что с ним произошло, узнать, помог ли я ему.

— Так вот почему ты ему позвонил, — сказала Пэм. — Но как он попал в нашу группу?

— Не хочешь продолжить, Филип? — спросил Джулиус.

— Я думаю, будет еще полезнее, если ты сам это сделаешь, — с едва заметной улыбкой ответил Филип.

Джулиус вкратце перечислил все, что случилось дальше: неутешительный ответ Филипа, известие о том, что Шопенгауэр оказался лучше его, приглашение на лекцию, просьба Филипа о супервизии...

— Филип, я не совсем понял, — неожиданно вмешался Тони. — Если Джулиус не смог тебе помочь, какой резон было просить его о супервизии?

— Джулиус задавал мне этот вопрос много раз, — ответил Филип. — Ответ прост: хотя Джулиус и не смог мне помочь, это не мешает мне считать его превосходным психотерапевтом. К тому же, возможно, дело было во мне: возможно, я был слишком упрямым пациентом, или моя болезнь просто не поддавалась его методам лечения.

— ОК, понял. — ответил Тони, — прости, Джулиус, я тебя перебил.

— Я уже почти закончил. Я согласился стать супервизором Филипа с одним условием — что он полгода будет ходить ко мне в группу.

— Но ты так и не сказал, почему ты поставил такое условие, — сказала Ребекка.

— Дело в том, что я достаточно понаблюдал за тем, как Филип себя ведет со мной и со своими студентами, и сказал ему, что его небрежная, снисходительная манера обращения с людьми может помешать ему стать хорошим терапевтом. Я правильно передал, Филип?

— Ну, если точнее, ты сказал: «Какой к черту из тебя терапевт, если ты ни хрена не смыслишь в том, что происходит между тобой и другими людьми».

— Браво! — воскликнула Пэм.

— Да, похоже на Джулиуса, это точно, — откликнулась Бонни.

— На Джулиуса, которому наступили на больную мозоль, — добавил Стюарт. — Ты наступал ему на мозоль?

— Не нарочно, — ответил Филип.

— Я не все поняла, Джулиус, — вмешалась Ребекка. — Мне более или менее ясно, почему ты позвонил Филипу и посоветовал ему терапию, но вот зачем ты пригласил его в свою группу и согласился стать его супервизором? У тебя и так дел достаточно, зачем тебе лишние проблемы?

— Да, вы сегодня не на шутку за меня взялись. Сложный вопрос. Даже не знаю, что ответить... скорее всего хотелось как-то замолить грехи, исправить старые ошибки...

— Насколько я понимаю, здесь многое было сказано лично для меня, и я это ценю, — сказал Пэм. — У меня только один вопрос. Ты сказал, что Филип дважды предлагал тебе помощь — или пытался это сделать, — но про это я так и не услышала.

— Да, до этого мы с ним не дотянули, — ответил Джулиус. — В общем, дело было так. Я пришел на лекцию Филипа, и там до меня начало постепенно доходить, что он устроил это нарочно для меня — чтобы помочь мне. Помню, он долго обсуждал отрывок из одного романа, в

котором умирающий человек находит утешение, читая Шопенгауэра.

— Что за роман? — спросила Пэм.

— «Будденброки», — ответил Джулиус.

— И это не сработало? Почему? — спросила Бонни.

— По нескольким причинам. Во-первых, Филип сделал это в весьма необычной манере — что-то вроде того, как он представил нам своего Эпиктета...

— Джулиус, — прервал его Тони, — не хочу быть самым умным, но не лучше ли сказать это прямо Филипу — догадайся, от кого я это слышал?

— Спасибо, Тони, ты абсолютно прав. — Джулиус повернулся к Филипу: — Твой фокус с лекцией сбил меня с толку — это было сделано так туманно и при таком скоплении народа. Тем более неожиданно, что мы только что провели с тобой целый час с глазу на глаз и ты ни разу не проявил ко мне никакого интереса. Но это одно, а другое — содержание твоей речи. Я не могу повторить весь отрывок — у меня не такая феноменальная память, как у тебя, — но, в общем, это было примерно так: престарелый отец семейства неожиданно прозревает и видит, что границы между ним и окружающим миром тают, и в результате он получает успокоение от осознания своего единства с жизнью, от мысли, что после смерти он сольется с некой силой, из которой когда-то вышел, и таким образом сохранит свою связь со всем живущим. Правильно я излагаю? — Джулиус взглянул на Филипа, который в ответ одобрительно кивнул. — Что ж, как я уже тебе говорил, Филип, эта идея меня нисколько не успокаивает, нисколько. Если мое сознание исчезнет, какое мне дело до того, что моя жизненная энергия, мои молекулы или моя ДНК останутся витать где-то в космическом пространстве? Если бы единение со всем сущим было моей целью, мне было бы куда приятнее получить это при жизни, так сказать, во плоти. В общем, вот так. — Он отвернулся от Филипа, обвел глазами группу и остановился на Пэм. — Это было первое утешение, которое предложил мне Филип, а притча, которую вы держите в руках, стало быть, — второе.

После недолгого молчания Джулиус добавил:

— Боюсь, я сегодня слишком много говорю. Каковы ваши реакции?

— Лично мне интересно, — ответила Ребекка.

— Мне тоже, — поддержала Бонни.

— Слишком много заумных слов, — сказал Тони, — но я секу.

— А мне кажется, — заметил Стюарт, — что напряжение растет.

— Между кем? — спросил Тони.

— Между Пэм и Филипом, конечно.

— И между Джулиусом и Филипом, — добавил Гилл, пытаясь снова повернуть разговор к Филипу. — Интересно, Филип, у тебя есть ощущение, что к тебе прислушиваются? Ценят твои слова?

— Мне кажется, что... — Филип выглядел непривычно смущенным, но вскоре вновь заговорил с обычной уверенностью: — Мне кажется, это глупо — вот так отмахиваться...

— Кому ты это говоришь? — спросил Тони.

— Да, конечно, — спохватился Филип. — Джулиус, мне кажется, это глупо — отмахиваться от идеи, которая принесла утешение стольким людям. Эпиктет, и Шопенгауэр тоже, утверждали, что чрезмерная привязанность к объектам, к другим людям, даже к представлению о собственном «я» служит основным источником страданий. Чтобы уменьшить страдания, нужно отказаться от привязанностей — разве это не ясно? Те же идеи, кстати, лежат в основе учения Будды.

— Хорошая мысль, Филип, и я постараюсь принять ее к сведению, но я понимаю твои слова следующим образом: ты предлагаешь мне хороший совет, который я с порога отвергаю, — и это заставляет тебя думать, что тебя недооценивают. Правильно?

— Я не говорил, что меня недооценивают.

— Не говорил вслух. Но я чувствую это — это же так естественно. Если бы ты заглянул внутрь себя, ты убедился бы сам.

— Пэм, ты делаешь страшные глаза, — заметила Ребекка. — Похоже на Индию? Джулиус, Филип, жаль, вас не было с нами в кафе, когда Пэм рассказывала про свои приключения в ашраме.

— Это точно, — отозвалась Пэм. — Я по горло сыта этими разговорами. «Откажись от привязанностей». «Отсеки собственное «я». Лично я поняла, что все это учит только одному — презирать жизнь. Взять хотя бы притчу Филипа — какую идею она несет? Что это за путешествие, что это за жизнь, когда ты не можешь наслаждаться ни миром, ни людьми, а только и думаешь, как бы поскорее отсюда уплыть? И это то, что я вижу в тебе, Филип. — Пэм повернула голову и теперь обращалась прямо к Филипу: — То, что ты предлагаешь, — что угодно, только не выход. Это бегство от жизни. Тупик. Ты не живешь. Ты даже не слушаешь. Когда я к тебе обращаюсь, у меня нет ощущения, что я говорю с живым человеком.

— Боже мой, Пэм. — Гилл поднялся на защиту Филипа. — А ты сама-то слушаешь других? Лично я не уверен. Ты слышала, что сказал Филип? Что он страдал, что у него были проблемы, навязчивые желания. Что он делал то же самое, что делала ты еще месяц назад — что каждый из нас делал бы на его месте, — искал выход. Что он наконец-то его нашел — и

нашел совсем не там, куда завел нас наш хваленый Новый Век. И что сейчас он пытается помочь Джулиусу тем же самым способом, который помог ему самому.

Все замолчали, пораженные внезапной вспышкой Гилла. Через несколько секунд Тони сказал:

— Гилл, ты сегодня просто зверь. Трогаешь мою девочку, мою Пэм. Мне это не нравится, старик. Но мне нравится, как ты заговорил, — надеюсь, Роуз скоро тоже это оценит.

— Филип, — сказала Ребекка, — я хочу попросить у тебя прощения за то, что набросилась на тебя сегодня. Я хочу сказать, я изменила свое отношение к этой... истории этого... Эпихета...

— Эпиктета, — мягко поправил Филип.

— Да, Эпиктета, спасибо, — продолжила Ребекка. — Чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится эта мысль про привязанности — она объясняет мне мои собственные проблемы. Мне кажется, я *сама* страдаю от привязанности — только не к деньгам и не к вещам, а к своей внешности. Всю жизнь она была моим счастливым билетиком, всегда и везде. Еще бы — все любят, все носят на руках. Королева дискотеки. Королева вечера. Конкурсы красоты... А теперь, когда от моей красоты остались жалкие крохи...

— Жалкие крохи? — перебила Бонни. — Не хочешь поделиться со мной своими крохами?

— И со мной. Отдала бы все свои украшения... и детей в придачу, если б они у меня были, — добавила Пэм.

— Да, спасибо, я очень тронута. Но ведь все относительно, — продолжала Ребекка. — Я *страшно* из-за этого переживаю. Я всегда считала, что я — это мое лицо, моя красота, и сейчас, когда ее стало меньше, я чувствую, что это *меня* стало меньше. Это ужасно тяжело — отказываться от своего счастливого билета.

— Шопенгауэр как-то высказал мысль, которая мне очень помогла, — сказал Филип, — и она заключается в следующем: наше относительное счастье проистекает из трех источников: из того, что человек есть, что он имеет и что представляет в глазах других. Шопенгауэр советует сосредоточиваться только на первом и не привязываться ко второму и третьему — то есть к тому, чтобы *иметь* и *казаться*, потому что этим мы не в силах распоряжаться и оно может и должно быть однажды отнято у нас — точно так же, как время должно отнять у тебя красоту. Более того, говорит он, «иметь» со временем приобретает прямо противоположное значение — *то, что мы имеем, часто начинает иметь нас*.

— Любопытно. Три источника — что ты есть, что имеешь и как выглядишь в глазах других? Вот это верно. Я всю жизнь жила только для последнего — меня все время волновало только то, что люди про меня думают. Знаете, у меня есть еще одна «страшная» тайна: мои волшебные духи. Я никогда об этом не говорила, но, сколько себя помню, я всегда мечтала изобрести особые духи — они должны называться «Ребекка», у них должен быть мой запах, и они должны пахнуть вечно, так, что каждый, кто их вдохнет, будет вспоминать о моей красоте.

— А ты сегодня смелая, Ребекка. Такой ты мне нравишься! — воскликнула Пэм.

— И мне тоже, — отозвался Стюарт. — Только знаешь, Ребекка... Ты, конечно, очень красивая, но теперь я понимаю, что твоя красота всегда мешала мне видеть настоящую *тебя* - возможно, мешала не меньше, чем если бы ты была гадкой и безобразной.

— Вот так сказал. Спасибо, Стюарт.

— Ребекка, я хочу, чтобы ты знала, — сказал Джулиус, — я тоже тронут твоим признанием. Оно показывает, в какой порочный круг ты попала: сначала ты принимаешь свою красоту за себя, а дальше происходит то, что сказал Стюарт, — другие тоже начинают принимать ее за тебя.

— Порочный круг, внутри которого пустота. Джулиус, я все время вспоминаю фразу, которую ты однажды сказал: «красивая пустышка» — это как раз про меня.

— Да, если не считать того, что порочный круг начал потихоньку размыкаться, — вмешался Гилл. — За последние дни я о тебе узнал больше, чем за целый год. Ты совсем не такая, какой кажешься.

— Согласен, — добавил Тони. — И знаешь что, Ребекка, прости меня, что я считал деньги, когда ты рассказывала про Лас-Вегас, — это была идиотская шутка.

— Извинение выслушано и принято, — ответила Ребекка.

— Ты слышала много отзывов о себе, Ребекка, — сказал Джулиус. — Как ты себя чувствуешь?

— Я чувствую себя великолепно — это так здорово. Мне кажется, все начали относиться ко мне по-другому.

— Это не мы — это ты сама, — сказал Тони. — Больше дал — больше взял.

— *Больше дал - больше взял?* Неплохая мысль, Тони, — отозвалась Ребекка. — А ты, я смотрю, становишься настоящим терапевтом. Может, накопить денег и записаться к тебе на прием? Сколько будешь брать?

Тони довольно улыбнулся:

— Я начинаю пользоваться спросом, Джулиус. Так что, пока мне фартит, рискну подкинуть одну идейку — знаешь, почему ты мог снова вернуться к Филипу? Ты никогда не думал, что много лет назад, когда вы только встретились, ты сам был таким же — ну, помнишь, ты рассказывал, что тебя тянуло к женщинам и все такое?

Джулиус кивнул:

— Продолжай.

— Так вот я подумал: если ты был таким же, как Филип — не таким, конечно, но близко, — могло это как-то помешать тебе в работе?

Джулиус выпрямился в кресле. Филип тоже напряжился.

— Это очень любопытная мысль, Тони. Да, теперь я начинаю понимать, почему психотерапевты трижды подумают, прежде чем рассказывать о себе.

— Извини, Джулиус, я не хотел прижимать тебя к стенке.

— Нет, нет, все нормально, правда. Я не жалею — может быть, только немного пытаюсь оттянуть время. Это очень точное замечание, Тони, — может быть, даже слишком точное, слишком колет, вот я и не хочу признаться... — Джулиус немного помолчал, задумавшись. — Вот что приходит мне в голову: я помню, меня страшно удивляло и расстраивало, что я не могу помочь Филипу. Я же знал, что *должен* был ему помочь. Когда мы только начинали, я готов был биться об заклад, что вылечу его. Мне казалось, уж кто-кто, а я-то знаю способ это сделать. Я был уверен, что мой личный опыт подскажет мне, когда нужно, и все пойдет как по маслу.

— Может быть, — предположил Тони, — поэтому ты и пригласил Филипа в группу — хотел сделать второй заход, со второй попытки, а?

— Ты читаешь мои мысли, Тони, — ответил Джулиус. — Я как раз собирался это сказать. Возможно, поэтому я заикнулся на Филипе: как только я вспомнил о нем, остальные тут же исчезли у меня из головы. Ого, вы только посмотрите, сколько времени. Очень жаль, друзья мои, но мы должны заканчивать. Это было отличное занятие. Ты задал мне много работы, Тони, и многое открыл, спасибо.

— Может, тогда мне не платить сегодня? — ухмыльнулся Тони.

— Блаженны дающие, — возразил Джулиус. — Но кто знает, если так продолжится, может, день и настанет.

На улице все немного постояли на крыльце и потом разошлись, за исключением Тони и Пэм, которые вместе направились в кафе.

Мысли Пэм вертелись вокруг Филипа. Ее нисколько не успокоило то,

что она, по его словам, «имела несчастье перейти ему дорогу». Более того, ее раздражало, что он похвалил ее за басню, и еще сильнее раздражало, что в глубине души ей это понравилось. Ее беспокоило, что группа все больше переходила на сторону Филипа — дальше от нее, дальше от Джулиуса.

Тони пребывал в чудесном настроении. Выйдя с занятий, он объявил, что отныне он СЦИГ — самый ценный игрок группы; он даже подумывает, не пропустить ли сегодня посиделку в баре, чтобы на досуге почитать одну из книжек, что надавала ему Пэм.

Гилл некоторое время постоял на улице, провожая глазами удалявшихся Пэм и Тони. Только его одного (ну, и Филипа, конечно) она не обняла на прощание.

Неужели он так сильно ее разозлил? Потом мысли его незаметно перетекли к завтрашней вечеринке. Очередная грандиозная дегустация Роуз: ее друзья каждый год собирались в это время, чтобы попробовать лучшие вина сезона. Но как быть? Просто поддержать вино во рту? Не так-то это просто. Или взять и во всем признаться? Тут ему пришел в голову его куратор из группы анонимных алкоголиков — он даже знал, какой разговор ждал его по этому поводу:

Куратор: Подумай, что для тебя важнее? Не ходи на дегустацию — просто поговори с людьми, пообщайся.

Гилл: Но ведь друзья собираются именно ради дегустации.

Куратор: Да? Тогда предложи всем что-нибудь другое.

Гилл: Не пройдет. Они на это не пойдут.

Куратор: Тогда заведи себе новых друзей.

Гилл: Роуз это не понравится.

Куратор: Ну и что из этого?

Ребекка мысленно повторяла: *Больше дал - больше взял, больше дал - больше взял*. Нужно будет запомнить эту фразу. Она улыбнулась, вспомнив, как Тони считал деньги, когда она рассказывала про свои похождения в Вегасе. В глубине души это ее позабавило. Может, все-таки не стоило с такой легкостью принимать его извинения?

Бонни, как всегда, жалела, что занятие подошло к концу: только в эти полтора часа она и дышала полной грудью, вся остальная жизнь была серой и скучной, как паутина. Но почему так? Разве у библиотечарши должна быть серая и скучная жизнь? Потом ей вспомнились слова Филипа: что человек есть, что он имеет и чем кажется. Занятно.

Стюарт смаковал свои впечатления: похоже, он и впрямь начал сливаться с группой. Он несколько раз повторил про себя то, что сказал

Ребекке, — про ее красоту, про то, как это мешает видеть ее и что в последнее время он узнал ее гораздо ближе, чем раньше. Да, это было неплохо, черт возьми. Неплохо. А что он сказал Филипу? Что от его идей мороз по коже. Теперь уж никто не назовет его фотокамерой. Да, и именно он указал на напряжение между Пэм и Филипом — а, нет-нет, это как раз была фотокамера.

Шагая домой, Филип тщетно пытался избавиться от мыслей о прошедшем занятии, но они навязчиво лезли в голову, так что в конце концов он махнул рукой и пустил их на самотек. Так, значит, старик Эпиктет всем понравился — он не мог не понравиться. Затем ему вспомнились их руки и повернутые к нему напряженные лица. Гилл встал на его защиту. Не стоит обольщаться: он не за тебя — он лишь *против* Пэм и пытается защититься от нее, а вместе с ней от Роуз и всех остальных женщин. Ребекке понравилось, что он сказал, — пред его мысленным взором промелькнуло ее миловидное личико. Потом он вспомнил Тони — татуировки, синяк во всю щеку. Он еще никогда не встречал таких типов — настоящий пещерный человек. Странно, однако, что этот пещерный человек, похоже, начинает выходить за пределы каждодневности. А Джулиус — совсем сбрендил? Отстаивать привязанности, да еще признаваться в том, что слишком в него вкладывался?

Ему сделалось неуютно, он поежился. Опасность оказаться у всех на виду тревожно замаячила впереди. Зачем он сказал Пэм, что она имела несчастье перейти ему дорогу? Не потому ли, что она слишком часто произносила его имя — и требовала, чтобы он взглянул ей в глаза? Его собственное мрачное прошлое нависало, будто призрак, Филип ощущал его присутствие, его готовность ожить в любую минуту. Он попытался успокоиться и, шагая дальше, медленно погрузился в медитацию.

Глава 33. Страдания, гнев, упорство

Ученым мужам и философам Европы: для вас болтуны вроде Фихте равны Канту, этому величайшему мыслителю всех времен, а презренные жалкие шарлатаны вроде Гегеля кажутся глубокими мыслителями. Вот почему я писал не для вас [\[123\]](#).

Родись Шопенгауэр сегодня, стал бы он кандидатом на психотерапию? Несомненно. Все симптомы налицо. В «О себе самом» он горестно сокрушается о том, что природа наделила его беспокойным характером и «подозрительностью, чувствительностью, неистовством и гордостью в размерах, вряд ли совместимых с невозмутимостью, которой полагается обладать философу» [\[124\]](#).

Весьма красноречиво он описывает свои симптомы:

От отца своего я унаследовал беспокойство, которое проклиная и с которым неустанно борюсь всю свою жизнь... В молодости меня преследовали воображаемые болезни... В Берлине мне казалось, что я умираю от чахотки... Меня постоянно мучили опасения, что меня могут призвать в армию... Из Неаполя я бежал из страха перед оспой, из Берлина — перед холерой... В Вероне меня сразило подозрение, что я понюхал отравленного табаку... в Мангейме я был охвачен неопишуемым ужасом без всякой очевидной причины... Годами меня мучил страх уголовного преследования... Если ночью я слышал какой-нибудь шум, я тут же вскакивал с постели и хватался за шпагу или пистолеты, которые всегда держал заряженными... Даже если нет особых причин для беспокойства, у меня всегда возникает какое-то тревожное чувство, которое заставляет меня оглядываться вокруг, ища несуществующей опасности: это до крайности раздувает малейшее раздражение и делает мое общение с людьми еще неноснее [\[125\]](#).

Желая унять свою подозрительность и беспрестанный страх, он заведет себе целый арсенал мер и предосторожностей [\[126\]](#): будет на всякий случай прятать золотые монеты и ценные бумаги в старые письма и рассовывать их по укромным уголкам дома, подшивать личные записки в папки под другими названиями, чтобы сбить с толку сыщиков, будет

аккуратен до педантичности, всегда станет требовать, чтобы его обслуживал один и тот же банковский служащий, и никому не позволит прикасаться к статуэтке Будды в своей комнате.

Влечение к противоположному полу будет доставлять ему немало беспокойства, и уже в юном возрасте он будет тяжело переживать эту власть низменного инстинкта над собой. В тридцать шесть лет таинственная болезнь заставит его провести целый год взаперти. Уже позже, в 1906 году, на основе прописанных ему лекарств, а также известных свидетельств о его чрезмерной сексуальности, биографы придут к заключению [\[127\]](#), что этой болезнью был сифилис.

Артур будет мечтать освободиться от бремени сексуальности, наслаждаясь краткими периодами безмятежного спокойствия, в которые он сможет всецело предаваться размышлениям. Он будет сравнивать воздержание со светом солнца, который мешает человеку любоваться звездами. Становясь старше, он с удовлетворением отметит ослабление полового влечения и наступление долгожданного душевного спокойствия.

Только философия будет приносить ему истинное наслаждение — вот почему любая опасность, грозившая нарушить его интеллектуальную свободу, будет приводить его в панику. До последних дней жизни он будет боготворить отца, даровавшего ему эту свободу, и неистово охранять свой капитал от любых посягательств, всегда с крайней тщательностью обдумывая каждый ход, прежде чем вложить свои деньги. Любые общественные беспорядки, грозившие его финансовому благополучию, будут приводить его в крайнее бешенство, и со временем его политические взгляды станут приобретать все более ультраконсервативный характер. Так, его страшно перепугают революционные волнения 1848 года, прокатившиеся по всей Европе, в том числе и Германии. Рассказывают, что однажды, когда солдаты ворвались в его дом, чтобы из окон обстреливать взбунтовавшуюся чернь, Шопенгауэр сам предложил им свой театральный бинокль, дабы выстрелы были точнее. Двенадцать лет спустя он завещает почти все свое состояние благотворительному фонду по поддержке солдат, изувеченных в тех сражениях.

Его деловая корреспонденция пестрит отчаянными ругательствами и угрозами. Когда банк, где хранились деньги Шопенгауэров, обанкротился и хозяин пообещал вернуть вкладчикам только малую долю их вложений, Шопенгауэр пригрозил ему такими драконовскими мерами, что банкир в испуге вернул ему 70% его капитала, в то время как остальным клиентам (включая мать и сестру Артура) пришлось довольствоваться суммами еще скромнее. Резкий и несдержанный тон его писем к издателю, в конце

концов, приведет к полному и окончательному разрыву их отношений. Раздосадованный издатель так напишет Шопенгауэру: «Я отказываюсь читать ваши письма, которые своей поразительной неотесанностью и откровенной грубостью выражений заставляют усомниться в том, что их писал философ, а не извозчик... Единственное, о чем я молю бога, — чтобы мои опасения по поводу того, что, издавая ваши книги, я произвожу на свет никому не нужный бумажный хлам, в конце концов, оказались напрасными» [\[128\]](#).

О вздорности Шопенгауэра ходят легенды: он яростно бранился с банкирами, которые вели его дела, с издателями, которые не могли распродать его книги, с дилетантами, которые навязывали ему свое знакомство, с «двуногими», возомнившими себя ему равными, с публикой, кашляющей на концертах, и с газетчиками, которые демонстративно отказывались замечать его труды. Но самую яростную злобу — злобу, доходившую до ожесточения, сделавшую его изгоем интеллектуального общества и до сих пор удивляющую потомков, вызывали у него собраты по перу. Особенно доставалось светилам тогдашней философии, Фихте и Гегелю.

В своей книге, опубликованной через двадцать лет после смерти Гегеля, скончавшегося во время эпидемии холеры в Берлине, Шопенгауэр так отзовется о его философии: «Нигде и никогда вполне скверное, осязательно-ложное, вздорное и даже, очевидно, бессмысленное и к тому же еще в высшей степени омерзительное и тошнотворное по исполнению не прославлялось и не выдавалось с такой возмутительною наглостью и с таким упорным меднолобием за высочайшую мудрость и за самое величественное, что мир когда-либо видел, — как это случилось с этою сплошь и насквозь ничего не стоящею философиєю» [\[129\]](#).

Эти резкие и несдержанные вспышки ярости по отношению к товарищам по цеху дорого обойдутся Шопенгауэру. В 1837 году на конкурсе Норвежской Королевской Академии наук ему будет присужден первый приз за сочинение о свободе воли. Шопенгауэр обрадуется как ребенок (это будет первым в его жизни общественным признанием) и успеет чрезвычайно досадить норвежскому консулу во Франкфурте, нетерпеливо требуя от него присужденной ему медали. Однако уже на следующий год, на конкурсе Королевской Датской Академии, его сочинение об основах этики постигнет совершенно иная участь. Несмотря на то что сочинение будет написано блестяще и к тому же окажется единственным поданным на конкурс, комиссия не согласится присуждать

награду, объяснив это резкими выпадами, допущенными Шопенгауэром в адрес Гегеля. Как отметят члены комиссии, «мы не можем оставить без внимания тот факт, что с выдающимися философами нашего времени обращаются в столь непристойной манере, способной вызвать серьезное и вполне справедливое возмущение».

Пройдет время, и многие уже безоговорочно станут соглашаться с Шопенгауэром в том, что стиль Гегеля слишком запутан и сложен для восприятия. И действительно, в преподавательской среде до сих пор бытует анекдот, что самым мучительным философским вопросом является не «в чем смысл в жизни?» и не «что есть сознание?», а «кому достанется преподавать Гегеля в этом году?». И все же неистовые выпады и ярость Шопенгауэра сделали свое дело — они всерьез и надолго отдалили его от читающей публики.

Чем дольше длилось противостояние, тем язвительнее становились его выпады, что, в свою очередь, углубляло взаимное отчуждение, выставляя чудака-философа на всеобщее посмешище. И все же, несмотря ни на что, он выживет и будет по-прежнему демонстрировать свою полную и абсолютную самодостаточность. До конца дней он будет упорно работать, сохраняя ясность и трезвость разума, и никогда не потеряет веры в свой гений, часто сравнивая себя с молодым дубком, который на первый взгляд кажется таким же скромным и непримечательным, как и остальные растения, «но оставьте его в покое, и он не погибнет. Пройдет время, и появятся те, кто будут способны по-настоящему оценить его»¹. Он будет предсказывать, что его труды окажут огромное влияние на грядущие поколения, и будет прав: все, что он напроорочит, сбудется.

Глава 34

С точки зрения молодости жизнь есть бесконечно долгое будущее; с точки зрения старости — очень короткое прошлое. Как предметы на берегу, от которого отходит наш корабль, становятся меньше, туманнее и труднее различимыми, точно так же происходит с событиями и действиями минувших лет
[\[130\]](#).

Чем стремительнее приближалось очередное занятие, тем острее предвкушал его Джулиус. В последнее время его чувства крайне обострились — возможно, истекали последние недели его «хорошего года». И дело не только в группе: буквально всё в его жизни, от малого до большого, теперь вызывало в нем какую-то необычайную нежность и сочувствие. Конечно, если рассудить, его недели всегда были сочтены, но их было так много, они терялись в таком бесконечном будущем, что он никогда не задумывался над тем, что они могут когда-то закончиться.

Очертания приближающегося конца всегда заставляют нас остановиться и задуматься: читатель с легкостью проглатывает тысячу страниц «Братьев Карамазовых», пока не заметит, что осталось всего ничего; тогда он замедляет чтение и начинает с удовольствием смаковать каждый абзац, наслаждаясь тягучей сладостью каждой фразы, каждого слова. Считанные дни, что оставались впереди, заставляли Джулиуса по-новому ценить время. Снова и снова он замечал, что в восхищении замирает перед бескрайним, удивительным течением обыкновенной жизни.

На днях он прочел книгу одного энтомолога: тот описывал, как исследовал необъятный мир на крохотном кусочке земли, огороженном веревкой позади своего дома. Раскапывая землю слой за слоем, он с благоговейным трепетом погружался в незнакомый, таинственный мир с его драмами, с его хищниками и жертвами, мир, кишущий нематодами, многоножками, ногохвостками, жучками и паучками. Если пристально вглядываться в окружающее, если внимательно прислушиваться к каждому звуку, если стремиться расширить свои познания, нас ни на секунду не покинет восторженное изумление.

Примерно это Джулиус теперь испытывал в группе. Страх перед

меланомой отступил, и приступы паники появлялись реже. Может быть, он слишком буквально воспринял свой прогноз о единственном «хорошем годе»? А может, он просто по-новому стал относиться к жизни: он жил теперь именно так, как советовал Заратустра, — делился своей мудростью, без страха ломал привычные рамки — в общем, так, как хотелось бы жить снова и снова.

Он и раньше всегда с любопытством ожидал занятия с группой, никогда не уставал удивляться непредсказуемости каждой встречи. Теперь же, когда его последний хороший год неумолимо приближался к концу, его чувства многократно обострились: прежнее любопытство переросло в жадное, почти детское ожидание. Он вспоминал, как много лет назад, когда он преподавал групповую терапию, его студенты вначале часто жаловались на скуку: им становилось дурно от полуторачасового выслушивания чужих признаний. Однако потом, когда они начинали вслушиваться в людские драмы, разбираться в сложном, запутанном клубке взаимоотношений в группе, их скука быстро улетучивалась, и они уже с нетерпением спешили в класс задолго до начала.

Близость расставания толкала группу на признания все откровеннее. Известный эффект: вот почему Отто Рэнк и Карл Роджерс, пионеры психотерапии, всегда начинали с того, что объявляли точную дату окончания занятий.

Стюарт заметно вырос в последние месяцы — больше, чем за три предыдущих года. Возможно, именно Филип его подтолкнул — поработал для него зеркалом. Стюарт не мог не узнать себя в мизантропии Филипа. Не мог не заметить, что в отличие от всех остальных, искренне радовавшихся каждому занятию, только они с Филипом ходили из-под палки — Филип в расчете на супервизию Джулиуса, а он сам — из-за ультиматума жены.

Однажды Пэм заметила, что группа никогда не сможет сплотиться по-настоящему, пока Стюарт будет сидеть «за кругом». Он действительно всегда сидел, чуть-чуть отодвинувшись от стола — совсем незаметно, всего на пару дюймов, но зато какие это были дюймы. Тогда все дружно согласились: оказывается, все и раньше замечали эту асимметрию, но никогда не связывали это с тем, что Стюарт боится сближения.

Однажды Стюарт, как это не раз бывало, начал жаловаться на жену: та вечно колола ему глаза своим отцом, который из главных хирургов дорос до декана факультета, а потом и до ректора. Когда же он дошел до известного утверждения о том, что ему никогда не заслужить уважение жены, пока она будет оглядываться на своего папочку, Джулиус внезапно оборвал его и

спросил, не замечает ли он, что рассказывал эту историю уже много раз.

Стюарт тогда возразил:

— Но ведь мы же здесь говорим о том, что нас беспокоит, разве не так?

На что Джулиус ответил:

— А как, по-твоему, должна чувствовать себя группа, изо дня в день выслушивая одно и то же?

— Я думаю, это должно быть очень занудно и скучно.

— Задумайся над этим, Стюарт. Какой тебе интерес быть занудным и скучным? А потом подумай, почему ты ни разу не сжалился над слушателями.

Стюарт подумал и через неделю сообщил, что сам удивляется, как мало, оказывается, он раньше над этим задумывался:

— Моя жена считает меня занудой — она все время твердит, что я «пустое место», и мне кажется, что группа тоже так думает. И я уже забыл, когда в последний раз кого-то жалел.

Прошло еще немного времени, и Стюарт признался в своей главной проблеме: в том, что его постоянно и необъяснимо раздражает двенадцатилетний сын. Тони был первым, кто вскрыл этот ящик Пандоры. Он задал Стюарту следующий вопрос:

— А каким ты сам был в его возрасте?

Стюарт признался, что у него было нищее, безрадостное детство: отец умер, когда ему было восемь, мать работала на двух работах, и ее постоянно не было дома, он был предоставлен самому себе, вечно болтался с ключом на шее, сам готовил себе обед и месяцами носил одну и ту же одежду. Став взрослее, он сумел подавить в себе эти воспоминания, но появление сына вновь заставило их вернуться.

— Конечно, глупо винить сына, — говорил он, — но я ничего не могу с собой поделать. Мне завидно и обидно видеть, как ему, подлецу, хорошо живется.

И опять Тони оказался первым, кто нанес зависти Стюарта сокрушительный удар. Он сразил его таким замечанием:

— А ты не пробовал почувствовать гордость за то, что это ты обеспечил своему сыну такую счастливую жизнь?

Почти все в группе сделали заметные успехи. Джулиус и прежде много раз наблюдал такое: стоит только группе дозреть до определенного уровня, как кажется, что все без исключения сразу становятся лучше. Бонни все еще металась между двумя огнями: ненавистью к бывшему мужу, который ее бросил, и облегчением от того, что наконец-то вырвалась

из рук человека, которого ненавидела всеми фибрами души.

Гилл каждый день ходил в группу анонимных алкоголиков — семьдесят занятий за семьдесят дней, — но, с тех пор как он бросил пить, его семейные трудности скорее выросли, чем уменьшились. И это не было неожиданностью для Джулиуса: он знал, что как только один из супругов делает успехи, относительное равновесие супружеских отношений нарушается и, если оба хотят сохранить семью, второй супруг тоже должен пережить изменения. Гилл и Роуз начали ходить к семейному психотерапевту, но Гилл был убежден, что Роуз никогда не изменится. Однако теперь его уже не пугала возможность развода: он впервые по достоинству оценил одну из любимых поговорок Джулиуса: *Хочешь сохранить семью — готовься к разводу*.

Тони делал поразительные успехи — как будто внутренние силы Джулиуса капля за каплей перетекали к нему. С подачи Пэм и при дружном одобрении группы он решил, что пора покончить с жалобами на собственное невежество и начать, наконец, что-то с этим делать, — и записался сразу на три курса в местном вечернем колледже.

Но какими бы волнующими и приятными ни были эти перемены, внимание Джулиуса по-прежнему было приковано к Филипу и Пэм. Почему их отношения так беспокоили его, было для него загадкой, но он был убежден, что за этим скрывается что-то важное. Иногда, размышляя о них, он вспоминал фразу из Талмуда: «Спасти одного человека значит спасти целый мир». Постепенно желание спасти их отношения начало вытеснять все остальное, сделалось его *идеей фикс*. Ему казалось, он должен во что бы то ни стало извлечь этих людей из-под искореженных обломков столкновения, случившегося много лет назад. Как-то, размышляя над этой цитатой из Талмуда, он неожиданно вспомнил Карлоса. Карлос был его пациентом несколько лет назад — нет, должно быть, гораздо раньше, не меньше десяти лет назад, потому что он помнил, как рассказывал про него Мириам. Это был откровенно неприятный молодой человек — грубый, бестолковый, самовлюбленный тип, к тому же волочившийся за каждой юбкой. Он попал к Джулиусу после того, как у него обнаружили злокачественную лимфому. Джулиус помог Карлосу серьезно измениться, особенно в том, что касалось его отношения к людям, и это позволило Карлосу уже задним числом наполнить собственную жизнь смыслом: за несколько часов до смерти он прошептал Джулиусу: «Спасибо за то, что ты спас мою жизнь». Джулиус нередко вспоминал эту историю, но теперь она приобрела для него совершенно новый смысл, неизмеримо важнее — и не только в том, что касалось Филипа и Пэм, но и его

собственной жизни.

Филип во многом изменился — стал открытее, общительнее, даже время от времени смотрел в глаза другим — всем, кроме Пэм. Когда прошли условленные полгода, он даже не заикнулся о том, чтобы бросить группу, и лишь когда Джулиус сам спросил, Филип ответил:

— Видишь ли, групповая терапия оказалась более сложным явлением, чем я думал. Меня бы, конечно, устроило, если бы ты начал супервизию и одновременно позволил мне ходить в группу, но ведь ты против «двойных отношений», так что я остаюсь в группе до конца года, а супервизию мы начнем после.

— Отличное решение, — согласился Джулиус. — Только, увы, это не зависит от меня: у меня есть только год. У нас остается четыре месяца, так что пока время есть, а там посмотрим.

То, что Филип изменил свое решение и продолжил посещать группу, не удивило Джулиуса: люди часто приходят в группу, имея в виду какое-нибудь одно четкое желание, например, улучшить сон, отделаться от кошмаров или преодолеть какую-нибудь фобию, а потом, через несколько месяцев, начинают формулировать свои задачи несколько иначе и уже нацеливаются на что-нибудь посерьезнее, вроде того, чтобы научиться любить, обрести интерес к жизни, справиться с одиночеством или повысить самооценку.

Время от времени группа осаждала Филипа вопросами, как Шопенгауэр смог помочь ему там, где сам Джулиус оказался бессилён. Поскольку разговоры о Шопенгауэре каждый раз упирались в какие-нибудь философские тонкости, Филип однажды предложил выступить с получасовой лекцией на эту тему. Группа застонала, и Джулиус попросил его ограничиться самым необходимым, не вдаваясь в подробности.

На следующем занятии Филип приступил к своей краткой лекции, которая, как он обещал, лаконично ответит на вопрос, как именно Шопенгауэр ему помог.

Держа конспект в руке, но так ни разу и не глянув в него, он завел глаза к потолку и начал:

— Невозможно говорить о Шопенгауэре, не коснувшись вначале Канта, которого, наравне с Платоном, он почитал превыше всех остальных. Кант, скончавшийся в 1804 году, когда Шопенгауэру было шестнадцать лет, совершил революционный переворот в философии, открыв, что человек не способен сколько-нибудь достоверно воспринимать реальность. Кант рассуждал следующим образом: поскольку ощущения, поступающие к нам от органов чувств, обрабатываются нашим врожденным

нейроанатомическим аппаратом и вся информация осмысливается в таких случайных категориях, как пространство и время, то...

— Филип, может, ближе к теме? — перебил его Тони. — Как этот умник тебе помог?

— Подожди, я как раз к этому веду. Я говорил всего три минуты. Это тебе не вечерние новости, я не могу объяснить тебе концепцию одного из величайших мыслителей в пятисекундном ролике.

— Молодец, Филип. Так ему и надо, — откликнулась Ребекка.

Тони улыбнулся и замолчал.

— Так вот, Кант сделал следующий вывод: вместо того чтобы ощущать мир таким, каков он есть на самом деле, мы ощущаем свою собственную, персонализированную и обработанную версию того, что существует вовне. Такие категории, как пространство, время, количество, причинность, находятся *внутри*, а не вне нас — мы сами накладываем их на реальность. Но что же тогда есть чистая, необработанная реальность? Что же в действительности находится там, что это — эта реальная сущность до того, как мы подвергаем ее обработке? *Это*, по мнению Канта, навсегда останется для нас загадкой.

— Шопенгауэр — как он помог тебе? Мы хотя бы приближаемся к этому? — напомнил Тони.

— Прибудем через полторы минуты. В своих последующих работах Кант и другие философы сосредоточились на том, чтобы изучить способы, с помощью которых мы воспринимаем реальность. Но Шопенгауэр — внимание, мы уже у цели, — пошел другим путем. Он рассудил, что Кант проглядел главный и самый непосредственный вид информации о нас самих: наше собственное тело и наши чувства. Мы можем познать самих себя *изнутри*, утверждал он. Мы обладаем прямым, непосредственным знанием, не зависящим от наших ощущений. Таким образом, он стал первым из философов, кто взглянул на наши желания и чувства *изнутри*, и большая часть его работ посвящена именно внутренним потребностям человека: любви, сексу, смерти, мечтам, страданиям, религии, самоубийству, отношениям с другими людьми, тщеславию, самолюбию. Более других он обращал внимание на темные стороны человека — на те желания, которые сидят глубоко внутри нас и с которыми мы не можем смириться, а поэтому считаем нужным вытеснить из сознания.

— Звучит по-фрейдовски, — заметила Бонни.

— Как раз наоборот. Правильнее сказать, что Фрейд звучит по-шопенгауэровски: большую часть психологии Фрейда можно найти у Шопенгауэра. Хотя Фрейд и не любил в этом признаваться, он, без

сомнения, был прекрасно знаком с работами Шопенгауэра: в Вене 60-70-х годов девятнадцатого века, когда Фрейд еще учился в школе, имя Шопенгауэра было у всех на слуху. Лично я считаю, что без Шопенгауэра не было бы Фрейда — а если на то пошло, то и Ницше — в том виде, в каком мы их знаем теперь. Кстати, влияние Шопенгауэра на Фрейда — особенно в том, что касается теории сновидений, бессознательного и механизма вытеснения, — было темой моей докторской диссертации. Шопенгауэр, — заметив, что Тони уже собирается его перебить, поспешил добавить Филип, — избавил меня от сексуального расстройства, он помог мне понять, что секс — универсальный фактор, который определяет все наши поступки, проникает во все дела, влияет даже на состояния нашего сознания. Мне кажется, я уже цитировал некоторые его высказывания на этот счет.

— Могу добавить к тому, что ты сказал, — вмешался Тони. — Знаете, сколько денег крутится в порнографии? Больше, чем в музыке и кино, вместе взятых, я в газете прочел — неслабо, а?

— Филип, — сказала Ребекка, — в общем-то, почти все ясно, но ты так и не сказал, как именно Шопенгауэр помог тебе справиться с этой привычкой... или... *болезнью* - ничего, что я так называю?

— Я бы так не сказал. Мне кажется, это не совсем верно, — ответил Филип.

— Но почему? — спросила Ребекка. — По-моему то, что ты сказал, очень похоже на болезнь.

— Если продолжить то, что сказал Тони, — знаешь, сколько мужчин, по статистике, посещает порносайты?

— А ты что, посещаешь порносайты? — спросила Ребекка.

— Я — нет, но раньше вполне мог бы — как и большинство мужчин.

— А что здесь такого? — встрял Тони. — Я сам там бываю парутройку раз в неделю. Если честно, я еще не встречал мужика, который бы этого не делал.

— Я не исключение, — признался Гилл. — Еще одна болячка Роуз.

Все головы повернулись к Стюарту.

— Да, да, *mea culpa* — грешным делом позволяю себе иногда.

— Вот это я и имел в виду, — сказал Филип. — Выходит, все кругом больные?

— Хорошо, — ответила Ребекка, — согласна. Но разве вопрос только в порно? А иски о сексуальных домогательствах? Это же просто эпидемия какая-то. В моей практике уже куча таких случаев. Слышали, недавно из-за этого сняли одного декана юридического факультета? А дело Клинтона?

Как на него напали. И добро были бы ангелы, а то у самих рыльце в пуху.

— Да, постель — дело темное, — заметил Тони. — Хотя, если посмотреть, мужик — он и есть мужик. Вот хотя бы я — получил срок, а за что? За то, что, видите ли, заставлял Лиззи взять у меня в рот. Да я знаю сотню парней, которые делали кое-что и похуже, — и ничего. Возьмите Шварценеггера.

— Тони, такими репликами ты вряд ли заслужишь симпатии присутствующих дам. По крайней мере, одной из них — точно, — заметила Ребекка. — Но мы ушли от темы. Филип, давай дальше, а то мы никогда не доберемся до главного.

— Прежде всего, — с готовностью продолжил Филип, — Шопенгауэр не стал цокать языком и сокрушаться, как недостойно ведут себя мужчины. Вместо этого уже двести лет назад он понял, что в основе нашего поведения лежит непреодолимая и могущественная сила полового влечения. Это основная движущая сила человечества — желание жить, производить потомство, — и ее невозможно остановить. Никакими доводами разума невозможно избавиться от нее. Я уже приводил его слова о том, что любовь можно найти повсюду. Вспомните недавний скандал с католическими священниками, взгляните на любое человеческое усилие, любую профессию, любую культуру, любой возраст. Именно эта идея сильнее всего поразила меня, когда я впервые столкнулся с Шопенгауэром: передо мной был один из величайших умов человечества, и в первый раз за свою жизнь я почувствовал себя понятым.

— Ну и? — спросила Пэм, до сих пор хранившая молчание.

— И — что? — ответил Филип, заметно нервничая, как всегда, когда к нему обращалась Пэм.

— Ну и — что же? Это что, все? И это решило дело? Тебе стало лучше, оттого что Шопенгауэр тебя понял?

Казалось, Филип не заметил иронии в ее голосе, потому что спокойно и искренне произнес:

— Нет, здесь было нечто большее. Шопенгауэр заставил меня понять, что каждый из нас обречен бесконечно вращаться на колесе желаний: сначала мы хотим, потом удовлетворяем свое желание, некоторое время испытываем удовлетворение, которое очень быстро перерастает в скуку, а та, в свою очередь, снова сменяется следующим «хочу» — и так без конца, до тех пор, пока мы потворствуем своим желаниям. Единственный выход — соскочить с колеса. Именно так поступил Шопенгауэр, то же самое сделал я.

— Соскочить с колеса? Но что это значит? — спросила Пэм.

— Это значит совершенно отказаться от желаний ^[131]. Осознать, что в глубине нас живет неутолимая сила, что мы с самого начала запрограммированы и осуждены на страдания нашей собственной природой. Это значит, что мы прежде всего должны осознать ничтожность этого мира иллюзий, а затем найти способ отказаться от своих желаний. Мы должны стремиться, как это делали все великие мудрецы, жить в чистом мире платонических идей. Некоторые достигают этого через искусство, другие через религиозный аскетизм. Шопенгауэр добился этого, отделившись от мира желаний, через слияние с великими умами человечества и через эстетические увлечения: каждый день он пару часов играл на флейте. Это значит, что человек должен не только действовать, но и созерцать. Он должен ощущать ту жизненную силу, которая существует повсюду и проявляет себя в каждом, живом существе, он должен понимать, что природа, в конце концов, востребует эту силу назад, и тогда человек прекратит свое существование как физический организм. С тех пор я четко следую этой схеме — я стараюсь общаться только с великими мыслителями, которых читаю ежедневно, я не забиваю свое сознание повседневностью, я упражняю свой мозг, играя в шахматы или слушая музыку — в отличие от Шопенгауэра, у меня нет способности играть на инструменте.

Джулиус жадно прислушивался к этому диалогу. Неужели Филип не замечает раздражения Пэм? Или он боится ее? Так вот как он избавился от своей болезни. Иногда Джулиус молча удивлялся, слушая Филипа, но чаще тайком снисходительно усмехался. А чего стоило его замечание — что только с Шопенгауэром он *в первый раз* почувствовал себя понятым. Да, это была пощечина. Кто я после этого, размышлял Джулиус. *Ноль без палочки. Три года я рвал задницу из-за этого типа. Старался ему помочь.* Но вслух он не сказал ни слова: Филип постепенно менялся, к тому же иногда лучше оставить все как есть, чтобы вернуться в более подходящее время.

Через пару недель группа сама подняла эти темы: занятие началось с того, что Ребекка и Бонни в один голос заявили, что Пэм изменилась — и изменилась к худшему, — с тех пор как Филип пришел в группу. Все, что было в ней милого, доброго, очаровательного, исчезло без следа, и, хотя злость уже не кипела в ней, как раньше, при первой встрече с Филипом, все же, как заметила Бонни, эта злоба никуда не делась и лишь застыла, превратившись в какую-то холодную мрачную глыбу, которая упорно не желала таять.

— Филип меняется на наших глазах, — сказала Ребекка, — но ты... Ты встала в позу, и ни в какую — совсем как с Джоном и Эрлом. Ты что, вечно собираешься злиться?

Остальные прибавили, что Филип был вежлив, отвечал на все ее вопросы — даже самые язвительные.

— Будь вежлив, — заметила Пэм, — и ты сможешь управлять людьми. Согрей воск в руках — и можешь лепить из него все, что хочешь.

— Что-что? — переспросил Стюарт. Остальные удивленно уставились на Пэм.

— Я всего лишь процитировала учителя Филипа. Это один из излюбленных советов Шопенгауэра — и то, что я думаю о вежливости Филипа. Я вам никогда не говорила, но когда я поступала в аспирантуру, сначала думала заняться Шопенгауэром. Потом, когда я прочитала его книги и узнала про него самого, я так возненавидела этого человека, что тут же забросила эту идею.

— По-твоему, Филип похож на Шопенгауэра? — спросила Бонни.

— *Похож?* Филип и есть Шопенгауэр. Это близнецы-братья. Он живое воплощение этого ничтожества. Я могу такое рассказать вам о нем самом и о его философии, что у вас кровь застынет в жилах. Да если хотите знать, Филип манипулирует людьми, а не общается с ними. И знаете что? Меня передергивает от одной мысли, что он когда-нибудь начнет внушать людям человеконенавистническую доктрину Шопенгауэра.

— Да ты давно видела его? — спросил Стюарт. — Пэм. Он уже давно не тот, что был пятнадцать лет назад. Ты все еще не можешь забыть тот случай, он мешает тебе увидеть истину. Ты просто не можешь простить.

— «Тот случай»? Ты говоришь об этом так, будто дело выеденного яйца не стоит. Это больше чем просто «случай». А что касается прощения, то тебе не кажется, что есть вещи, которые нельзя простить?

— То, что ты сама не можешь что-то простить, еще не значит, что есть вещи, которые нельзя простить, — с неожиданным волнением в голосе произнес Филип. — Много лет назад мы с тобой вступили в контакт: мы оба испытывали возбуждение и сняли его. Я выполнил свою часть — сделал все, чтобы ты получила удовольствие, и проследил, чтобы с моей стороны не осталось никаких обязательств. Если честно, я получил нечто — и ты получила нечто. Я получил удовольствие и разрядку — ты тоже. Я абсолютно ничего тебе не должен. Я четко и недвусмысленно заявил тебе после этого, что мне было приятно провести с тобой этот вечер, но я не имею намерений продолжать наши отношения. Что еще я должен был сказать?

— Я не говорю про «сказать», — резко откликнулась Пэм. — Я говорю про «понять» — про любовь, *caritas*, заботу о людях.

— Ты хочешь, чтобы я глядел на мир твоими глазами и относился к жизни так же, как ты?

— Я только хочу, чтобы ты поделил со мной мою боль, чтобы ты страдал так же, как страдаю я.

— В таком случае у меня для тебя хорошие новости. Тебя наверняка порадует, что после того случая твоя подружка Молли написала открытое письмо в деканат, в котором опорочила меня перед всем факультетом, а заодно и перед ректором, проректором и ученым советом. И хотя я с блеском защитил докторскую и имел отличные отзывы от студентов — кстати, и твой в том числе, — ни один из преподавателей не захотел подписать письмо в мою защиту или хоть как-то помочь мне найти работу. Так что я так и не смог прилично устроиться и несколько лет скитался по всей стране, перебиваясь лекциями в захудалых городишках.

Стаюрт, очевидно, работая над своим сочувствием, воскликнул:

— Да, содрали с тебя три шкуры.

Филип удивленно вскинул на него глаза и кивнул:

— Я сам содрал с себя гораздо больше.

Он изнеможенно откинулся в кресле. Через некоторое время все взгляды повернулись к Пэм, которая, очевидно не удовлетворенная ответом Филипа, воскликнула, обращаясь к группе:

— Да как вы не понимаете! Я говорю не о единичном преступлении. Я говорю о самом способе существования. Вы слышали, как он отозвался о наших отношениях? Как об обязательствах в каком-то контракте. А как вам понравилось, что после трех лет с Джулиусом его в первый раз «поняли», когда он открыл Шопенгауэра? Вы же знаете Джулиуса. Разве вы поверите, что за три года он не смог бы понять Филипа? — Все молчали. Немного подумав, Пэм повернулась к Филипу: — Хочешь знать, почему Джулиус тебя не понял, а Шопенгауэр понял? Я скажу тебе. Потому что Шопенгауэр мертв, мертв уже сто пятьдесят лет, а Джулиус жив. А ты не умеешь общаться с живыми людьми.

По лицу Филипа было видно, что он не собирается отвечать, поэтому Ребекка поспешила заметить:

— Это жестоко, Пэм. Когда ты наконец успокоишься?

— Пойми же, Филип вовсе не злой и не плохой, — добавила Бонни. — Он просто несчастный. Разве ты не видишь разницы?

Покачав головой, Пэм ответила:

— Все, на сегодня с меня хватит.

В комнате повисла ощутимо неловкая тишина. Наконец, Тони, который все это время сидел непривычно тихо, заметил:

— Филип, я не собираюсь расхлебывать эту кашу, мне интересно другое — что ты чувствовал, когда Джулиус рассказывал свою историю?

Казалось, Филипу полегчало от возможности переменить тему.

— А что я, по-твоему, *должен был* чувствовать?

— Я не знаю, что ты *должен был*, - я спрашиваю, что ты реально чувствовал? Я вот к чему — когда ты только начал ходить к Джулиусу, могло тебе показаться, что он лучше понимает тебя, если бы он признался, что у него тоже были похожие проблемы — такие же навязчивые желания, как и у тебя?

Филип кивнул:

— Любопытный вопрос. Да, возможно. Когда я читал Шопенгауэра, я заметил, что его сексуальные переживания во многом напоминали мои — он, как и я, страдал от навязчивых желаний. Может быть, поэтому мне и показалось, что он меня понимает. Но мне хотелось сказать другое. Я кое-что пропустил, когда рассказывал вам про свои занятия с Джулиусом, и теперь хочу исправить эту ошибку. Когда мы встречались с Джулиусом, я сказал ему, что его лечение мне не помогло, и он задал мне тот же самый вопрос: почему я прошу его стать моим супервизором? Тогда, размышляя над этим, я вспомнил два случая, которые странно запали мне в душу и, как выяснилось позже, сильно повлияли на меня.

— Какие именно? — спросил Тони.

— Первый произошел, когда я описывал Джулиусу свой обычный вечер: как я выхожу на поиски, снимаю девицу, приглашаю на ужин, соблазняю и так далее — и потом я спросил его, что он чувствует — удивление или отвращение? И он ответил, что ни то ни другое — это просто кажется ему крайне скучным. Этот ответ меня потряс. Он заставил меня понять, какую мелкую и ничтожную жизнь я веду.

— А второй? — спросил Тони.

— Однажды Джулиус спросил меня, какую эпитафию я хотел бы заказать. Я не нашелся что ответить, и он предложил мне написать «Он много трахался», и добавил, что мы с моей собакой вполне могли бы использовать одну плиту на двоих.

Кое-кто присвистнул, остальные заулыбались. Бонни сказала:

— Фу, как грубо, Джулиус.

— Напротив, — возразил Филип. — Он вовсе не хотел меня обидеть — он хотел как следует встряхнуть меня, пробудить ото сна. И это действительно сработало. Мне кажется, это заставило меня изменить мою

жизнь. Правда, теперь я думаю, что тогда я хотел забыть про эти случаи, — наверное, не хотел признаваться, что Джулиус все-таки мне помог.

— А знаешь почему? — спросил Тони.

— Я думаю об этом. Может быть, я не хотел ему уступать: мне казалось, если он победит — я проиграю. А может быть, я не хотел признаваться, что его метод действительно работает. Или я не хотел сближаться с ним, и она, — Филип кивнул в сторону Пэм, — права, и я действительно не умею общаться с живыми людьми.

— По крайней мере, не так легко, как хотелось бы, — отозвался Джулиус. — Но ты движешься к цели.

Так продолжалось еще несколько недель: живое участие, напряженная работа и, если не считать обеспокоенных расспросов про здоровье Джулиуса и непрекращающегося противостояния между Пэм и Филипом, группа пребывала в блаженном состоянии полного доверия, близости, оптимизма и почти невозмутимого спокойствия. Никто и не подозревал о приближении страшного удара.

Глава 35 Самотерапия

Когда на свет появляется такой человек, как я, от судьбы остается желать только одного — чтобы на протяжении всей своей жизни он мог как можно дольше оставаться самим собой и жить ради своих высоких дарований [\[132\]](#).

Автобиографическая повесть «О самом себе» — это прежде всего блестящее руководство по самотерапии, свод непреложных правил, приемов и средств, благодаря которым Шопенгауэр сумел выжить и сохранить присутствие духа. Правда, некоторые средства, вроде изобретенного для борьбы с тревогой, регулярно поднимавшейся в три часа ночи и утихавшей с первыми проблесками зари, оказались довольно слабыми и неэффективными, зато прочие стали настоящим оплотом психологической поддержки. Однако самым эффективным средством оказалась непреклонная вера Шопенгауэра в собственный гений.

Уже в юности я замечал в себе, что, в то время как другие стремились к внешним приобретениям, меня это оставляло совершенно равнодушным: внутри себя я чувствовал сокровище, несравненно более ценное, чем любое внешнее приобретение; я чувствовал, что моя главная задача беречь и умножать мое сокровище, первостепенными условиями чего были интеллектуальное развитие и абсолютная независимость...

Вопреки своей природе и принятым человеческим правилам, я должен был отказаться тратить силы на собственное обогащение с единственной целью — употребить их на службу человечеству. Мой ум принадлежал не мне, но миру [\[133\]](#).

Бремя гениальности, будет признаваться он, доставляло ему еще больше хлопот и беспокойства, чем бремя генетической наследственности: известно, что тот, в ком живет гений, острее испытывает страдание и тревогу. Шопенгауэр даже станет утверждать, что существует прямая связь между беспокойством и уровнем умственного развития. Гений, скажет он, не только осознает свой долг перед человечеством, но и, признавая свою высокую миссию, добровольно отказывается от многих земных удовольствий, доступных простым смертным, — семьи, друзей,

дома, богатства.

Снова и снова он станет успокаивать себя верой в свою избранность, повторяя, как заклинание: «Моя жизнь — это жизнь подвижника, и ее нельзя оценивать по меркам обывателей, лавочников и прочих смертных... Следовательно, я не должен сокрушаться над тем, что я обделен обычными радостями простого человека... следовательно, меня не должна удивлять общая неуклюжесть моей жизни и отсутствие в ней всякого плана» [\[134\]](#). Вера в собственный гений наделит его непоколебимой уверенностью в высоком предназначении своей судьбы: до конца дней он будет считать себя миссионером, призванным нести сияющую истину заблудшему человечеству.

Одиночество станет главным испытанием его жизни, оно будет преследовать его по пятам, и с годами он приобретет огромный опыт в возведении оборонительных укреплений против него. Одним из самых спасительных способов станет убежденность в том, что он сам является хозяином своей судьбы: это он избрал одиночество, а не одиночество его. Он признается, что, будучи молодым человеком, одно время имел намерение стать открытым и общительным, но впоследствии «постепенно приобрел вкус к одиночеству, стал упорно сторониться общества и принял решение провести в своем собственном обществе остаток своих недолгих дней» [\[135\]](#). «Я, — постоянно напоминает он себе, — здесь ненадолго, и вокруг меня нет мне равных» [\[136\]](#).

В конце концов, его усилия по борьбе с одиночеством сделают свое дело: он станет добровольным отшельником, утвердится во мнении, что другие недостойны его общества, что его высокая миссия требует уединения, что жизнь гения должна быть «монодрамой», а его личная жизнь должна быть подчинена единственной цели: способствовать его интеллектуальному развитию — отсюда «чем несущественнее личная жизнь, тем спокойнее и, следовательно, лучше» [\[137\]](#).

Порой он все-таки будет стонать под грузом одиночества. «Всю свою жизнь я чувствовал себя безумно одиноким и всегда глубоко в душе вздыхал: «пошли мне хоть какое-то человеческое существо» [\[138\]](#), но, увы, все напрасно. Я так и остался один, но могу сказать со всей откровенностью, что в этом нет моей вины, так как я никогда не бежал и не отталкивал от себя никого, кто: был бы достоин звания человеческого существа».

Кроме того, скажет он, он никогда не был по-настоящему одинок, потому что — и это еще один волшебный ключик самотерапии — у него

был свой собственный круг близких друзей, состоявший из великих мыслителей человечества.

Только один из них, Гёте, был его современником; остальные принадлежали эпохе античности — в особенности он выделял стоиков, которых не уставал цитировать. Почти на каждой странице в «О самом себе» он приводит какое-нибудь изречение великих, подтверждающее правильность его собственных убеждений. Вот типичные примеры:

«Лучший спаситель души, кто оковы с груди угнетенной сразу сорвал и однажды навеки всю боль пережил» ^[139] (Овидий).

«Кто ищет мира и спокойствия, должен избегать женщин — главный источник страданий и раздоров» ^[140] (Петрарка).

«Невозможно не быть счастливейшим тому, кто всецело зависит от себя и все полагает в себе» ^[141] (Цицерон).

В современной психотерапии существует упражнение, которое называется «Кто я?»: каждый из участников берет семь листков бумаги, пишет на них семь ответов на вопрос «Кто я?» и складывает ответы в порядке значимости. После этого его просят брать по одному ответу, начиная с наименее важных, и критически оценивать то, чем для него является личность, которую он обозначил (разотождествить ее с собой), и так до тех пор, пока он не доберется до своего главного «я».

Точно так же поступал и Шопенгауэр: он постепенно избавлялся от негативных черт своего характера, пока не доходил до того, что считал в себе самым важным.

Когда порой я чувствовал себя несчастным, это случалось потому, что я принимал себя за кого-то другого, а не за того, кто я есть на самом деле, и оплакивал горе и несчастья того, другого человека. Так, к примеру, я одно время принимал себя за лектора, который никак не может стать профессором, потому что никто не хочет слушать его лекции; или за кого-то, о ком один ничтожный человек отзывался дурно, а другой распространяет небылицы; или за любовника, от которого отвернулась девица, в которую он страстно влюблен; или за больного, который по своей болезни вынужден сидеть взаперти в своих четырех стенах; или за какого-нибудь другого страдальца, пораженного подобными несчастьями. Но я не был ни одним из них — все они были подобны ткани, из которой сшито мое пальто: какое-то время я носил его, но очень скоро сменил на другое.

Но тогда *кто же я?* Я тот человек, который написал «Мир как воля и представление», книгу, в которой содержится решение важнейшей

проблемы существования, возможно, отменившее все предыдущие решения... Я есть этот человек, и что же может потревожить его в те недолгие дни, что отпущены ему судьбой? [\[142\]](#)

Еще одним приемом самоуспокоения станет для него убеждение, что рано или поздно — возможно; уже после его смерти — его труды приобретут известность и коренным образом изменят метод философского исследования. Впервые эта мысль посетит его в юности, и после уже никогда не оставит. В этом отношении он будет близок к Ницше и Кьеркегору, в равной степени независимым и недостаточно оцененным мыслителям, которые были абсолютно (и совершенно верно) убеждены в том, что им суждена посмертная слава.

Шопенгауэр будет с негодованием отвергать любые утешения, лежащие за пределами естественнонаучного мировоззрения. Так, он станет утверждать, что наши страдания происходят от того, что мы ошибочно считаем жизненные невзгоды случайностью и потому питаем себя надеждой, что их можно избежать. По его мнению, гораздо лучше смириться с истиной: боль и страдания — неизбежная и неотъемлемая часть жизни, «страдание как таковое присуще жизни, а от случая зависит только его форма, только вид, какой оно принимает; что, следовательно, каждое наше горе заполняет место, которое без него сейчас же заняла бы другая горесть, теперь устраняемая первым»¹.

Он станет убеждать нас жить и осознавать жизнь *сейчас*, а не жить «надеждой» на лучшее будущее. Два поколения спустя Ницше воспримет этот наказ: он станет рассматривать надежду как бич человечества и прикует к позорному столбу Платона, Сократа и поборников христианства за то, что они отвлекают наше внимание от той единственной жизни, которая у нас есть, призывая жить мечтами о призрачном будущем.

Глава 36

Где можно найти действительных моногамистов? Все мы живем, по крайней мере, в течение некоторого времени, по большей же части — всегда, в полигамии. Итак, если каждый мужчина пользуется многими женщинами, то нет ничего справедливее, как предоставить ему свободу и даже обязать его заботиться о многих женщинах. Благодаря этому и женщина возвратится в свое настоящее и естественное положение — подчиненного существа...
[\[143\]](#)

Пэм открыла следующее занятие:

— Я хочу сделать кое-какое признание. Все головы повернулись к ней.

— Время исповеди. Тони, давай.

Тони вздрогнул, выпрямился, пристально посмотрел на Пэм, затем откинулся в кресле, скрестил руки на груди и закрыл глаза. Если бы у него на голове была шляпа с полями, он наверняка надвинул бы ее на глаза.

Сообравив, что он не собирается говорить, Пэм продолжила ясным, уверенным голосом:

— У нас с Тони роман. Он длится уже некоторое время. Мне было трудно приходить сюда и не говорить об этом.

Наступило тягостное молчание, потом со всех сторон посыпались ошеломленные вопросы: «Как это так?», «Как это случилось?», «Сколько времени?», «Как вы могли?», «И что вы теперь думаете?»

Пэм холодно и с расстановкой ответила:

— Это продолжается несколько недель. Я не знаю, что будет дальше... это началось случайно, мы ни о чем таком не думали, все вышло само собой однажды после занятий.

— Тони, ты вообще собираешься сегодня подключаться? — осторожно спросила Ребекка.

Тони медленно открыл глаза.

— Для меня это новость.

— Новость? Ты хочешь сказать, что это неправда?

— Нет, я имею в виду время исповеди. Вот это «давай, Тони» для меня

новость.

— Похоже, ты этому не слишком рад, — заметил Стюарт.

Тони повернулся к Пэм:

— Послушай, я был у тебя вчера. И мы, кажется, общались — так это, кажется, называется. Правду говорят, что шлюхи — и те чувствительнее и в сто раз к тебе ближе, чем любовницы. Так вот, неужели так трудно было пообщаться со мной? Предупредить меня, что сегодня «время исповеди»?

— Извини, Тони, — сказала Пэм без малейшего сожаления, — я не подумала. Когда ты ушел, я не спала всю ночь — все думала о группе и поняла, что времени осталось слишком мало — всего шесть встреч, я правильно считаю, Джулиус?

— Правильно, шесть.

— Ну вот, я вдруг поняла, что предаю тебя, Джулиус. Предаю группу. И себя тоже.

— Я не совсем понимаю, что здесь происходит, — сказала Бонни, — но у меня такое чувство, что последние несколько занятий все шло наперекосяк. Ты стала другой, Пэм, — Ребекка уже несколько раз об этом говорила. Ты почти перестала говорить про себя — я даже не знаю, что сейчас у вас с Джоном и как дела у твоего бывшего — где он и что с ним? Ты только и делаешь, что воюешь с Филипом.

— И ты тоже, Тони, — добавил Гилл. — Теперь я начинаю замечать, что в последнее время ты тоже изменился. Ты все время куда-то прячешься. Я уже забыл прежнего весельчака Тони.

— У меня есть кое-какие соображения, — вмешался Джулиус. — Во-первых, что касается предательства, про которое сказала Пэм. Я знаю, это навязло в зубах, но я считаю нужным повторить — для тех из вас, кто собирается продолжать ходить в группу, — Джулиус бросил взгляд на Филипа, — или даже вести группу: единственная обязанность каждого из нас — делать все возможное, чтобы как можно лучше понять свои отношения в группе. Опасность любых посторонних отношений состоит в том, что они мешают психотерапии: Почему мешают? Потому что люди, вступающие в близкие отношения, обычно ценят свои отношения гораздо выше, чем работу в группе. Именно с этим мы и столкнулись сейчас: мало того, что Пэм и Тони скрыли от нас свои отношения — это понятно, — но, как результат, они отстранились от работы в группе.

— До сегодняшнего дня, — поправила его Пэм.

— Совершенно верно, до сегодняшнего дня. И я рад, что вы это сделали, рад, что вы все-таки решили вынести это на группу. Вы отлично знаете, какой вопрос я хочу задать вам обоим — тебе и Тони: почему

именно сейчас? Вы знакомы года два с половиной. И все же именно *сейчас* все изменилось. Почему? Что случилось несколько недель назад? Что подтолкнуло вас стать ближе друг к другу?

Пэм повернулась к Тони и подняла бровь, давая знак начать. Он повиновался:

— Мужчины вперед? Опять моя очередь? Нет проблем. Кто-кто, а я-то хорошо знаю, что изменилось: Пэм поманила меня пальчиком и сказала «можно». У меня стоял с тех самых пор, как мы познакомились, и, если бы она сделала это пальчиком полгода или два года назад, все случилось бы гораздо раньше. Так что можете называть меня мистер Всегда-Готов.

— Браво. Наконец-то я узнаю Тони, — сказал Гилл. — Добро пожаловать домой, старик.

— Теперь понятно, почему ты вел себя так странно, Тони, — сказала Ребекка. — Только-только у тебя начало наклеиваться что-то с Пэм, и ты боялся все испортить. Вот почему ты прятался. Переживал, как бы твои темные пятна не всплыли наружу.

— Пятна пещерного человека, хочешь сказать? — спросил Тони. — Может, да, а может, и нет — не все так просто.

— То есть? — спросила Ребекка.

— То есть мои темные пятна, может быть, возбуждают Пэм. Но я не хочу об этом распространяться.

— Почему?

— Да хватит, Ребекка, неужели не ясно? Что ты пристала? Если я буду продолжать в таком духе, я могу спокойно распрощаться с Пэм.

— Уверен? — не унималась Ребекка.

— А ты как думала? Понятно, почему она все это затеяла. Потому что все кончено — она сама уже все решила. Да, что-то жарковато здесь. Пахнет паленым.

Джулиус повторил свой вопрос Пэм. В нехарактерном смущении она ответила:

— Сложно сказать. Нужно, чтобы прошло время. Знаю только, что мы оба не думали об этом — это произошло само собой, случайно. Мы пили кофе после занятий — вдвоем, потому что вы все разошлись. Тони предложил где-нибудь перекусить — мы часто ужинали вместе, но в этот раз я пригласила его к себе — у меня был суп. Он пришел, а дальше — пошло-поехало... Почему именно в этот день, а не раньше? Не знаю. Мы часто бывали- вместе: я говорила ему про литературу, давала книги, уговаривала продолжить учебу, а он меня учил столярному делу и даже однажды помог соорудить подставку под телевизор — маленький такой

столик, да вы сами знаете. Почему дошло до постели именно в тот вечер? Не знаю.

— Что ты сейчас чувствуешь, Пэм? Я ведь знаю, нелегко говорить об интимных подробностях в присутствии любовника, — сказал Джулиус.

— Я настроилась.

— Хорошо, тогда такой вопрос: давай прокрутим назад — что именно больше всего волновало тебя в тот момент, когда все началось?

— С тех пор как я вернулась из Индии, меня волновали две вещи. Первое — твоя болезнь. Знаешь, я как-то натолкнулась на статью, в которой один псих доказывал, что люди спариваются из-за того, что подсознательно надеются зачать нового вождя, — полная чушь, конечно. Не знаю, Джулиус, как твоя болезнь могла повлиять на мою связь с Тони — может, я боялась, что группа распадется, и это подсознательно заставило меня искать каких-то более прочных отношений; может, я надеялась, что каким-то чудом это сохранит группу. Это просто догадки.

— Группы как люди, — заметил Джулиус, — они не хотят умирать. Возможно, твоя связь с Тони *действительно* была скрытой попыткой удержать ее от распада. Все группы хотят сохранить свои отношения, время от времени встречаться — правда, это редко удается в жизни. Я уже не раз говорил, что группа — это еще не жизнь: группа — это *генеральная репетиция жизни*, и каждый из нас должен найти способ перенести то, чему он здесь научился, в свою реальную жизнь. Все, лекция окончена. Пэм, ты сказала, что тебя волновали две вещи: одна — это мое здоровье, а другая...

— Другая — Филип. Я постоянно о нем думаю. Меня тошнит от того, что он здесь. Ты сказал, что однажды он может стать для меня огромным плюсом, и я верю тебе, но пока что он был и остается огромным минусом — может быть, только с одним исключением: я так его ненавижу, что даже забыла про Эрла и Джона — по-моему, навсегда.

— Итак, — настаивал Джулиус, — Филип очень тебя волнует. Как ты думаешь, не мог ли он каким-то образом подтолкнуть тебя к Тони?

— Все возможно.

— Догадки?

Пэм покачала головой:

— Абсолютно никаких. Может быть, просто желание переспать: у меня уже несколько месяцев не было мужчин, а я к этому не привыкла. Наверное, дело в этом.

— Мнения? — Джулиус обвел глазами присутствующих.

Стюарт живо вскинул голову, и его острые, пронизательные глазки

блеснули:

— Между Филипом и Пэм не просто конфликт — они соперничают. Может быть, я преувеличиваю, но моя версия такова: Пэм всегда была лидером группы, всегда в центре внимания — еще бы. Преподавательница. Эрудитка. Шеф Тони. Что происходит потом? Что мы видим? Она уезжает на несколько недель, а когда возвращается, находит Филипа, который преспокойненько занимает ее место. Вот тут-то она и вышла из себя. — Стюарт повернулся к Пэм. — И к твоим давним обидам прибавились новые.

— И какое отношение это имеет к Тони? — спросил Джулиус.

— Может быть, таким образом она хотела показать себя. Если мне не изменяет память, Джулиус, они оба — и Пэм, и Филип — пытались тебе помочь, так? Филип принес историю про корабль, и, помнится, Тони ее горячо обсуждал. — Он повернулся к Пэм. — Вот тогда-то ты и почувствовала опасность. Тебе показалось, что ты теряешь свою власть над Тони.

— Спасибо, Стюарт, очень ценное замечание, — ответила Пэм. — По-твоему, чтобы конкурировать с этим зомби, я должна перетрахаться со всей группой. Так ты представляешь себе женскую логику?

— А вот это запрещенный прием, — откликнулся Гилл. — «Зомби» — это удар ниже пояса. Филип хотя бы держит язык за зубами и не срывается на людей. А ты, Пэм, — ты ядовитая штучка. Может, хватит метать икру?

— Это серьезный выпад, Гилл. Что происходит? — спросил Джулиус.

— Когда Пэм в таком состоянии, она напоминает мне мою жену, а я не собираюсь больше терпеть злобные выходки — от них обеих.

Немного погодя Гилл добавил:

— И еще меня бесит, что для Пэм я ноль, пустое место. — Он повернулся к ней. — Я скажу тебе наконец всю правду: я уже высказывал тебе все, что думаю — что ты генеральный прокурор и все такое, — так нет же. Как об стенку горох. Гилла нет. Гилл пустое место. Ты замечаешь только Филипа... и Тони. А ведь я говорю дельные вещи. Кстати, еще одно: я, кажется, догадываюсь, почему соскочил твой Джон: *не из-за своей трусости, а из-за твоей злости.*

Пэм, глубоко задумавшись, молчала.

— Так, было высказано много важных мыслей. Давайте разберемся и постараемся понять. Предложения? — спросил Джулиус.

— Пэм ведет себя очень смело, — сказала Бонни. — Могу представить, каково ей сейчас. И Гилл тоже молодец — не дает ей спуска. Ты очень изменился, Гилл, — к лучшему. Но иногда мне хочется, чтобы

Филип сам себя защищал. Не понимаю, почему он этого не делает? — Она повернулась к Филипу: — Почему ты молчишь?

Филип покачал головой и не произнес ни слова.

— Если он не хочет говорить, я могу ответить за него, — сказала Пэм. — Видите ли, сейчас он следует инструкциям Артура Шопенгауэра. — Она вынула какую-то бумажку из сумочки, бегло проглядела и прочитала вслух:

- *Говори хладнокровно.*
- *Обдумывай каждый поступок.*
- *Будь независим.*
- *Представляй себе, что ты живешь в городе, где только у тебя одного есть часы, которые отсчитывают время: это сослужит тебе добрую службу.*

- *Не уважать — верный путь заслужить уважение.*

Филип кивнул:

— Я одобряю твой выбор. По-моему, прекрасные советы.

— Что здесь происходит? — спросил Стюарт.

— Мы немного Пробежались по Шопенгауэру, — ответила Пэм, показывая свои записи.

Наступило молчание, после чего Ребекка попыталась вывести разговор из тупика:

— Ау. Тони, где ты? Что с тобой сегодня?

— Мне трудно говорить, — качая головой, ответил Тони. — Я сам не свой.

К всеобщему удивлению, Филип внезапно отреагировал на это:

— Я знаю, что тебе мешает, Тони. Джулиус уже сказал — ты мечешься между двумя огнями: с одной стороны, ты хотел бы работать в группе и свободно общаться, а с другой — ты пытаешься сохранить верность Пэм.

— Да я все понимаю, — вздохнул Тони. — Только понимать мало. Ну все равно, спасибо. А то, что ты сказал — поддержал Джулиуса, — это очко в твою пользу. Ты в первый раз не воевал с ним — это достижение, старик.

— Так, говоришь, понимать мало? Что же еще нужно? — спросил Филип.

Тони покачал головой:

— Сегодня не готов.

— Я знаю, что может нам помочь, — сказал Джулиус, поворачиваясь к Тони. — Вы с Пэм сегодня избегаете друг друга, ничего друг другу не говорите — наверное, бережете объяснения на потом. Я знаю, это неприятно, но, может быть, попытаетесь начать прямо сейчас? Попробуйте обратиться друг к другу.

Тони глубоко вздохнул и повернулся к Пэм:

— Это чертовщина какая-то. Что за детские игры. Никак не пойму. Неужели так трудно было позвонить мне, переговорить со мной, поставить меня в известность?

— Прости, но ведь мы оба знали, что это рано или поздно должно произойти. Мы же говорили об этом.

— И все? Это все, что ты хочешь мне сказать? А как насчет сегодняшнего вечера? Мы еще вместе или как?

— Мне будет неудобно встречаться с тобой, Тони. По правилам, мы обязаны обсуждать свои отношения в группе, а я не хочу нарушать свои обязательства. Мы не можем продолжать — может быть, как-нибудь потом, после закрытия группы...

— Ты ловко разделяешься со своими обязательствами, — с неожиданным раздражением произнес Филип. — Нужно — соблюдаешь, не нужно — забываешь. Когда же я говорю про свои обязательства, ты готова вцепиться мне в горло. Но ведь ты сама нарушаешь правила, ведешь двойную игру, играешь с Тони, как с мальчишкой.

— Кто ты такой, чтобы рассуждать про обязательства? — вскинулась Пэм. — Может, вспомним про обязательства между учеником и учителем?

Филип взглянул на часы, поднялся и объявил:

— Шесть часов. Свои обязательства я на сегодня выполнил. — И вышел из комнаты, бормоча: — С меня дерьма хватит.

Это был первый случай, когда кто-то, кроме Джулиуса, объявлял собрание закрытым.

Глава 37

Всякий влюбленный, достигнув, наконец, желанного блаженства, испытывает какое-то странное разочарование и поражается тем, что осуществление его заветной и страстной мечты совсем не дало ему большей радости, чем дало бы всякое другое удовлетворение полового инстинкта [\[144\]](#).

Но и выйдя на улицу, Филип не выкинул «дерьмо» из головы. В крайнем раздражении он брел по Филлмор-стрит. Куда девались его бесценные спасительные средства? Все, что так долго было оплотом невозмутимого спокойствия, внезапно пришло в движение: его самообладание, его выдержка, его космическое видение мира. Отчаянно пытаясь вернуть спокойствие, он убеждал себя: не борись, не сопротивляйся, освободи сознание, не делай ничего, просто следи за потоком мыслей, пусть он проплывет сквозь твоё сознание и уйдет прочь.

Но поток мыслей, входя в сознание, ни за что не желал выходить наружу. Напротив, мысли деловито располагались в его голове, распаковывали чемоданы, развешивали белье и вообще вели себя так, будто пришли поселиться навечно. Неожиданно он ясно увидел перед собой лицо Пэм. Вглядевшись в него, он, к своему удивлению, заметил, что лицо меняется на глазах, будто сбрасывая с себя год за годом: оно становилось все моложе и моложе, и вскоре перед ним уже была та самая Пэм, которую он знал много лет назад. Как странно узнавать молодое в старом. Обычно его сознание работало в обратном направлении: он привык различать будущее в настоящем, угадывать лысину под буйной шевелюрой молодости.

Как сияет ее лицо. Какое оно удивительно чистое. Из бесконечного множества женщин, чьими телами он обладал и чьи лица давно стерлись из памяти, слившись в общую серую массу, как могло оказаться, что лицо Пэм сохранилось до мельчайших подробностей?

Затем новые фрагменты воспоминаний сами собой всплыли в сознание: ее красота, ее сумасшедшее возбуждение, когда он связал ей руки, ее каскад оргазмов. Его собственные ощущения сохранились только смутной памятью тела — немой животный ритм, — и потом восторг наслаждения.

Он вспомнил, что после этого непривычно долго держал ее в объятиях. Вот почему он увидел в ней опасность и решил никогда больше с ней не встречаться: она была угрозой его независимости. А он хотел одного — вырваться, снять напряжение; это был единственный путь к блаженному покою и одиночеству. Он никогда не искал чувственных наслаждений, он хотел свободы, хотел скинуть с себя бремя желания, чтобы подняться как можно быстрее к безбрежной, заоблачной выси истинной мудрости. Только освободившись от напряжения, он мог размышлять о высоком вместе со своими учителями, великими мыслителями, чьи книги он читал как личные письма, адресованные ему одному.

Новые фантазии; страсть охватила его и безудержным порывом ветра завертела и понесла прочь — прочь с того гордого возвышения, на котором он так долго оставался в невозмутимом одиночестве. Он вновь желал, он страдал, он хотел. И больше всего он хотел держать лицо Пэм в ладонях. Мысли перепутались, и ему вдруг представился морской лев в окружении гарема самок; потом лающий кобель, что снова и снова бросается на железную ограду, отделяющую его от текущей сучки. Он почувствовал себя животным, пещерным человеком, который, размахивая дубинкой, злобно рычит, отгоняя прочь незваных соперников. Он хотел обладать ею, лизать ее, вдыхать ее запах. Он вспомнил мускулистые руки Тони, и ему показалось, что он видит, как тот по-щенячьи, захлебываясь, глотает свое варево и потом отшвыривает лапой пустую миску. Он представил, как Тони ложится на нее — ее ноги раздвинуты, руки обнимают его... Эта кошечка должна принадлежать ему, ему одному. Она не имеет права мараться, предлагая себя Тони. Все, что она делала с Тони, омрачало его воспоминания о ней, обкрадывало его. Его вдруг сильно замутило. Он был двуногим.

Филип повернул и побрел вдоль причала, потом через Крисси-Филд вышел к заливу и зашагал вдоль кромки воды, где тихий прибой и вечный соленый запах моря наконец успокоили его. Он поежился и застегнул куртку. В гаснущем свете дня порывы ледяного ветра, врываясь в устье залива, налетали на берег, сбивая с ног — точно так же часы его жизни будут вечно нестись мимо, не принося ни радости, ни тепла. Этот ветер был знаком грядущего холода, серых, безрадостных пробуждений без надежды когда-нибудь обрести дом, любовь, нежность, счастье. В его хрустальном замке поселился вселенский холод. Странно, что он никогда раньше этого не замечал. Он шагал, и в мозгу его вспышками проносились мысли о том, что его дом, его жизнь с самого начала были выстроены на хрупком и ненадежном фундаменте.

Глава 38

Мы должны быть снисходительны ко всякой человеческой глупости, промаху, пороку, принимая в соображение, что это есть именно наши собственные глупости, промахи и пороки [\[145\]](#).

На следующем занятии Филип ни словом не обмолвился ни об этих пугающих переживаниях, ни о том, почему так внезапно покинул занятие. Конечно, теперь он гораздо чаще общался с группой, но поскольку делал это всегда по настроению, группа со временем махнула рукой, решив, что пытаться вытянуть из Филипа лишнее словечко — только попусту терять время. А потому все переключились на Джулиуса: каждого интересовало, чувствует ли он себя ущемленным после того, как Филип завершил занятие.

— Как вам сказать. Я чувствую себя ни хорошо ни плохо, — ответил Джулиус. — Я даже прихожу к выводу, что на самом деле ничего страшного не произошло. Любой конец, любой уход со сцены всегда сопровождается потерей влияния и ослаблением роли лидера. Я неважно спал после того занятия. Хуже всего стало в три часа ночи: все мои беды разом навалились на меня, и я подумал, как много для меня кончается: группа, индивидуальные клиенты, мой последний хороший год. Это не очень приятная часть. А приятная в том, что я горжусь вами, друзья мои, включая и тебя, Филип. Горжусь тем, что вы становитесь самостоятельнее. Психотерапевты ведь как родители: хороший родитель делает все, чтобы его ребенок твердо стоял на ногах, чтобы однажды он смог распрощаться с родительским домом и начать собственную жизнь. Так и хороший психотерапевт: его задача — помочь пациенту однажды распрощаться с психотерапией.

— Во избежание недоразумений я хотел бы прояснить кое-какие детали, — заявил Филип. — Я не собирался никого ущемлять — я действовал исключительно в целях самозащиты: меня невыразимо раздражал разговор. Я заставил себя досидеть до конца, а потом вышел.

— Я понимаю тебя, Филип, — но я сейчас так одержим финалами вообще, что вижу их и в невинной ситуации. Но твои слова говорят о том, что ты заботаешься обо мне. И за это спасибо.

Филип едва заметно кивнул. Джулиус продолжил:

— Раздражение, о котором ты сказал, — это кажется мне очень важным. Как ты думаешь, стоит нам заняться этим сегодня? У нас осталось всего пять занятий, и я советую вам извлечь из них максимальную пользу.

Филип потряс головой в знак того, что пока не готов к обсуждению, но это вовсе не означало, что он обречен был молчать. На дальнейших встречах его неумолимо втянули в дискуссию.

На следующем занятии Пэм с порога объявила:

— Хочу покаяться. Я много думала о тебе, Гилл, и, мне кажется, я должна извиниться... нет, я *знаю*, что должна извиниться перед тобой.

— Слушаю тебя. — Гилл взглянул на нее с настороженным любопытством.

— Несколько месяцев назад я на тебя набросилась — сказала, что ты пустое место, тихоня, что у тебя нет собственного мнения и что меня бесит все, о чем ты говоришь, помнишь? Так вот, это было очень грубо с моей стороны...

— Конечно, грубо, — перебил ее Гилл, — но справедливо. Это оказалось отличным средством. Оно поставило меня на ноги — хотите верьте, хотите нет, но с того дня я не выпил ни капли.

— Спасибо, но я хотела извиниться совсем не за *то* — *это* произошло позже. Ты *изменился* - ты *работаешь*, и в последнее время ты был со мной откровеннее всех. А я была так занята собой и не хотела в этом признаться. Вот за что я хочу перед тобой извиниться.

Гилл принял это извинение.

— А как насчет того, что я тебе сказал — помогает?

— Еще бы. От «генерального прокурора» меня потом много дней трясло. Это был удар в самое сердце, он заставил меня задуматься. Но больше всего меня задело то, что ты сказал про Джона, — что он сбежал не из-за своей трусости, а из-за моей злости. *Вот* что пробрало меня до костей. Эти слова просто не шли у меня из головы. И знаешь что? Я поняла, что ты был абсолютно прав — Джон молодец, что сбежал от меня. Это не в *нем* было что-то не так, это во *мне* было что-то не так — он был сыт по горло моими фокусами. Так что на днях я позвонила ему и сказала все, что я об этом думаю.

— Ну и как он к этому отнесся?

— Прекрасно — после того, как встал с пола, конечно. Мы отлично поболтали: обменялись новостями, обсудили работу, студентов, поговорили о совместных лекциях. Это было здорово. Он сказал, что я сильно

изменилась.

— Отличная новость, Пэм, — сказал Джулиус. — Справиться со своей злостью — большая победа. Надо признать, ты крепко в ней увязла. Давай взглянем на этот процесс изнутри — так, на будущее, чтобы понять, как именно ты это сделала.

— Это случилось как-то само собой. По-моему, сработал твой любимый афоризм — *куй железо, когда остынет*. Мои чувства к Джону остыли, и я смогла спокойно взглянуть на себя и принять разумное решение.

— А как насчет Филипофобии? — спросила Ребекка.

— Я вижу, вы так до конца и не поняли, как чудовищно этот человек со мной поступил.

— Неправда. Я лично очень переживала за тебя. Когда ты про это рассказывала, я была просто в шоке. Но пятнадцать лет, Пэм. За пятнадцать лет что хочешь остынет. А что происходит с *этим* железом — почему до него до сих пор невозможно дотронуться?

— Я плохо спала ночью — все думала про историю с Филипом, и вдруг мне показалось, что я захожу в свой мозг, хватаю этот отвратительный клубок мыслей и изо всех сил швыряю его на землю. Дальше я увидела, как я наклоняюсь над осколками и вижу — его лицо, его жалкую квартирку, мою погибшую юность, мое разочарование в учебе, мою бывшую подружку Молли... и пока я смотрела на эти осколки, я поняла: то, что случилось, просто... просто непростительно.

— Я помню, как Филип сказал, что не прощающий и непростительный — две разные вещи, — заметил Стюарт. — Я правильно передаю, Филип?

Филип кивнул.

— Не понял, — встрял Тони.

— Непростительность, — сказал Филип, — снимает с человека ответственность, а не прощать — значит, наоборот, быть ответственным за то, что отказываешься простить.

Тони кивнул:

— То есть ты хочешь сказать, или сам отвечаешь за то, что сделал, или винишь в этом кого-то другого?

— Вот именно, — ответил Филип. — А, как однажды заметил Джулиус, психотерапия начинается там, где кончается вина и возникает ответственность.

— Ты снова цитируешь Джулиуса. Мне это нравится, — сказал Тони.

— Ты выразился даже лучше меня, Филип, — добавил Джулиус. — Я снова замечая, что ты движешься мне навстречу, это очень хорошо.

Филип едва заметно улыбнулся. Когда стало ясно, что он не собирается отвечать, Джулиус снова обратился к Пэм:

— Пэм, что ты чувствуешь?

— Если честно, меня убивает, как каждый из кожи вон лезет, чтобы отыскать перемены в Филипе. «Ах! Ох! Филип поковырял в носу, какой он молодец!» — просто смех. Филип исторгает очередную банальность — и все замирают от восхищения. — Копируя Филипа, она с нарочитой монотонностью произнесла: — *«Психотерапия начинается там, где кончается вина и возникает ответственность»*. - И потом уже громче: — А как насчет твоей ответственности, Филип? Или во всем виноваты клетки мозга? Ах да, они поменялись. Они все сделали за тебя. А ты, бедняжка, тут был ни при чем.

Наступило неловкое молчание, после чего Ребекка негромко заметила:

— Пэм, по-моему, ты *можешь* прощать. Ты уже простила кучу вещей. Ты даже простила мне мои выкрутасы в Лас-Вегасе.

— Там не было жертв, кроме тебя самой, — немедленно отозвалась Пэм.

— И мы все видели, — продолжила Ребекка, — как ты простила Джулиуса за его похождения. Ты простила его, даже не спросив — может, кто-то из его друзей оскорбился таким поведением.

Пэм смягчила тон:

— У него только что умерла жена, он был в отчаянии. Вообрази, что он должен был чувствовать. Он любил Мириам со школы. Неужели это так трудно понять?

Тут в разговор вмешалась Бонни:

— Пэм, ты простила Стюарта за его случай с сумасшедшей теткой и даже Гилла за его пьянство. Ты многое простила. Почему ты не можешь простить Филипа?

Пэм покачала головой:

— Одно дело простить чужую обиду, и совсем другое — когда ты пострадала сама.

Это заявление было выслушано с сочувствием, но атаки на Пэм не прекратились.

— Лично я, — сказала Ребекка, — простила тебя за то, что ты пыталась увести отца двоих детей.

— И я тоже, — добавил Гилл. — Когда-нибудь я даже прощу тебя за то, как ты поступила с Тони. А как насчет тебя, Пэм? Ты-то сама простила себя — за «исповедь» и за то, что смешала Тони с грязью у всех на глазах? Тебе не приходило в голову, что ты его унизила?

— Но ведь я уже извинилась. Да, я была виновата и поступила, не подумав.

Но это не удовлетворило Гилла:

— Это еще не все. Ты простила себя за то, что использовала Тони?

— Использовала Тони? — воскликнула Пэм. — Я использовала Тони? Что ты такое говоришь?

— По-моему, ты плевать хотела на ваши отношения. Ты просто использовала Тони, чтобы показать кому-то — может быть, даже Филипу — вот какая я.

— Ну да, конечно. Очень умно, Стюарт. Больше ничего не мог придумать? — резко бросила Пэм.

— «Использовала»? — вмешался в разговор Тони. — Ты считаешь, меня использовали? Нет, нет, не извиняйся — хотел бы я, чтобы меня каждый день так использовали.

— Тони, прекрати сейчас же! — воскликнула Ребекка. — Что за детские шуточки. Когда ты начнешь думать головой, а не головкой?

— Какой головкой?

— Головкой члена!

Увидев, что Тони расплылся в довольной ухмылке, Ребекка вспыхнула:

— Ах ты, негодяй. Ты ведь знал, что я имею в виду. Хотел, чтобы я обязательно сказала непристойность? Ну когда ты повзрослеешь, Тони? У нас осталось так мало времени. Скажешь, что тебя не задело то, что произошло с Пэм?

Улыбка исчезла с лица Тони.

— Да, братцы, сделали мне ручкой — и привет... Но я не теряю надежды.

— Тони! — воскликнула Ребекка. — Тебе нужно менять свое отношение к женщинам. Хватит быть мальчиком на побегушках — это же унижительно. Такое ощущение, будто тебе наплевать, как к тебе относятся, — лишь бы добиться своего. Ты же унижаешь себя — и их тоже.

— Я вовсе не считаю, что я использовала Тони, — сказала Пэм. — Это было взаимно. Если честно, я тогда ни о чем не думала — действовала на автопилоте.

— Да, как и я, однажды... на автопилоте, — негромко произнес Филип.

Пэм удивленно вздрогнула. Она несколько секунд смотрела на Филипа, затем опустила глаза.

— Хочу тебя спросить, — сказал Филип.

Пэм упорно смотрела в пол, поэтому он добавил:

— Спросить *тебя*, Пэм.

Пэм подняла голову и посмотрела на него. Остальные переглянулись.

— Двадцать минут назад ты сказала «разочарование в учебе», а несколько недель назад ты рассказывала, что, поступая в аспирантуру, хотела заниматься философией — даже изучать Шопенгауэра. Если так, я хочу спросить тебя: *таким ли уж плохим преподавателем я был?*

— *Я ни разу* не говорила, что ты был плохим преподавателем, — ответила Пэм. — Ты был одним из лучших преподавателей в моей жизни.

Филип изумленно уставился на нее.

— Что ты сейчас чувствуешь, Филип? — спросил Джулиус.

Когда Филип отказался отвечать, Джулиус сказал:

— Филип, ты помнишь слово в слово все, что сказала Пэм, — я думаю, она значит для тебя очень много.

Филип молчал.

Джулиус повернулся к Пэм:

— Я думаю о том, что ты сказала, Пэм. Филип был одним из лучших преподавателей в твоей жизни. Наверное, это только усилило твои страдания?

— Аминь. Спасибо, Джулиус, ты как всегда прав. Стюарт повторил за Пэм:

— *Один из лучших преподавателей в твоей жизни.* Боже мой, Пэм. Ты меня убиваешь. Говоришь... такой комплимент Филипу. Это огромный шаг вперед.

— Не стоит преувеличивать, — ответила Пэм. — Джулиус прав: достоинства Филипа делают его выходку еще отвратительнее.

Тони, которого не на шутку задело замечание Гилла о его отношениях с Пэм, на следующем занятии решил обратиться к ней напрямую:

— Я хочу сказать тебе, Пэм... все это как-то... в общем, дерьмово, что ты взяла и отшвырнула меня, как котенка. Пэм, я не сделал тебе ничего плохого. Ты и я, мы оба... мы вместе... хотели этого, а теперь выходит, что я для тебя персон нон грата...

— *Персона нон грата*, — негромко подсказал Филип.

— *Персона нон грата*, — продолжил Тони. — Как будто меня за что-то наказали. Мы больше не встречаемся... я скучаю по тебе. Сначала мы были друзьями, потом любовниками, а сейчас... я... черт, я в подвешенном состоянии... вот здесь какая-то пустота... ты все время избегаешь меня. И Гилл прав: оттолкнуть меня при всех было чертовски унижительно. Я остался ни с чем — мы больше не любовники и не друзья — никто.

— О, Тони. Прости меня, я виновата. Я совершила ошибку... я... мы... нам не нужно было этого делать. Мне самой гадко, поверь мне.

— Так, может, вернемся?

— К чему вернемся?

— Ну, станем друзьями, и все. Будем встречаться после занятий, как все, — и дружище Филип тоже будет заглядывать иногда. — Тони протянул руку и по-приятельски потрепал Филипа по плечу. — Будем болтать про группу, ты станешь рассказывать мне про книги и все в таком духе.

— Очень зрело, — ответила Пэм. — Правда, такого со мной еще не бывало — обычно я хлопаю дверью и ухожу.

Бонни высказала догадку:

— Интересно, Пэм, ты избегаешь Тони, потому что боишься, что он снова попытается затащить тебя в постель?

— Да, наверное. Я ведь знаю Тони — он не успокоится, пока не добьется своего.

— В таком случае, — заметил Гилл, — есть одно хорошее средство — «разрядка атмосферы»: просто скажи ему об этом. Неопределенность хуже всего. Пару недель назад ты сказала, что, может быть, вы снова будете встречаться, когда группа закроется, — это действительно так, или ты просто тянешь время и смягчаешь удар? Тогда это игра в одни ворота. Ты держишь Тони в подвешенном состоянии.

— Да, вот именно! — воскликнул Тони. — Когда ты сказала, что, может быть, мы снова будем встречаться, я на это понадеялся. С тех пор я только и делаю, что сижу, как паинька, и жду у моря погоды.

— И тем самым, — вставил Джулиус, — упускаешь редкую возможность поработать над собой, пока рядом группа и я.

— Знаешь, Тони, — сказала Ребекка, — постель еще не самая важная вещь в жизни, поверь мне.

— Да я знаю, знаю. Поэтому я сегодня и завелся. Не надо нотаций.

После непродолжительного молчания Джулиус сказал:

— Итак, Тони, продолжим. Тони повернулся к Пэм.

— Давай сделаем, как сказал Гилл, — разрядим атмосферу — взрослому. Чего ты хочешь?

— Я хочу вернуться к тому, что было. Я хочу, чтобы ты меня простил. Ты же отличный парень, Тони, и ты мне нравишься. Знаешь, как мои студенты это называют? «Крутой перепихон». Это похоже на нас с тобой — тогда это было здорово, но сейчас — сейчас группа для меня важнее. Давай лучше займемся своими проблемами.

— Нет вопросов. Всегда готов.

— Что ж, Тони, — сказал Джулиус, — теперь ты свободен, и ничто не мешает тебе рассказать то, о чем ты так долго молчал в последнее время, — о себе, о Пэм, о группе.

Все оставшееся время освобожденный Тони активно наверстывал упущенное. К нему вернулась его бывшая напористость, и первым делом он принялся наседать на Пэм, требуя от нее, чтобы она разобралась наконец в своих чувствах к Филипу. Когда чуда не произошло и ее неожиданная похвала Филипу так и повисла в воздухе, он начал приставать к ней с расспросами, почему, простив остальных, она не может так же поступить с Филипом.

— Я уже вам говорила, — ответила Пэм, — это естественно. Мне гораздо легче простить остальных — Ребекку, Стюарта или Гилла, — потому они не сделали мне ничего плохого. В моей жизни ничего не изменилось от того, что они сделали. Но есть и еще одна важная вещь: я простила их, потому что они раскаялись и изменились, — лично я изменилась. Я считаю, что можно простить человека, но не его поступок. Может быть, я смогла бы простить Филипа, если бы он изменился. *Но он все тот же.* Вы спрашиваете, почему я простила Джулиуса, — да вы только взгляните на него. Он всего себя отдает людям. Он отдает нам последнее, что у него есть: он учит нас умирать. Я знала прежнего Филипа и могу засвидетельствовать, что человек, который сидит здесь, ничуть не изменился — может, только стал еще холоднее и высокомернее. — После некоторого молчания Пэм прибавила: — И от лишнего извинения он бы не рассыпался.

— Это Филип-то не изменился? — воскликнул Тони. — Пэм, ты видишь только то, что хочешь видеть. А женщины, за которыми он гонялся, — разве это не изменилось? — Тони повернулся к Филипу: — Ты никогда об этом не говорил, но ведь теперь все стало по-другому, правда?

Филип кивнул:

— Моя жизнь изменилась — вот уже двенадцать лет у меня не было ни одной женщины.

— И это ты называешь «не изменился»? — спросил Тони.

— И не исправился? — прибавил Гилл.

Не успела Пэм ответить, как Филип ее опередил:

— Исправился? Я бы так не сказал. *Исправление* здесь ни при чем. Я покончил со своей прежней жизнью, или, как тут сказали, со своей болезнью, не по каким-то нравственным соображениям — я изменился, потому что моя жизнь была пыткой, которую я больше не мог терпеть.

— Но как именно ты к этому пришел? Что стало последней каплей?
— спросил Джулиус.

Филип помолчал, словно размышляя, стоит отвечать или нет, потом глубоко вздохнул и начал механическим голосом:

— Однажды ночью я ехал домой после довольно бурной встречи с одной очень красивой женщиной и вдруг подумал, что вот теперь, в этот самый момент, я достиг всего, чего хотел. Мне нечего желать. Я пресыщен. Все в машине пропахло женским телом: воздух, мои руки, волосы, одежда, дыхание — от всего исходил этот удушающий аромат, как будто я только что окунулся в ванну с женскими выделениями. И тут внезапно во мне зашевелилось новое желание — я чувствовал его, оно готово было подняться, захватить меня. *Это* и был тот самый момент. Неожиданно при мысли о моей жизни меня замутило и начало рвать. И вот тогда, — Филип взглянул на Джулиуса, — мне вспомнилась твоя эпитафия, и я понял, что Шопенгауэр был прав: жизнь — это вечное страдание, и желание невозможно утолить. Колесо страданий будет вращаться вечно, и у меня нет другого выхода — только соскочить с него. Вот тогда-то я и принял решение жить по новым правилам.

— И это держало тебя все эти годы? — спросил Джулиус.

— До сегодняшнего времени, до прихода в группу.

— Ты стал намного лучше, Филип, — сказала Бонни. — Ты стал приятным, с тобой легко общаться. Если честно, когда ты только появился... то есть... я даже не могу себе представить, чтобы я или кто-то другой захотел бы прийти к тебе на консультацию.

— К сожалению, — ответил Филип, — «общаться» здесь означает разделять чужие страдания. Это только усиливает мои собственные несчастья. Какую пользу может принести такое «общение»? Когда я «жил», я был несчастен. Последние двенадцать лет я смотрел на все со стороны, — Филип растопырил пальцы и отчаянно взмахнул руками, — и жил спокойно. А теперь, когда группа заставила меня вернуться к «жизни», я вновь страдаю. Я уже говорил вам, как плохо мне было однажды после занятий, — с тех пор я так и не пришел в себя.

— По-моему, ты ошибаешься, Филип, — сказал Стюарт. — Я имею в виду — когда говоришь о том, что «жил».

— Я как раз собиралась сказать то же самое, — живо вмешалась Бонни. — Мне лично кажется, Филип, что ты еще не жил по-настоящему. Ты никогда не рассказывал, что любил кого-то или дружил, а женщины — ты сам говорил, что это была охота.

— Неужели это правда, Филип? — спросил Гилл. — У тебя никогда не

было друзей?

Филип покачал головой:

— Все, с кем я имел дело, причиняли мне только боль.

— А родители? - спросил Стюарт.

— Отец почти не разговаривал со мной — мне кажется, он страдал от депрессий. Он покончил с собой, когда мне было тринадцать. Мать умерла несколько лет назад, но последние двадцать лет мы с ней не общались — я даже не ездил на похороны.

— А братья? Сестры? — спросил Тони. Филип покачал головой:

— Единственный ребенок.

— Знаешь, что мне это напоминает? — заметил Тони. — Когда я был маленький, я часто капризничал за столом. Я всегда кричал: «Не хочу то! Не хочу это!» — а мать мне говорила: «Как ты можешь не хотеть? Ты же еще не пробовал!» Мне кажется, это похоже на твое отношение к жизни.

— В жизни многое можно узнать умозрительно, — ответил Филип. — Всю геометрию, например. Зачем подвергать себя лишним страданиям — достаточно испытать часть из них, и поймешь, что будет дальше. Нужно просто внимательно смотреть по сторонам, читать, наблюдать за другими людьми.

— А что, этот умник, твой любимчик Шопенгауэр, — сказал Тони, — он много прислушивался к твоему телу? Разве он делал выводы из твоих — как ты их называешь? — прямых ощущений?

— Непосредственных ощущений.

— Ну да, непосредственных ощущений. Так что же получается? Выходит, твоя информация второй сорт, из вторых рук, а вовсе не из твоих непосредственных ощущений?

— Я понял твою мысль, Тони. Но мне вполне хватило непосредственных ощущений от ваших «исповедей».

— Ты опять возвращаешься к тому занятию, Филип. Похоже, в нем был какой-то важный момент, — сказал Джулиус. — Может, все-таки расскажешь, что случилось в тот день?

Филип помедлил как обычно и, глубоко вздохнув, монотонно заговорил. Он рассказывал про то, что случилось после того памятного занятия: про свое непривычное раздражение, про то, как обычные средства защиты отказались работать, как постепенно он начал тревожиться все больше. Когда он перешел к мыслям, которые упорно не желали уходить, а вместо этого накапливались в сознании, капли пота выступили у него на лбу, а когда дошел до момента, когда ощутил в себе свое прежнее животное

«я», мокрые круги образовались у него под мышками и начали расплываться по выцветшей красной рубашке, и ручейки пота заструились с носа и подбородка по шее. В комнате сделалось очень тихо, все сидели и, не шевелясь, наблюдали за этими безудержными потоками — пота и слов.

Филип помолчал, еще раз глубоко вздохнул и продолжил:

— Мои мысли совершенно перепутались, какие-то образы, давно забытые воспоминания завертелись в сознании. Мне вспомнились подробности тех двух встреч с

Пэм. Я увидел ее лицо — не теперешнее, а каким оно было пятнадцать лет назад, — увидел его с необычайной ясностью. Оно светилось, я хотел держать его в ладонях и... — Он хотел продолжить — рассказать про ревность, про животное желание обладать Пэм, про Тони с его щенячьими ласками, но не смог — из-за пота: пот катился с него градом, лился ручьями, Филип был мокрым насквозь. Он вскочил и, пробормотав «я весь промок, мне нужно выйти», выскочил из комнаты.

Тони стремглав выбежал за ним. Через несколько минут оба вернулись вместе: Филип в свитере Тони, а Тони в своей неизменной черной футболке в обтяжку.

Ни на кого не глядя, Филип прошел к своему месту и в совершеннейшем изнеможении рухнул в кресло.

— Вот. Вернул назад — целого и невредимого, — объявил Тони.

— Эх, не будь я замужем, парни, — сказала Ребекка, — я бы влюбилась в вас обоих — за то, что вы сейчас сделали.

— Лично я не против, — ответил Тони.

— На сегодня все, — произнес Филип. — Больше не могу — вода вся вышла.

— Вышла? Это твоя первая шутка, Филип, — заметила Ребекка. — Мне нравится.

Глава 39. Слава. Наконец-то

Иной не может избавиться от своих собственных цепей, но является избавителем для друга.

Ницше [\[146\]](#)

Мало что вызывало у Шопенгауэра такое нескрываемое презрение, как жажда славы. И все же, все же — как он будет о ней мечтать!

Славе и признанию будет во многом посвящена его заключительная книга, «Parerga и Paralipomena», двухтомный сборник отрывочных наблюдений, набросков и афоризмов, работу над которым он закончит в 1851 году, за девять лет до смерти. Он в глубоком удовлетворении допишет эту книгу и с облегчением воскликнет: «Теперь я могу спокойно промокнуть перо и сказать «Дальше — тишина...» [\[147\]](#).

Но, как выяснится, найти издателя будет нелегко: никто из прежних знакомых Шопенгауэра не захочет браться за дело: потерпев убытки на его прежних сочинениях, никак не желавших раскупаться, они и слышать не хотели о новом предприятии — даже его magnum opus «Мир как воля и представление» был распродан в считанных экземплярах, получив единственный невразумительный отклик в прессе. В конце концов, в 1853 году один из верных «евангелистов» упрсит какого-то берлинского книготорговца опубликовать «Parerga» тиражом в 750 экземпляров. С этого издания автору будет причитаться десять бесплатных экземпляров книги — и никаких гонораров.

В первый том «Parerga и Paralipomena» войдет блестящая триада сочинений, посвященных обретению и сохранению в себе чувства собственного достоинства. Первое сочинение, «Что такое человек», объясняет, как путем творческих размышлений человек сначала приходит к осознанию своего внутреннего богатства, а то, в свою очередь, порождает в нем чувство собственного достоинства и позволяет преодолеть всеобщую пустоту и скуку жизни — главную причину бесконечной погони за развлечениями, выливающейся в цепь бессмысленных любовных побед, бесцельных путешествий и карточных игр.

Второе сочинение, «Что человек имеет», говорит о том, как большинство людей, стараясь прикрыть собственную внутреннюю нищету,

впадает в безудержное накопление материальных богатств, приводящее в итоге к тому, что богатство само начинает обладать своим обладателем.

В третьем сочинении, «Что представляет собою человек», Шопенгауэр излагает свое видение славы. Собственное достоинство, внутреннее богатство, говорит он, — вот главное приобретение человека, слава же есть нечто второстепенное, лишь тень внутреннего достоинства. «Не слава, но то, посредством чего мы ее заслуживаем, имеет истинную ценность... главнейшее счастье человека не в том, чтобы грядущие поколения узнали о нем, но в том, что он собственными усилиями достигает мыслей, достойных заслужить внимание потомков и остаться жить в веках» [\[148\]](#). Чувство собственного достоинства, основанное на осознании внутреннего богатства, приводит к личной свободе, которую никто и ничто не может у нас отнять — она находится в нашей власти, тогда как слава, напротив, находится во власти других.

Но избавиться от жажды славы невероятно трудно, и Шопенгауэр на собственном опыте в этом убедится. Он станет сравнивать ее с «терзающим шипом» [\[149\]](#), который «надо вырвать из тела», и в подтверждение будет приводить слова Тацита: «Даже мудрецов жажда славы покидает в последнюю очередь». Сам он до конца дней так и не сможет от нее отказаться. В своих работах он станет горько сетовать на непризнание современников. Ежедневно он будет просматривать газеты и журналы в надежде встретить хоть какое-то упоминание своего имени, а отлучаясь по делам, будет поручать это некоему Юлиусу Фрауенштадту, одному из самых преданных «евангелистов». Впрочем, он никогда не упустит возможности поиронизировать над собственной безвестностью и в конце концов даже смирится с тем, что при жизни ему, по-видимому, так и не удастся вкусить славы. В поздних предисловиях к своим книгам он будет напрямую обращаться к грядущим поколениям, надеясь, что уж они-то откроют для себя его великое имя.

И вдруг случается невероятное: «Parerga и Paralipomena», первая книга, в которой он безжалостно развенчивает ореол славы, делает его знаменитым. В этой заключительной книге Шопенгауэр впервые смягчает свой мрачный пессимизм, отказывается от бесконечных жалоб и дает наконец мудрые практические советы о том, как следует жить. Не отрекаясь от своего убеждения, что жизнь есть всего лишь «тонкий слой плесени на поверхности земли» [\[150\]](#) и «эпизод, бесполезным образом нарушающий душевный покой Ничто» [\[151\]](#), в «Parerga и Paralipomena» Шопенгауэр избирает более приземленный тон. Поскольку, говорит он, мы

все, хотим мы того или нет, осуждены на жизнь, значит, нужно постараться прожить ее с наименьшими страданиями (кстати, он рассматривает счастье как величину отрицательную — как отсутствие страданий и соглашается с афоризмом Аристотеля: «Человек благоразумный стремится к беспечальному, а не приятному» [\[152\]](#)).

В «Parerga и Paralipomena» он дает рекомендации о том, как научиться самостоятельно мыслить, как поддерживать в себе здоровый скептицизм и благоразумие, не прибегать к сомнительному спасению сверхъестественного, уважать себя, довольствоваться малым и не впадать в зависимость от того, что можно потерять. Несмотря на то что «каждый играет свою роль в этом великом кукольном спектакле под названием жизнь и постоянно ощущает ту ниточку, что приводит его в движение», есть, утверждает Шопенгауэр, особое утешение в том, чтобы с философской невозмутимостью наблюдать за происходящим, постоянно помня: с точки зрения вечности, ничто не имеет абсолютного значения — все проходит.

В «Parerga и Paralipomena» Шопенгауэр совершенно меняет общий настрой: по-прежнему утверждая, что существование есть не что иное, как вечная и непрерывная трагедия? он впервые с надеждой обращает взор к идее общечеловеческого единства: общность страданий, говорит он, неизбежно сближает, превращая нас в единое целое. В одном месте этот величайший из мизантропов неожиданно сменяет гнев на милость и снисходительно отзывается о двуногих собратях:

Можно бы прийти к той мысли, что собственно самым подходящим обращением людей друг к другу вместо «милостивый государь», «monsieur» и так далее... было бы «товарищ по страданию». Как ни странно звучит это, но зато вполне отвечает делу, выставляет других в истинном свете и направляет мысли к самому необходимому: к терпимости, терпению, к пощаде, снисхождению и любви к ближнему — в чем всякий нуждается и к чему всякий поэтому обязан [\[153\]](#).

Несколькими строчками ниже он добавляет мысль, которая могла бы послужить предисловием к любому современному учебнику психотерапии:

Мы должны быть снисходительны ко всякой человеческой глупости, промаху, пороку, принимая в соображение, что это есть именно наши собственные глупости, промахи и пороки, ибо это недостатки человечества,

к которому принадлежим и мы, а следовательно, и сами разделяем все его недостатки, т.е. и те, которыми мы как раз в данное время возмущаемся именно только потому, что они на этот раз проявились не в нас самих.

«Parerga и Paralipomena» будет иметь огромный успех и вызовет к публикации целую серию сборников избранных мест, которые выйдут под более популярными названиями: «Афоризмы житейской мудрости», «Афоризмы и максимы», «Мудрость жизни», «Живые мысли Артура Шопенгауэра», «Искусство литературы», «О религии. Диалог». Вскоре изречения Шопенгауэра не будут сходиться с языка просвещенной немецкой публики. Даже в соседней Дании Кьеркегор запишет в своем дневнике в 1854 году: «все литературные сплетни, все писатели и журналистишки только и делают, что болтают про Ш.» [\[154\]](#).

Само собой разумеется, в прессу хлынет поток хвалебных отзывов. Британия, однажды чуть не ставшая родиной Артура, первой издаст блестящий обзор его работ под заголовком «Иконоборчество в немецкой философии», который выйдет в почтенном «Вестминстер Ревю». Вскоре этот обзор будет переведен на немецкий язык и обретет невероятную популярность в Германии. Позже похожие статьи появятся во Франции и в Италии. Все это до неузнаваемости изменит жизнь престарелого философа.

Толпы зевак станут регулярно собираться возле «Энглишер Хоф», чтобы поглазеть на обедающего философа; Рихард Вагнер пришлет ему оригинал своего либретто «Кольца Нибелунга» с дарственной надписью; университеты начнут преподавать его труды; ученые общества станут забрасывать его письмами с приглашениями стать их почетным членом; хвалебные отзывы пойдут по почте; на полках книжных магазинов появятся его прежние сочинения; прохожие станут приветствовать его на улицах, а в зоомагазинах не будет отбоя от желающих приобрести пуделей, точь-в-точь похожих на четвероногого любимца Шопенгауэра.

Упоению и восторгам Шопенгауэра не будет конца. Он напишет: «Если кошку гладят, она мурлычет, точно так же и человек: когда его хвалят, блаженство и радость отражаются в его лице» [\[155\]](#). Он станет выражать надежду, что «восходящее солнце моей славы позолотит своими первыми лучами вечер моей жизни и рассеет тьму» [\[156\]](#). Когда знаменитая Елизабет Ней приедет на месяц во Франкфурт, чтобы выполнить его скульптурный портрет, Артур будет довольно урчать про себя: «Она работает весь день в моем доме. Когда я возвращаюсь, мы вместе пьем кофе, сидим рядом на диване, и я чувствую себя так, будто и в самом деле женат».

Никогда еще с самого Гавра, после двух счастливых лет среди радужных Блеземиров, Артур не будет так безмятежно и радостно отзываться о семейной жизни.

Глава 40

Никогда ни один человек в конце своей жизни, если только он разумен и искренен, не пожелает еще раз пережить ее: гораздо охотнее изберет он полное небытие [\[157\]](#).

Один за другим группа собиралась на свое предпоследнее занятие. Каждый думал о своем: кто-то горевал о скором расставании, кто-то размышлял о том, что так и не успел сделать, кто-то внимательно всматривался в лицо Джулиуса, будто стараясь получше его запомнить, — и все без исключения с любопытством ожидали, что скажет Пэм в ответ на признание Филипа.

Однако Пэм разочаровала всех: не произнося ни слова, она извлекла из сумочки листок бумаги, аккуратно развернула его и прочитала вслух:

— «Плотник не придет ко мне и не скажет: «Выслушай мою лекцию о плотницком искусстве». Вместо этого он спросит, какой дом мне нужен, и построит его... Делай то же самое: ешь, как люди, пей, как люди,... женись, заводи детей, веселись, учись сносить обиды и ладить с людьми» [\[158\]](#). — Затем, повернувшись к Филипу, она сказала: — Написано... догадайся кем? Филип пожал плечами.

— Твой Эпиктет. Вот почему я это принесла — я знаю, ты уважаешь его, ты приносил Джулиусу его притчу. Для чего я это прочитала? Хочу продолжить Тони и Стюарта — что ты никогда не жил по-настоящему. Ты просто пользуешься философией — ты выдергиваешь из нее, что тебе нужно, и...

Но тут вмешался Гилл:

— Ради бога, Пэм. Это наше предпоследнее занятие. Если ты собираешься снова натравливать нас на Филипа, то я лично против — у меня нет на это времени. Вспомни, что ты сама мне говорила: всегда говори то, что чувствуешь, — а я думаю, у тебя есть что сказать после слов Филипа.

— Нет, нет, пожалуйста, выслушайте меня, — взмолилась Пэм. — Я вовсе не пытаюсь натравливать вас на Филипа. Я хочу сказать о другом — мое железо немного остыло, и сейчас я хочу помочь Филипу. Мне кажется, он запутался, он хочет убежать от жизни и для этого передергивает

философию: подходит Эпиктет — берет Эпиктета, а не подходит — забрасывает его куда подальше.

— Мне кажется, Пэм права, — отозвалась Ребекка. — Недавно я купила брошюрку — называется «Мудрость Шопенгауэра», и вечерами ее просматривала. Так вот, скажу я вам, там такая каша. Есть, конечно, поразительные вещи, но есть — просто кошмар. Вот вчера я открыла одно место — хоть стой, хоть падай. Только послушайте, что он пишет. Пройдитесь, говорит, по кладбищу, постучите по надгробиям, спросите духов, живущих под ними, хотели бы они начать жизнь сначала, — и они все как один откажутся. — Ребекка повернулась к Филипу. — И ты в это веришь? — Не дожидаясь ответа, она продолжила: — Лично я нет. Пусть за меня не говорит. Ерунда какая-то. Предлагаю голосование, кто за?

— Лично я бы не отказался родиться заново. Жизнь, конечно, скверная штука, но бывает и в кайф, — ответил Тони.

Послышались одобрительные возгласы.

— А я бы задумался — и вот по какой причине, — сказал Джулиус. — Тогда бы мне снова пришлось пережить смерть Мириам. Хотя нет, я все равно бы согласился. По-моему, гораздо лучше быть живым.

Очередь дошла до Филипа.

— Вынужден вас огорчить, — сказал он, — но я согласен с Шопенгауэром. Жизнь от начала до конца — страдание, и было бы лучше, если бы жизни — жизни как таковой — вообще не было.

— Лучше для кого? — спросила Пэм. — Для Шопенгауэра? Большинство в этой комнате против.

— Шопенгауэр был не одинок в своем мнении. А миллионы буддистов? Первая из четырех заповедей Будды говорит о том, что жизнь есть страдание.

— Ты это серьезно, Филип? Да что с тобой такое? Когда-то в университете ты читал блестящие лекции о методах философской аргументации. Какой тип аргументации это был? Истина путем объявления? Или путем обращения к авторитету? Но ведь это религиозный подход, а вы с Шопенгауэром, если не ошибаюсь, убежденные атеисты. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что Шопенгауэр страдал хронической депрессией, а Будда жил в те времена, когда абсолютное большинство людей страдало от чумы и голода, так что, естественно, жизнь казалась им сплошным и бесконечным страданием? Тебе не приходило в голову...

— А какой тип философской аргументации используешь ты? — парировал Филип. — Даже безграмотный первокурсник знает разницу

между генезисом и достоверностью.

— Стоп-стоп-стоп, — вмешался Джулиус. — Давайте прервемся на минутку и посмотрим, что здесь происходит. — Он обвел глазами группу. — Какие ощущения?

— Класс! — ответил Тони. — Как кошка с собакой. Только без когтей.

— Пусть лучше так, чем шипят, как змеи, — добавил Гилл.

— Да уж, — согласилась Бонни. — Искры, конечно, летят, но не жгутся.

— Кроме двух последних минут, — пробормотал Стюарт.

— Стюарт, — сказал Джулиус, — помнишь, на своем первом занятии ты сказал, что твоя жена ворчит на тебя за то, что ты говоришь телеграммами?

— Да, неужели трудно сказать лишнее слово? — сказала Бонни.

— Хорошо. Я, наверное, буксую, потому что... ну, вы сами знаете... это наше предпоследнее занятие. Что сказать? — я не расстроен, просто мне, как обычно, нужно обдумать свои чувства. Я знаю одно, Джулиус: мне нравится, как ты заботишься обо мне, все время спрашиваешь меня, вспоминаешь обо мне. Ну как — так пойдет?

— Неплохо. Я и впредь буду поступать точно так же. Но ты сказал, что в разговоре Пэм и Филипа тебя устраивало все, кроме двух последних минут, — что именно случилось в эти минуты?

— Вначале все шло нормально — было похоже на домашнюю перепалку, но последняя фраза Филипа — она мне резанула ухо. Когда он сказал: «даже безграмотный первокурсник» — это было не очень, Филип. Довольно унижительно. Если бы ты мне сказал такое, я бы точно обиделся. И мне было не по себе — понятия не имею, что такое философская аргументация.

— Я согласна со Стюартом, — откликнулась Ребекка. — Филип, о чем ты думал? Ты хотел обидеть Пэм?

— Обидеть? Нет, совсем нет. Меньше всего я хотел ее обидеть, — ответил Филип. — Я почувствовал... э-э-э... мне стало так *легко*... или *свободно* - не подберу слова, — когда она сказала, что железо чуть-чуть остыло. Так, что еще?... Еще я понял, что она принесла Эпиктета, чтобы поймать меня на слове и загнать в угол, — это очевидно. Но я помнил также, что Джулиус сказал мне, когда я принес ему притчу, — что он благодарен мне за заботу и желание помочь, которые за этим стоят.

— Так, — произнес Тони, — приготовьтесь, сейчас я буду работать Джулиусом. Филип, вот что я слышал в этом: ты имел в виду одно, а сказал совсем другое.

Филип недоуменно взглянул на него.

— Ты же сам сказал, — пояснил Тони, — что меньше всего хотел обидеть Пэм. А сделал как раз наоборот, разве не так?

Филип нехотя кивнул в знак согласия.

— Значит, — торжествуя, как следователь на перекрестном допросе, заключил Тони, — ты должен привести свои желания и свои поступки к одному знаменателю, сделать их *конгруэнтными* - я правильно сказал? — Тони взглянул на Джулиуса, который в ответ лишь одобрительно кивнул. — И именно поэтому тебе нужна психотерапия, поскольку конгруэнтность — это главная ее задача.

— Блестящая аргументация, — ответил Филип. — У меня даже нет контраргументов. Ты абсолютно прав, Тони, — именно поэтому мне нужна психотерапия.

— Что?... — не веря своим ушам, воскликнул Тони. Он перевел взгляд на Джулиуса, который в ответ взглянул на него с видом «Ай да Тони! Ай да молодец!»

— Держите меня, я сейчас упаду, — сказала Ребекка и притворно откинулась на спинку кресла.

— И я тоже, — в один голос сказали Бонни и Гилл и тоже свалились в креслах.

Филип обвел глазами группу, лежащую в притворном обмороке, и в первый раз за все время его лицо осветилось довольной улыбкой.

Вскоре, однако, он вернул всех в рабочее настроение:

— Когда вы голосовали по просьбе Ребекки, я понял, что никто из вас не верит в мой подход. Но вы забываете об одном — что много лет я страдал от серьезной проблемы, которую не смог вылечить даже Джулиус и с которой я справился только с помощью Шопенгауэра.

Тут Джулиус поспешил к нему на подмогу:

— Должен признать, ты действительно проделал большую работу. Многие психотерапевты до сегодняшнего дня убеждены, что серьезные сексуальные проблемы невозможно преодолеть без посторонней помощи. Современные методы лечения — очень длительный путь, по сути, долгие годы. Это серьезная программа психокоррекции, индивидуальные и групповые занятия несколько раз в неделю, так называемый принцип двенадцати шагов. Но в то время таких программ еще не было, и, если честно, я сомневаюсь, чтобы они бы тебе помогли. Так что хочу официально признать: то, что ты сделал, — это самый настоящий подвиг. Методы, с помощью которых ты сдерживал свои почти неконтролируемые реакции, действительно сработали — и лучше, чем все, что я мог тебе

предложить, — хотя, видит бог, я и выкладывался по полной программе.

— Я никогда и не думал иначе, — откликнулся Филип.

— Но вот вопрос, Филип, — тебе не кажется, что твои приемы с некоторых пор начали попахивать гериатрией?

— Гери — чем? — переспросил Тони.

— Гериатрией, — шепнул Филип, сидевший рядом с Тони, — *géron* по гречески «старик» плюс *iatreia* — «лечение», иными словами, *болезни старческого возраста*.

Тони благодарно кивнул.

— На днях, — продолжал Джулиус, — когда я думал, как лучше тебе об этом сказать, мне пришло в голову такое сравнение: представь себе город, рядом течет река. Чтобы спастись от наводнений, жители выстроили высокую стену. Прошли века, река давно высохла, но жители по-прежнему сохраняют свою стену и как ни в чем не бывало продолжают ее укреплять.

— Ты хочешь сказать, — вмешался Тони, — продолжают биться над проблемой, которой давно уже нет? Это все равно что носить повязку на здоровой руке, когда рана уже зажила?

— Именно, — ответил Джулиус. — Может быть, твой пример с повязкой даже лучше — именно это я и имел в виду.

— Не думаю, — обратился Филип к обоим, Тони и Джулиусу, — что моя рана зажила или что защитная стена больше не нужна. Чтобы доказать это, достаточно взглянуть на то, как неловко я веду себя в группе.

— Это не самый удачный пример, — возразил ему Джулиус. — У тебя было слишком мало опыта общения с людьми, ты не привык прямо выражать свои чувства, иметь дело с ответными реакциями, вести себя откровенно. Все это непривычно для тебя — ты годами жил в одиночку, а я взял и бросил тебя в самую гущу — в активную, энергичную группу. *Естественно*, ты почувствовал себя не в своей тарелке. Но я говорю не об этом, я говорю об очевидных вещах — о твоём навязчивом состоянии. Оно исчезло. Ты стал старше, многое пережил, может быть, даже вступил на твердую почву гонадного спокойствия — добро пожаловать. Здесь отличное место, прекрасный теплый климат. Я лично великолепно чувствую себя здесь вот уже много лет.

— Знаешь, что я тебе скажу? — добавил Тони. — Шопенгауэр, конечно, вылечил тебя, но теперь тебе нужно вылечиться от Шопенгауэра.

Филип открыл было рот, чтобы ответить, но подумал и снова закрыл.

— И еще одно, — добавил Джулиус. — Когда ты думаешь о том, как тяжело тебе в группе, не забывай — ты пережил тяжелое потрясение, столкнувшись лицом к лицу с человеком из своего прошлого.

— Что-то я не слышала, чтобы Филип когда-нибудь говорил про тяжелое потрясение, — заметила Пэм.

Повернувшись к ней, Филип быстро ответил:

— Если бы я знал *тогда* то, что знаю *сейчас* о страданиях, которые ты испытала за все эти годы, я бы *никогда не сделал того, что сделал*. Я же говорю, тебе не повезло перейти мне дорогу. Человек, которым я был тогда, не думал о последствиях. Автопилот — тот человек был на автопилоте.

Пэм кивнула и взглянула ему в глаза. Филип на долю секунды задержал взгляд и снова повернулся к Джулиусу:

— Я понял твою мысль про трудности общения в группе, но это лишь часть дела — и именно здесь наши взгляды расходятся. Я согласен, что в отношениях между людьми существуют свои трудности. Возможно, в них есть и радости. Я допускаю это, хотя сам никогда не испытывал ничего подобного. И тем не менее я убежден, что на данном этапе жизнь есть трагедия и страдание. Позвольте мне процитировать Шопенгауэра — это всего пару минут. — Не дожидаясь ответа, Филип выпрямился в кресле и произнес:

Прежде всего, никто не счастлив, но в течение всей своей жизни стремится к мнимому счастью, которого редко достигает, если же и достигает, то только для того, чтобы разочароваться в нем; обычно же каждый возвращается в конце концов в гавань претерпевшим кораблекрушение и без мачт. А раз так, то не имеет значения, был ли он счастлив или несчастлив; ибо его жизнь никогда не была ничем иным, кроме краткого мига настоящего, который вечно исчезает; вот он есть — и вот его уже нет.

После продолжительной паузы Ребекка сказала:

— Аж мурашки по коже.

— Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду... — сказала Бонни.

— Вы, конечно, скажете, что я зануда, — сказала

Пэм, обращаясь ко всей группе, — но, прошу вас, не поддавайтесь на риторику. Эта цитата не добавляет ничего существенного к тому, что Филип сказал раньше, — он просто сделал это красноречивее. Шопенгауэр умел излагать свои мысли и делал это лучше любого другого философа. За исключением Ницше, конечно, — никто не писал лучше Ницше.

— Я хочу, тебе возразить, Филип, — сказал Джулиус. — Мы не так уж расходимся с тобой, как ты думаешь. Я вовсе не возражаю против трагедии человеческой жизни. Мы с тобой расходимся там, где дело доходит до вопроса — *что с этим делать?* Как быть? Как примириться со смертью?

Как жить, зная, что ты всего лишь биологическая единица, без всякой цели брошенная посреди равнодушной Вселенной? Как ты знаешь, — продолжал Джулиус, — я больше многих психотерапевтов интересуюсь философией — я, конечно, не эксперт в этом деле, но все же мне прекрасно известно, что существовало немало других ярких мыслителей, которые, отталкиваясь от тех же малоприятных фактов нашей жизни, тем не менее приходили к прямо противоположным выводам. В особенности я имею в виду Камю, Сартра и Ницше — все они призывали занимать активную позицию в жизни, а не тонуть в пессимизме и не уходить от реальности. Лучше всего я, конечно, знаком с Ницше. Когда я только узнал про свою болезнь и мне было очень плохо, я однажды открыл «Так говорил Заратустра» — и мне сразу стало легче, я встал на ноги. Особенно сильным мне показалось место, где Заратустра говорит, что мы должны жить так, чтобы хотелось проживать свою жизнь снова и снова — до бесконечности.

— Как это помогло тебе? — спросил Филип.

— Я взглянул на свою жизнь и понял, что прожил ее правильно: *внутри* мне не за что было корить себя. Хотя, конечно, я пострадал от *внешней* стороны жизни — она отняла у меня жену. И тогда я понял, как проживу оставшиеся дни: я понял, что должен вести себя так же, как раньше, — делать то, что всегда доставляло мне удовольствие и наполняло смыслом мою жизнь.

— Я не знала про этот эпизод с Ницше, — сказала Пэм. — Я очень хорошо понимаю тебя: Заратустра, конечно, пафосный персонаж, но я тоже его люблю. Знаешь, какое место мне больше всего нравится? Когда он говорит: «Так *это* была — жизнь? Ну что ж. Еще раз!» [\[159\]](#) Мне нравятся люди, которые воспринимают жизнь как есть. Не люблю тех, кто бежит от нее, — сейчас я подумала про Виджая. Знаешь, хорошо было бы поместить такое объявление в газете: на одной половине цитата из Ницше, а на другой — Шопенгауэр со своими надгробиями, и попросить людей выбрать, что им больше нравится. Это было бы любопытное голосование. И еще кое-что. — Пэм повернулась к Филипу. — Ты, конечно, догадываешься, что после того занятия я много о тебе думала. Я сейчас читаю лекции про разных знаменитостей и на прошлой неделе натолкнулась на одну любопытную фразу Эрика Эриксона, биографа Мартина Лютера. Он пишет: «Лютер возвел свой собственный невроз в болезнь всего человечества и затем попытался решить за весь мир то, что не сумел решить за себя». Мне кажется, Шопенгауэр — как Лютер; тоже поддался этому заблуждению, а ты последовал его примеру.

— Возможно, — примирительно ответил Филип. — Невроз — это

болезнь общества, и нам следует завести две психотерапии — как и две философии — для разных типов людей: одну для тех, кто больше всего ценит общение, а другую для тех, кто предпочитает жизнь духовную. Достаточно взглянуть на то, сколько людей сегодня посещает буддистские центры.

— Я давно хотела тебе сказать, Филип, — неожиданно вмешалась Бонни. — Мне кажется, ты не совсем верно понимаешь буддизм. Я была в буддистских центрах, и там все внимание обращалось на мир — на любовь, доброту, единение с другими людьми — а не на одиночество. Хороший буддист может быть очень активным в жизни — даже в политике, если он действует из любви к людям.

— Получается, — сказал Джулиус, — что ты односторонне подходил к вопросу. И вот тебе еще один пример. Ты много раз цитировал философов, их взгляды на смерть и одиночество, но ничего не сказал о том, что те же самые философы — сейчас я имею в виду древних греков — говорили про радости *philia*, дружбы. Один мой учитель как-то повторил слова Эпикура, который сказал, что дружба — одна из главных составляющих человеческого счастья и что есть в одиночку, без близкого друга, значит уподобляться дикому льву или волку. А Аристотель считал, что друзья пробуждают в нас самое лучшее, самое высокое — кстати, точно так же должен действовать и идеальный психотерапевт. Как ты, Филип? — спросил Джулиус. — Мы не слишком на тебя навалились?

— Могу возразить, что ни один из великих философов никогда не был женат. Исключением был Монтень, но и тот был настолько равнодушен к семье, что даже не помнил точно, сколько у него детей. Но какой смысл говорить об этом, если у нас осталось только одно занятие? Трудно говорить, когда никто не верит — ни в тебя, ни в твои планы, ни в твои теории.

— Если ты имеешь в виду меня, то это не так. Ты способен на многое — и уже многое сделал для группы. Правильно я говорю? — Джулиус обвел глазами присутствующих. Все дружно и энергично закивали, а Джулиус добавил: — Но если ты хочешь стать консультантом, ты *обязан* научиться общению. Хочу тебе напомнить, что у большинства, если не у всех твоих клиентов, будут проблемы с общением, и если ты хочешь стать терапевтом, ты *должен* разбираться в этих вопросах — иного пути нет. Взгляни на тех, кто сидит в этой комнате: каждый пришел сюда из-за проблем в общении. Пэм не могла разобраться со своими мужчинами. Ребекка страдала от того, что ее внешность мешает ей общаться с людьми. Тони вечно скандалил с Лиззи и дрался с каждым прохожим. И так далее.

— Джулиус замялся, но решил закончить список: — Гилл пришел из-за семейных проблем. Стюарт — потому что жена грозила его бросить. Бонни — от своего одиночества и проблем с дочерью и бывшим мужем. Как видишь, от этого никуда не деться. Вот почему я настаивал, чтобы ты пришел в мою группу.

— Тогда у меня никаких шансов. Мне нечем похвастаться: мои отношения на нулях — ни семьи, ни друзей, ни любовниц. Больше всего я дорожу своим одиночеством — никто даже не знает, до какой степени я одинок.

— Пару раз я приглашал тебя перекусить, — сказал Тони, — но ты всегда отказывался. Я думал, у тебя другие планы.

— Вот уже двенадцать лет я ем один — может, пара бутербродов с кем-нибудь иногда... Ты прав, Джулиус, Эпикур сказал бы, что я уподобился дикому волку. Как-то раз после занятий мне стало очень плохо, и тогда я подумал, что в моем хрустальном замке царит вечный холод: в группе — тепло, в этой комнате тепло, а в моем доме арктический холод. Что же касается любви, то это не для меня.

— А женщины — сотни женщин, — про которых ты рассказывал? — возразил Тони. — Неужели не было ни капли любви? Не поверю, чтобы в тебя никто не влюблялся.

— Это было давно. Если кто-нибудь и влюблялся в меня, я делал все, чтобы не встречаться с ними больше. И даже если кто-то из них любил, то любил не меня — настоящего меня, — а только мои действия, мою технику.

— Так кто же настоящий ты? — спросил Джулиус. Голос Филипа вдруг зазвучал с необыкновенной серьезностью:

— Помнишь, кто я был, когда мы встретились? Терминатор. Химик, уничтожавший вредных насекомых. Лишавший их способности размножаться с помощью их собственных гормонов. Ну как? Разве не смешно? Киллер с гормональным оружием.

— Так кто же настоящий ты? — повторил Джулиус.

Филип посмотрел ему прямо в глаза:

— Чудовище. Хищник. Одиночка. Истребитель насекомых. — Его глаза наполнились слезами. — Ослепленный злобой. Неприкасаемый. Никто и никогда не любил меня. Никто *не мог* меня полюбить.

В этот момент Пэм вскочила и бросилась к Филипу. Она быстро сделала знак Тони поменяться с ней местами, села рядом с Филипом, взяла его за руку и тихо сказала:

— Я могла полюбить тебя, Филип. Ты был самым красивым, самым

очаровательным мужчиной в моей жизни. Я несколько месяцев звонила и писала тебе после того, как ты сказал, что между нами все кончено. Я могла бы полюбить тебя, но ты втоптал...

— Тс-с-с. — Джулиус, протянув руку, коснулся плеча Пэм, делая ей знак замолчать. — Нет, Пэм, не то. Вернись к тому, что ты сказала. Скажи это снова.

— Я могла бы полюбить тебя.

— И ты был самым... — подсказал Джулиус.

— И ты был самым красивым мужчиной в моей жизни.

— Еще раз, — прошептал Джулиус.

Все еще держа Филипа за руку и глядя ему прямо в глаза, из которых ручьями лились слезы, Пэм повторила:

— Я могла бы полюбить тебя, Филип. Ты был самым красивым мужчиной...

При этих словах Филип вскочил и, закрыв лицо руками, выбежал из комнаты.

Тони немедленно подскочил к двери:

— Мой выход.

Но Джулиус встал и подал Тони знак вернуться на место:

— Нет, Тони, на этот раз мой.

Он вышел из комнаты. Филип стоял в конце коридора, отвернувшись лицом к стене, и, подложив руку под голову, рыдал. Джулиус подошел к нему и обнял его за плечи:

— Это хорошо, что ты выпустил все это наружу. А теперь нам нужно вернуться.

Филип, судорожно вздыхая, решительно затряс головой и принялся всхлипывать еще громче.

— Ты должен вернуться, мой мальчик. Ради этого ты сюда пришел — ради этого самого момента, и ты не должен от него отказываться. Ты хорошо поработал сегодня — именно так, как и должен был, чтобы стать терапевтом. До конца занятий осталось несколько минут. Просто пойди и посиди вместе с нами — я прослежу, чтобы все было в порядке.

Филип протянул руку и быстро, всего на мгновение, задержал свою ладонь на руке Джулиуса, затем выпрямился и вернулся с Джулиусом в комнату. Когда Филип уселся на место, Пэм дружески погладила его по руке, а Гилл, сидевший с другой стороны, обнял за плечи.

— Как *ты*, Джулиус? — спросила Бонни. — Выглядишь усталым.

— Нет-нет, я чувствую себя превосходно. Мне так хорошо, я просто восхищаюсь вами, друзья мои, — и рад, что в этом есть и моя заслуга. Если

честно, я еле держусь на ногах, но порох у меня еще найдется, так что на наше последнее занятие меня хватит.

— Джулиус, — сказала Бонни, — ты не против, если в следующий раз я принесу прощальный торт?

— Конечно, нет, любой морковный торт приветствуется.

Но их последней встрече так и не суждено было состояться. На следующий день Джулиуса одолела нестерпимая головная боль, несколько часов спустя он вошел в кому и через три дня умер. Неделю спустя в условленный час группа в молчании собралась в кафе вокруг прощального моркового торта.

Глава 41. Смерть приходит за Артуром Шопенгауэром

То, что в скором времени мое тело станут точить черви, я могу вынести; но то, что профессора то же самое проделают с моей философией, — приводит меня в содрогание [\[160\]](#).

Он встретит смерть с той же бесстрашной ясностью, которая сопровождала его всю жизнь. Он ни разу не дрогнет перед ней, ни разу не попытается укрыться под спасительным пологом религий, до последней минуты сохраняя холодное мужество рассудка. С помощью разума, скажет он, мы впервые открываем для себя смерть: мы видим смерть других и по аналогии начинаем понимать, что смерть когда-то придет и за нами. С помощью разума мы однажды приходим к заключению, что смерть есть прекращение сознания и необратимое уничтожение человеческой личности.

Есть два способа противостоять смерти, скажет он: путь разума и путь иллюзий, религий с их верой в бессмертную душу и уютную загробную жизнь. Так сам факт смерти и страх перед ней толкают человека к глубоким размышлениям, открывая путь как к философии, так и к религии.

Всю жизнь он будет бороться с вездесущей смертью. Уже в первой книге, которую он напишет, когда ему не будет и тридцати, он скажет: «Жизнь нашего тела — это лишь хронически задерживаемое умирание, все новая и новая отсрочка смерти... Каждое дыхание отражает непрерывно нападающую смерть, с которой мы таким образом ежесекундно боремся» [\[161\]](#).

Но как он представлял себе смерть? В его трудах она является в самых разных обликах: то мы, как ягнята, резвимся на лугу, не подозревая о том, что глаза мясника-смерти неотступно следуют за нами, выбирая очередную жертву, чтобы отвести ее на бойню; то, как маленькие дети в театре, нетерпеливо дожидаясь начала представления, пребывая в блаженном неведении о том, что ожидает нас в следующую минуту; то — моряки, старательно проводящие свои суденышки между опасными отмелями и кипящими пропастями, чтобы, в конце концов, разбиться о суровые и

мрачные утесы.

Для Шопенгауэра земной цикл — всегда тяжелый и безысходный путь.

Какая разница между нашим началом и нашим концом. Начало — в чаду желаний и в восторге сладострастия; конец — в разрушении всех органов и в тленном запахе трупa. Так и путь от начала до конца в отношении здоровья и наслаждения жизнью идет неизменно под гору: блаженно-мечтательное детство, радостная юность, трудные зрелые годы, дряхлая, часто жалкая старость, мучения последних болезней и, наконец, борьба со смертью: разве все это не имеет такого вида, что бытие — это ошибка, последствия которой постепенно становятся все более и более очевидными? [\[162\]](#)

Боялся ли он приближения смерти? В последние годы он станет говорить о ней с поразительным спокойствием. Где он брал силы для этого? Если страх перед смертью неизбежен, если он преследует каждого из нас, если смерть так ужасна, что из одного страха перед ней мы придумали столько религий, то как Шопенгауэр, этот одинокий, не верящий ни в бога, ни в черта человек, смог подавить в себе этот ужас?

Прежде всего, он хладнокровно анализирует источники нашей тревоги. Боимся ли мы смерти, потому что она кажется нам чем-то чуждым и противоестественным? Если так, отвечает он, то мы глубоко заблуждаемся, ибо смерть гораздо лучше знакома нам, чем мы привыкли думать: мы не только ежедневно ощущаем привкус смерти — во сне и других бессознательных состояниях, но мы все, каждый в свое время, проходим фазу бесконечного небытия до того, как явиться в этот мир.

Может быть, мы боимся смерти, потому что воспринимаем ее как зло (достаточно вспомнить, в каких зловещих образах принято ее изображать)? И здесь, убежден Шопенгауэр, мы ошибаемся: «признавать небытие злом — само по себе нелепо. Ибо всякое зло, как и всякое добро, предполагает уже существование и даже сознание... отсутствие сознания нам хорошо известно, и мы знаем, что оно не включает в себе никаких зол» [\[163\]](#). К тому же он просит нас не упускать из виду тот факт, что жизнь есть страдание, то есть сама по себе является злом, а как может в таком случае утрата зла быть злом? Смерть, говорит он, нужно считать благом, освобождением от тяжких мук двуногого существования. «О собственной же смерти должно думать, как о событии желанном и отрадном, а не с унынием и страхом, как то бывает обыкновенно» [\[164\]](#). Жизнь есть

досадное, нарушение блаженного небытия — именно в этом месте он и делает свое не бесспорное замечание: «Постучитесь в гробы и спросите у мертвецов, не хотят ли они воскреснуть, — и они отрицательно покачают головами» [\[165\]](#), и подтверждает это высказываниями Платона, Сократа и Вольтера.

В дополнение к своим рациональным размышлениям он приводит одно, явно граничащее с мистицизмом: Шопенгауэр перебрасывает мостик (но не переходит по нему) к некоторой форме бессмертия. Он утверждает, что наша внутренняя сущность не подвластна разрушению, потому что человек есть проявление жизненной силы, воли, вещи в себе, которая существует в вечности. Отсюда смерть есть не окончательное уничтожение: когда наша ничтожная жизнь подходит к концу, мы возвращаемся к изначальной жизненной силе, которая существует вне времени.

По-видимому, мысль о воссоединении с этой силой принесла немало облегчения как самому Шопенгауэру, так и большинству его читателей — в их числе как раз и оказался Томас Манн с его главным героем Томасом Будденброком, — однако, если учесть, что эта мысль не предполагает сохранение личности как таковой, облегчение должно было быть не столь уж надежным: даже спокойствие Томаса Будденброка длится недолго и испаряется уже через несколько страниц романа. Если внимательно прочесть шопенгауэровский диалог двух эллинистических философов, вполне можно заключить, что и сам он вряд ли находил достаточно утешения в этой идее. В этом диалоге некто Филалет пытается убедить Трасимаха (завязтого скептика), что смерти не нужно бояться, потому что человеческая душа вечна. Оба философа приводят такие ясные и убедительные аргументы, что читатель до самого конца не может понять, кому симпатизирует автор. Наконец Трасимах, так и не убежденный оппонентом, бросает последнюю реплику:

Филалет: То, что вопиет «Я, я, я хочу жить», это — не ты один, а все, решительно все, что имеет хотя бы признак сознания. Следовательно, это желание в тебе как раз то, что не индивидуально, а обще всем без различия... брось же заботу, которая показалась бы тебе поистине ребяческой и до крайности смешной, если бы ты познал собственное свое существо в совершенстве и до самого основания, именно — как универсальную волю к жизни.

Трасимах: Сам ты ребячлив и до крайности смешон, да и все твои философы; только для шутки и для времяпрепровождения может такой серьезный человек, как я, тратить хотя бы четверть часика с такого сорта

дураками, как ты. А теперь у меня есть дела поважнее. Ну тебя к Богу.

Был в запасе у Шопенгауэра и еще один способ противостоять пугающим мыслям: чем выше самореализация, тем меньше страх перед смертью. Если идея о всеобщем единстве может показаться кому-то слабой и неутешительной, то уж этот прием защиты подействует наверняка: врачи, работающие со смертельно больными людьми, давно пришли к выводу, что страх перед смертью сильнее преследует тех, кто осознает напрасность прожитой жизни. Чувство наполненной, «прожитой», как говорил Ницше, жизни уменьшает страх перед смертью.

А что же, Шопенгауэр? Ощущал ли он, что прожил жизнь правильно, что она была наполнена смыслом? Исполнил ли он свою высокую миссию? У него не было сомнений в этом. Вот что он напишет в конце своих автобиографических записок:

Я всегда надеялся умереть легко, потому что тот, кто прожил жизнь в одиночестве, лучше других знает о деле, которое совершается без помощников. Я гордо пройду мимо шутовских ужимок и жалких гримас, приписываемых к достоинствам двуногих, и счастливо закончу свои дни с сознанием того, что возвращаюсь туда, откуда пришел... выполнив свою высокую миссию [\[166\]](#).

Та же гордость слышится и в его финальном четверостишии, в самых последних строчках его самой последней книги:

Я утомлен, пришел к своей мете,
Под лаврами чело мое устало,
Но я свершил, покорствуя мечте,
Все то, что мне душа предуказала [\[167\]](#).

Когда его последняя книга, «Parerga и Paralipomena», будет опубликована, он воскликнет: «Я невероятно счастлив увидеть рождение своего последнего чада. Я чувствую себя так, будто груз, который с двадцати четырех лет я нес на своих плечах, наконец-то сброшен. Никто не может себе представить, что это значит» [\[168\]](#).

Утром 21 сентября 1860 года домработница Шопенгауэра приготовит ему завтрак, приберется на кухне, откроет настежь окна и уйдет по делам; Шопенгауэр, уже закончивший свое обычное холодное обливание, останется сидеть на диване и читать в просторной и скромно обставленной гостиной. На полу у его ног на черной медвежьей шкуре будет лежать

Атман, его любимый пудель. Прямо над диваном будет висеть масляный портрет Гёте, а по стенам — портреты собак, Шекспира, императора Клавдия и дагерротипы самого хозяина. На письменном столе будет стоять бюстик Канта, в одном углу бюст Кристофа Виланда, философа, некогда убедившего юного Шопенгауэра заняться философией, в другом — любимая позолоченная статуя Будды.

Когда через некоторое время в комнату с обычным утренним обходом войдет врач, он обнаружит, что Шопенгауэр полулежит в углу дивана: «легочный удар» (эмболия легочной артерии) быстро и незаметно унесет его из жизни. Его лицо будет совершенно спокойно, без всяких признаков предсмертных мучений.

В день похорон Шопенгауэра будет лить дождь — обстоятельство более чем досадное для тех, кто соберется в тесной комнатке морга, чтобы почтить память усопшего: за десять лет до смерти Шопенгауэр распорядится, чтобы его тело не предавали земле пять дней, до появления очевидных признаков разложения — возможно, посмертный жест мизантропа, а возможно — боязнь летаргического сна. Во время панихиды в покойницкой сделается так душно и распространится такой невыносимый запах, что некоторые будут вынуждены уйти, так и не дослушав утомительной и высокопарной речи Вильгельма Гвиннера, душеприказчика Шопенгауэра, который начнет ее такими словами:

Этот человек, который жил среди нас, оставаясь странником, вызывает в нас редкие чувства. Никто из стоящих здесь не связан с ним узами крови; одиноким он жил, одиноким и умер [\[169\]](#).

На могиле Шопенгауэра лежит тяжелая плита бельгийского гранита. По воле усопшего, на ней значится только имя «Артур Шопенгауэр» — и «больше ничего: ни даты, ни года, ни единого слова».

Человек, лежащий под этой скромной могильной плитой, хотел, чтобы его работы сами говорили за него.

Глава 42. Три года спустя

Человечество узнало от меня несколько вещей, которые оно никогда не забудет [\[170\]](#).

Вечернее солнце струилось в широкие раздвинутые окна кафе «Флорио». Из старинного музыкального автомата неслись арии из «Севильского цирюльника», кофейные автоматы с шипением пускали дымящиеся молочные струйки в чашки капучино.

Пэм, Филип и Тони сидели за своим любимым столиком у окна — после смерти Джулиуса они каждую неделю встречались здесь. Первый год группа собиралась регулярно, но вот уже два года как на встречу являлась только эта троица. Филип неожиданно замолчал и, прислушавшись к музыке, замурлыкал что-то себе под нос.

— «Una voce roso fa» — моя любимая, — сказал он, когда они возобновили беседу.

Тони показал свой новенький диплом из вечернего колледжа. Филип объявил, что теперь два раза в неделю ходит в городской шахматный клуб — впервые со смерти отца он сидит за доской с соперником. Пэм похвасталась своим новым другом, специалистом по Мильтону, и рассказала, что каждое воскресенье ездит в Грин-Галч на занятия буддистского центра.

Закончив рассказ, она бросила взгляд на часы.

— Вам пора на выход, парни. — Она оценивающе осмотрела обоих. — В целом неплохо. Вот только твой пиджак, Филип... — она покачала головой, — как бы это помягче сказать, не поражает воображение. Ты в курсе, что вельвет уже двадцать лет не носят? И эти накладки на локтях — боже мой, Филип! В общем, на следующей неделе идем по магазинам. — Она снова внимательно оглядела обоих. — Не волнуйтесь, все будет хорошо. Филип, если разнервничаешься, вспомни про кресла. Не забывайте, что Джулиус любил вас обоих. И я тоже. — Она чмокнула каждого в лоб, оставила на столе двадцатидолларовую бумажку и, пропев «Мой любимый день», вышла.

Час спустя семь человек смущенно вошли в кабинет Филипа на свое первое групповое занятие и расселись в кресла Джулиуса. За свою взрослую жизнь Филип плакал дважды: первый раз во время того

памятного занятия с Джулиусом, а во второй — когда узнал, что Джулиус завещал ему эти девять кресел.

— Итак, — начал Филип, — добро пожаловать в группу. На предварительных беседах мы уже объяснили каждому из вас, как будет строиться занятие, так что теперь можно приступать к делу.

— Как к делу? Что, так просто? И больше ничего? — воскликнул Джейсон, жилистый человек средних лет в черной футболке в обтяжку.

— Помню, я тоже страшно испугался, когда пришел на свое первое занятие, — подавшись вперед, сказал Тони. Он выглядел щеголевато в белой рубашке с короткими рукавами, брюках хаки и коричневых мокасынах.

— Я не говорю, что испугался, — ответил Джейсон. — Я говорю, что нас не подготовили.

— А что тебе нужно, чтобы начать? — спросил его Тони.

— Информацию. Без информации сейчас никуда. Ведь это группа философского консультирования, так? А вы двое — стало быть, философы?

— Я философ, — сказал Филип, — я защитил докторскую диссертацию в Колумбийском университете, а Тони — мой помощник и ученик.

— Ученик? Я что-то не понял. Как вы собираетесь вести группу? — не унимался Джейсон.

— Ну, — ответил Тони, — Филип будет выдавать полезные идеи из своей умной головы, а я... я здесь, чтобы учиться и помогать, где могу, — вообще-то я больше эксперт по эмоциональной кооперации. Правильно я говорю, коллега?

Филип кивнул.

— По эмоциональной кооперации? Считается, я должен знать, что это такое? — спросил Джейсон.

— Джейсон, — прервала его какая-то женщина, — меня зовут Марша, и я хочу сказать, что за последние пять минут ты задаешь уже пятый вопрос.

— И что из этого?

— А то, что ты строишь из себя мачо, пальцы веером, а у меня с такими масса проблем.

— А ты, я вижу, цыпочка и недотрога, и меня от таких тошнит.

— Стоп-стоп-стоп. Давайте на этом остановимся, — вмешался Тони, — и выслушаем мнения остальных членов группы. Первое, я хочу сказать кое-что тебе, Джейсон, и тебе, Марша, — кое-что из того, что мы с Филипом узнали от Джулиуса, нашего учителя. Вы оба довольно резко

начали занятие, но у меня есть предчувствие — и очень сильное предчувствие, — что к концу занятий вы оба поймете, как много значите друг для друга. Верно я говорю, Филип?

— Совершенно верно, коллега.

notes

[1] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 1. — § 57. — Здесь и далее цитаты из «Мир как воля и представление» приводятся в пер. Ю. Айхенвальда.

[2] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains in Four Volumes, ed. Arthur Hubscher. — Oxford: Berg Publishers, 1988-1990. — Vol. 3. — P. 262. — §111.

[3] Eduard Grisebach, ed. Schopenhauer's Gespräche und Selbstgespräche. — Berlin: E. Hofmann, 1898. — P. 3.

[4] Сэр Карл Раймунд Поппер (1902-1994) — австро-британский философ, преподаватель Лондонской школы экономики, занимался философией науки и социально-политической философией. Джон Роулз (1921 — 2002) — американский философ, преподаватель политической философии в Гарвардском университете; автор труда «Теория справедливости» (1971). Уиллард Ван Орман Куайн — один из самых влиятельных американских логиков и философов, преподавал философию и математику в Гарварде.

[5] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 2. — Гл. 31 «О гении».

[6] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — Cambridge: Harvard University Press, 1991.

[7] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 472. Здесь и далее цитаты из «Parerga и Paralipomena» приводятся в пер: Ю. Айхенвальда.

[8] Дома (нем.).

[9] Артур Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. — Гл. 6 «О различии возрастов».

[10] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — P. 14. Пер. Ю. Айхенвальда.

[11] Ibid., p. 13.

[12] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 147a.

[13] 1Т о м а с Манн. Будденброки. Пер. Н. Ман

[14] 1Томас Манн. Будденброки. Пер. Н. Ман

[15] 'Thomas Mann. Essays of Three Decades. — New York: Alfred A Knopf, 1947. — P. 373.

[16] Ibid.

[17] Ronald Hayman. Nietzsche: A Critical Life. — New York: Penguin, 1982. — P. 72.

[18] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 2. — Гл. 17 «О метафизической потребности человека».

[19] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. Т. 2. — § 155a.

[20] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 2. — Гл. 1 «По поводу основного идеалистического взгляда».

[21] Здесь: все скопом (*фр.*).

[22] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 2. — Гл. 31 «О гении».

[23] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — P. 26.

[24] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 156.

[25] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — P. 280.

[26] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 143.

[27] R u d i g e r Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — P. 44.

[28] Ibid., p. 37.

[29] Ibid., p. 41. Пер. Ю. Айхенвальда.

[30] Ibid., p. 58.

[31] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 145.

[32] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 2. — Гл. 31 «О гении».

[33] Ар т у р Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 2. — Гл. 31 «О гении». Эта и др. цитаты из писем Генриха.

[34] Там же.

[35] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 2. — Гл. 31 «О гении».

[36] Из письма Иоганны Шопенгауэр к Артуру от 28 апреля 1807 г. In Der Briefwechsel Arthur Schopenhauer Hrsg.v. Carl Gebbart Drei Bande. Erste Band (1799). — Munchen: R. Piper & Co. — P. 129 ff.

[37] Der Briefwechsel Arthur Schopenhauers. Herausgegeben von Carl Gebhardt. Erster Band (1799-1849). — Munich: R. Piper, 1929. Aus: Arthur Schopenhauer: Samtliche Werke. Herausgegeben von Dr. Paul Deussen. Vierzehnter Band. Erstes und zweites Tausen, Munich, R. Piper, 1929. — P.

129ff. Nr. 71. Correspondence, Gebhardt and Hiibscher, eds. Letter from Johanna Schopenhauer, April 28, 1807.

[38] Ibid.

[39] R u d i g e r Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — P. 84.

[40] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 1. — § 16.

[41] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 369.

[42] R u d i g e r Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — Pp. 92, 94.

[43] Arthur Schopenhauer: Gespräche. Hrsg. V. Arthur Hubscher, Stuttgart-Bad Cannstatt 1971. — P. 152.

[44] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — P. 94.

[45] Ibid., p. 169.

[46] Paul Deussen, ed. Journal of the Schopenhauer Society, 1912-1944. — P. 128.

[47] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 504 / «Εἰςἑαυτοῦ», § 25.

[48] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 1. — § 57.

[49] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 1. — § 68.

[50] «М и д д л м а р ч» (1871) и «Даниэль Деронда» (1876) — романы английской писательницы Джордж Элиот (Мэри Энн Эванс, 1819-1880).

[51] Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. — *Здесь и далее цитаты из «Так говорил Заратустра» приводятся в переводе Ю. Антоновского под ред. К. Свасьяна.*

[52] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — Гл. 314. — § 388.

[53] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 1. — Гл. 6 «О различии между возрастами».

[54] Arthur Hubscher. Arthur Schopenhauer: Ein Lebensbild. Dritte Auflage, durchgesehen von Angelika Hubscher, mit einer Abbildung und zwei Handschriftproben. — Mannheim: F. A. Brockhaus, 1988. — S. 12.

[55] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — P. 40.

[56] Ibid., p. 40.

[57] Ibid., p. 42.

- [58] Ibid., p. 51
- [59] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 1. — § 20. Пер. Ю. Айхенвальда.
- [60] Rüdiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — P. 51.
- [61] Остальные цитаты в данном абзаце: Ibid., p. 43.
- [62] Ibid., p. 45.
- [63] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 512 / «Εἰςἑαυτοῦ», § 32.
- [64] Rüdiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — P. 167. Пер. Ю. Айхенвальда.
- [65] Артур Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. — Гл. 5 «Паренезы и максимы». Пер. Ю. Айхенвальда.
- [66] 1 Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 2. — Гл. 44 «Метафизика половой любви».
- [67] Bryan Magee. The Philosophy of Schopenhauer. — Oxford: Clarendon Press, 1983; revised 1997. — P. 13.
- [68] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — P. 66.
- [69] Жизнелюбие (*φρ.*).
- [70] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — P. 67.
- [71] Arthur Schopenhauer: Gespräche. Herausgegeben von Arthur Hubscher. Neue, stark erweiterte Ausg. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1971. — p. 58.
- [72] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — P. 245
- [73] Ibid., p. 271.
- [74] Ibid., p. 271.
- [75] «Εἰςἑαυτοῦ», § 24. Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 505 / «Εἰςἑαυτοῦ», § 24.
- [76] Ibid., p. 504. «Εἰςἑαυτοῦ», § 24.
- [77] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление». — Т. 2. — Гл. 42 «Жизнь рода».
- [78] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление». — Т. 2. — Гл. 44 «Метафизика половой любви».
- [79] Там же
- [80] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление». — Т. 2. — Гл. 44 «Метафизика половой любви».
- [81] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 1. — Гл. 5

«Паренезы и максимы».

[82] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 499 / «Εἰζεαυτου», § 20.

[83] Epictetus. Discourses and Enchiridion. — New York: Walter J. Black, 1944. — P. 338.

[84] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 513 / «Εἰζεαυτου», § 33. Пер. Л.М./Ю. Айхенвальда.

[85] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 396.

[86] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 396.

[87] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 498 / «Εἰζεαυτου», § 20.

[88] Ibid., т. 4, стр. 484 / «Εἰζεαυτου», § 3

[89] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy. — P. 120.

[90] Ibid., p. 177.

[91] Ibid., p. 190.

[92] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 2. — Гл. 31 «О гении».

[93] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 135.

[94] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 512 / «Εἰζεαυτου», § 32.

[95] Ibid., p. 501 / «Εἰζεαυτου», § 22.

[96] Ibid., p. 508 / «Εἰζεαυτου», § 29.

[97] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 1. — Гл. 5 «Паренезы и максимы».

[98] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 1. — Гл. 5 «Паренезы и максимы».

[99] Там же.

[100] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 495 / «Εἰζεαυτου», § 17. Пер. Ю. Айхенвальда.

[101] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 1. — Гл. 5 «Паренезы и максимы».

[102] Там же, т. 1, § 28.

[103] Там же.

[104] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 1. — Гл. 5 «Паренезы и максимы».

[105] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 508 / «Εἰζεαυτου», § 29, сноска. Пер. Ю. Айхенвальда.

[106] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 1. — Гл. 5

«Паренезы и максимы».

[107] Там же.

[108] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 1. — Гл. 5
«Паренезы и максимы».

[109] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 1. — Гл. 5
«Паренезы и максимы».

[110] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 385.

[111] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 1. — §
56.

[112] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 152.

[113] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. Т. 2. — § 144.

[114] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 207 /
«Pandectae II», § 84.

[115] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 206.

[116] Epictetus. Discourses and Enchiridion. — P. 334.

[117] Артур Шопенгауэр — Parerga и Paralipomena, Т.1, гл. 6 «О
различии между возрастами»

[118] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 507 /
«Εἰζεαυτου», § 28.

[119] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy.
— P. 284.

[120] Ibid.

[121] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 503 /
«Εἰζεαυτου», § 24.

[122] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 487 /
«Εἰζεαυτου», § 7.

[123] Ibid., vol. 4, p. 121 / «Cholera-Buch», § 40.

[124] Ibid., vol. 4, p. 506 / «Εἰζεαυτου», § 28.

[125] Ibid.

[126] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy.
— P. 287.

[127] Iwan Bloch. Schopenhauers Krankheit im Jahre 1823. —
Medizinische Klinik, 1906, № 25-26.

[128] Rudiger Safranski. Schopenhauer and the Wild Years of Philosophy.
— P. 240.

[129] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 1. — § 12.

[130] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 1 — Гл. 6 «О
различии между возрастами».

[131] См. рассуждения в: Bryan Magee. The Philosophy of

Schopenhauer. — Pp. 220-225.

[132] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 510 / «Εἰζεαυτου», § 30.

[133] Ibid., vol. 4, p. 484 / «Εἰζεαυτου», § 3.

[134] Ibid., p. 485-486 / «Εἰζεαυτου», § 4.

[135] Ibid., p. 492 / «Εἰζεαυτου», § 12.

[136] Ibid., p. 495 / «Εἰζεαυτου», § 17.

[137] Grisenbach. Schopenhauer's Gesprache. — P. 13.

[138] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 501 / «Εἰζεαυτου», § 22.

[139] Ibid., p. 499 / «Εἰζεαυτου», § 20.

[140] Ibid., p. 505 / «Εἰζεαυτου», § 26.

[141] Ibid., p. 517 / «Εἰζεαυτου» — Maxims and Favourite Passages.

[142] Ibid., p. 488 / «Εἰζεαυτου». § 8.

[143] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena, Т.2

[144] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 2. — Гл. 44 «Метафизика половой любви».

[145] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — Гл. 11. — § 156a.

[146] Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра.

[147] Bryan Magee. Philosophy of Schopenhauer. — P. 25. Заключительная реплика Гамлета в пер. М. Лозинского.

[148] Артур Шопенгауэр, Parerga и Paralipomena, Т.2, гл. 4 «Что представляет собою человек»

[149] Там же

[150] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 2. — Гл. 1 «По поводу основного идеалистического взгляда».

[151] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 156.

[152] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 517 / «Εἰζεαυτου — Maxims and Favourite Passages».

[153] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. Т. 2. — § 156, 156a.

[154] Bryan Magee. Philosophy of Schopenhauer. — P. 26.

[155] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 1. — Гл. 4 «О том, что представляет собою человек».

[156] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... — Vol. 4. — P. 516 / «Εἰζεαυτου», § 36.

[157] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 1. — § 59.

[158] Pierre Hadot. Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from

Socrates to Foucault, ed. Arnold Davidson, trans. Michael Chase. — Oxford: Blackwell, 1995.

[159] Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра.

[160] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... Vol. 4. — P. 393 / «Senilia», § 102. Пер. Ю. Айхенвальда.

[161] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 1. — § 57.

[162] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 147.

[163] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 2. — Гл. 41 «О смерти и ее отношении к неразрушимости нашей внутренней сущности».

[164] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. — § 172a.

[165] Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. — Т. 2. — Гл. 41 «О смерти и ее отношении к неразрушимости нашей внутренней сущности».

[166] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains... Vol. 4. — P. 517 / «Εἰςἑαυτοῦ», § 38.

[167] Артур Шопенгауэр. Parerga и Paralipomena. — Т. 2. / «Finale».

[168] Bryan Magee. Philosophy of Schopenhauer. — P. 25.

[169] Karl Pisa. Schopenhauer, p. 386

[170] Arthur Schopenhauer. Manuscript Remains..., vol. 4, p. 328 / «Spicegia»